

Борис Щербаков

ТРАВЫ

ПАМЯТИ



2р.20к.



Борис Щербаков

ТРАВЫ
ПАМЯТИ



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1990

ББК 84 Р7-4
Ш 61

Рецензент: член СП СССР В. Мироглов

Шербаков Б.

Щ 61 Травы памяти: Повести и рассказы. — Алма-Ата: Жазушы, 1990. — 192 с., ил.

ISBN 5-605-00852-8

Повести и рассказы натуралиста, кандидата биологических наук Бориса Шербакова привлекают искренней заинтересованностью в сохранении и восстановлении первозданной природы, романтическим восприятием животного и растительного мира.

Заглавная повесть посвящена известному писателю Максиму Дмитриевичу Звереву, собственным примером подтверждающему верность идеи о неразрывной связи бескорыстной любви к природе и нравственного совершенствования человека, — к такому выводу и приводит настоящая книга.

Щ 4702010201 — 140 10—90
402(05)-90

ББК 84 Р7-4

ISBN 5-605-00852-8

© Издательство «Жазушы», 1990

ТРАВЫ ПАМЯТИ

Повесть

Максиму Звереву — защитнику и певцу природы, удивительному человеку, духовному наставнику, другу и вдохновителю

Долгожданная встреча

Виноваты, наверное, гены, а не среда, в которой мы воспитываемся. К такому выводу прихожу каждый раз, вспоминая детство. С первого часа, как только мало-мальски осознал себя, почувствовал любовь к животным. Она не оставила меня и сейчас: я не расстанусь с птицами и зверюшками и сегодня. В детстве, которое прошло на Алтае и Средней Азии, было обычным, что, возвратившись из школы, я вытаскивал из-за пазухи беспечно спавшего ежа. Оказывается, когда еж доверяет, колючки у него совершенно «послушные», они словно утрачивают воинственное назначение и ощущаются как пучок сухой соломы, уложенной ладно в одну сторону. Нередко у меня в нагрудном кармане куртки или рубашки на уроках, как в родном гнездышке, спали совершенно ручной домовый мышонок или полевка. Или же это была старая черепаха. Она терпеливо дожидалась очередной прогулки, отсиживаясь в школьной сумке, хотя в послевоенные годы я носил дамскую сумочку, которую нашел на задворках узбекских мазанов. У нее были кармашки для пудры и зеркала. Были и сумки, наспех сшитые из грубой, латаной мешковины. Ящерицы, черепахи, змеи, зверьки разные, а чаще птицы были моими друзьями — постоянными спутниками детства, я заботливо их опекал. Постепенно набирался опыта, ухаживая за ними. Главное, чему я научился, общаясь с животными, — чуткости, вниманию и предупредительности. Ведь все мои подопечные не умели говорить, не знали жестов, чтобы объяснить, какие неудобства они испытывают.

Воспоминание о тех школьных, послевоенных годах волнует не только как ушедшее навсегда, но и как время беззаветной любви к братьям меньшим. И теперь я испытываю свою особую тихую радость, обратившись к памяти в общем-то безрадостного, прошедшего в голоде и бедности детства. Отца и мать заменяла мне совершенно безграмотная, но по-житейски мудрая бабушка — Мария Михайловна.

Ничего удивительного, что неистребимая любовь к животным год от года крепла во мне. Постепенно я познавал животный мир родных мест, на Алтае и в далекой Средней Азии, где жили временно. Познания подкреплялись книжками о животных, хотя в то время литературы такого плана было не густо. Чаще всего попадались зачитанные на лет книжки Максима Зверева, которые переходили из рук в руки.

Отец погиб на фронте. Вскоре же не стало матери. Мне было семь лет. После войны мы с бабушкой около года жили у родственников на

небольшом песчаном острове Муйнак в Аральском море. Пятиклассником в свободное время я один убежал в пески острова, раскинувшиеся у рыбацкого поселка с таким же названием — Муйнак. Это была настоящая школа. Я познавал мир животных и растений песчаного царства, затерянного среди ультрамариновых вод Арала. Уже в те годы я твердо решил, что буду учиться на натуралиста. Естественно, что остров, с глинистыми чинками, желтыми сыпучими барханами, жалкими пустынными травами и кустарничками, берегами, заросшими высоченным, в руку толщиной тростником (там называют его камыш), я неплохо для себя изучил. Познакомился с природой Каракалпакии. «Где же учиться на натуралиста?» — озадачивал я себя вопросом. Мои родственники не знали тоже — можно ли учиться на натуралиста. И что это за такая профессия. Некому было оценить мое увлечение и подсказать, что делать дальше. Взрослым не до нас было в это трудное время послевоенной поры. Мы, осиротевшие мальчишки, учились сами по себе — как могли и как хотели. Понятно, что моя бабушка, которая не умела даже расписаться, тоже не могла ничего путного посоветовать. Однако она поощряла увлеченность, с какой я отдавался природе, видя в ней мою единственную радость. И я в нашей маленькой, построенной из камыша и обмазанной глиной избушке в Муйнаке содержал разную островную живность. Усадив меня рядом, бабушка говорила: «Все хорошо, — мы тоже любили зимой, ребятишками еще, на заимках снегирьков ловить, чечеточек, жenuшек (черных жаворонков) и еще разных птушек, но пойми меня, у каждого человека должно быть в жизни что-то главное. Иначе все это, что ты любишь, только забава. А в жизни все время забавляться нельзя. У каждого должно быть дело. Человек должен трудиться. Жизнь, сынок, сложна. Смотрю на тебя, и страх берет: ни к чему у тебя душа не лежит. Тебе бы только поле да птицы. Подрастаешь, и надо бы всерьез задуматься, чем займешься. Ну да ладно, — вздохнув, успокаивала она себя, заодно и меня, — пока учись, там видно будет. Мать твоя очень просила, чтобы я «поучила» тебя».

Краешком платка она вытирала тихие слезы, уходила в сторону, чтобы я не видел, как она плакала о дочери.

Когда я окончил пятый класс в Муйнаке, мы вернулись из Каракалпакии в свой родной Усть-Каменогорск. Проездом остановились на два дня в Алма-Ате у дальних родственников. Первое, что пришло мне в голову, найти, как я тогда представлял себе, «самого главного натуралиста» М. Зверева. «У него-то, — рассуждал я, — обязательно узнаю, куда нужно поступать после школы».

Я горячо верил, что писатель-натуралист обязательно выслушает меня, не как другие, и расскажет, где можно учиться. Назавтра же, утром, ничего никому не говоря, с восточной окраины города, из Татарской Слободки, утопающей в садах, я шел зелеными тенистыми улицами, пока не вышел к зоопарку. Из книжек М. Зверева я знал, что работает он в зоопарке, и спрашивал у встречных алмаатинцев: «Вы не знаете, где живет писатель-натуралист Зверев?» Ответ был один: «Нет». Некоторые останавливались, пытались вспомнить, но потом отрицательно пожимали плечами. Мне откуда знать было, что именно тут, около зоопарка, на одной из узеньких улочек под красивым названием Грушовая и живет

человек, которого искал, на которого надеялся. Неведомо мне было тогда и то, что значительно позднее, в течение почти трех десятилетий, придется ходить на встречи к Звереву. А тогда старался представить себе: «Какой он? Наверное, большой, сильный, в зеленых брюках, гимнастерке, перепоясанный ремнями, с биноклем на груди. Он же натуралист и всегда в бинокль наблюдает за животными».

Давняя мечта встретиться с писателем не оставляла меня и в последующие годы. Стремление познакомиться, рассказать о себе, поделиться радостью увлечения, напротив, росло и крепло. Никому никогда не писавший писем, я твердо решил, что обязательно напишу Звереву. «Его-то уж знают в Алма-Ате: писатель, да еще столько путешествует! Письма, наверное, к нему часто идут отовсюду. Так что в Алма-Ате все знают, где он живет», — так я думал, убеждая себя, что письмо мое найдет его. С этими мыслями я сел за письмо. Уединившись, старательно, с некоторой боязливостью я рассказывал в первом письме о своей любви к животным и попросил, чтобы писатель посоветовал, куда поступать учиться, чтобы, как он, стать натуралистом. Письмо свое я переписал раза четыре. И удивился — последний вариант его стал образцом чистописания. Прочитав свое послание, я понял, что, если бы с таким же старанием делал уроки, то стал бы одним из лучших учеников. Написание письма я рассматривал как поступок, притом самый отчаянный — еще бы, отважиться написать такому известному человеку!.. — и никому об этом не рассказывал. Уже запечатав письмо, я спохватился: «Как же зовут писателя?» На обложках его книжек, которые читал, запомнил только инициалы — М.Д.Зверев.

«Если имя с буквы М начинается, значит — Михаил», — просто и быстро решил я. И тогда на конверте прилежно написал: «Город Алма-Ата, натуралисту и писателю Михаилу Звереву».

...Я не подозревал, что повторил в какой-то мере чеховского Ваньку Жукова.

Прошло более трех десятилетий. За эти годы мной, как и каждым, много написано, в том числе и писем. Но то, первое, отосланное «на деревню дедушке», стоившее большого душевного напряжения, и сейчас вспоминаю не без улыбки.

И вот однажды, проездом в экспедицию, которая должна работать в Средней Азии, я вновь оказался в Алма-Ате. В редакции детской газеты «Дружные ребята» в то время работал мой дядя — Владимир Агафонович. Звоню. «Ты давно хотел увидеться со Зверевым. Подъезжай, он скоро зайдет к нам». Приехал. Но и в этот раз мне не суждено было встретиться с ним. С тех пор прошло еще несколько лет. Я окончил давно школу и работал механиком торгового оборудования. Однако в душе по-прежнему оставался натуралистом и по-прежнему, как в школе, вел регулярные наблюдения за животными окрестностей Усть-Каменогорска. С биноклем, записной книжкой все свободное время я бродил по берегам Иртыша и Ульбы. Местами постоянных экскурсий стали и горы Ульбинского хребта, и Чечек — ближайшие от города предгорья Калбинского хребта, подступающие к самому Иртышу. У меня скопился приличный дневниковый материал.

В маленькой полуземлянке, стоявшей около гор на окраине Верхней

пристани, как и прежде, я держал множество разных птиц. Это были снегири, чечетки, овсянки, дубоносы, шеглы. Некоторые выкормленные мной свободно летали и возвращались домой, что удивляло даже знакомых мне уже в то время профессионалов-орнитологов. Теперь я знал, где учиться, и вскоре поступил на заочное отделение Усть-Каменогорского педагогического института. С этого времени полевые наблюдения обрели целенаправленный систематический характер: у меня накапливался орнитологический материал о птицах окрестностей Усть-Каменогорска. Теперь чаще, чем прежде, я выезжал в более отдаленные места своего края. В поездках я познавал жизнь пустынь, гор и тайги, рек и озер. Восточный Казахстан — край удивительный. Мне повезло, что я родился именно здесь.

В 1963 году я снова приехал по делам в Алма-Ату. Звоню дяде в редакцию газеты «Дружные ребята».

— Старик,— говорит он,— ты можешь приехать прямо сейчас? Твоя долгожданная мечта познакомиться со Зверевым осуществится. Приезжай! Он с минуты на минуту будет у нас. Я попрошу, чтобы задержался. Торопись!

Он положил трубку. Его «Приезжай!» прозвучало как строгий приказ, как железная необходимость. Я слегка растерялся. «Ехать или не ехать? Вот так неожиданно оказаться перед самим Зверевым!» — Не верилось. Стало страшно. Желание приехать, познакомиться показалось вдруг нелепым и нескромным. Страшно еще и потому, что перед незнакомыми людьми всегда теряешься, не знаешь, что сказать. Особенное чувство неловкости возникает, если разговор не клеится — тогда не знаешь, куда и деваться.

— Будь что будет,— решаю.

На пороге редакции меня встретил дядя.

— Иди, старик, там,— показал он на ближнюю дверь,— уже сидит твой Зверев Максим Дмитриевич.

— Неужели сейчас долгожданная встреча? — не верил случаю. Дядя, улыбаясь глазами, подчеркнуто распахивает передо мною дверь, мол, вот он, весь перед вами. Вхожу и оказываюсь в небольшой, высокой и светлой комнатке. Тесно стоят три стола, за ними мужчины.

— Который? — искал я глазами. Взгляд остановился на человеке в зеленых брюках, серой рубашке с темным галстуком. «Он!» — обожгла мысль. От волнения чувствую, как краснеют уши.

— Здравствуйте! — приветствую и чувствую, как жаром наливается шея. Сузив сероватые глаза, улыбаясь мягко, писатель встал, подошел ко мне и шутливо, слегка склонив голову, ответил: «Здравствуйте, Максим Дмитриевич Зверев — ваш покорный слуга», — и протянул мне руку. Мы познакомились.

— Так вот, еще минуточку, извините меня,— он обратился ко мне.— Вы торопитесь сейчас куда-нибудь? — он и впоследствии ко мне так же обращался.

— Нет, никуда.

— Тогда сейчас вместе и пойдем. Присаживайтесь,— он кивнул на стул. Я сел. Писатель же продолжал начатый до меня разговор с главным редактором. Пользуясь случаем, что он занят, я незаметно рассматривал

его: среднего роста, плотный. Русское лицо со здоровым цветом кожи. Благородство во взгляде и тихом голосе. Во время разговора он часто поправлял аккуратно подстриженные, русые, слегка тронутые сединой рассыпающиеся прямые волосы.

— Да, а как ваше отчество? — обратился ко мне Максим Дмитриевич.

— Какое отчество? — растерялся я, — зовите просто, по имени.

— Васильевич, — ответил за меня дядя. — Боря — сын моего брата Васи, погибшего на фронте, — пояснил он. На некоторое время установилось неловкое молчание.

— Владимир Агафонович, — обратился к дяде Максим Дмитриевич, — будете смотреть рассказ, который я принес, только прошу вас, пожалуйста, сразу не обрубайте, если что не так. Сами понимаете, автор совсем молодой... Понятно, не все гладко. Но мне кажется, у него есть свое видение. Поддержать бы как-то надо...

Писатель привел еще массу разных доводов в пользу никому не известного молодого автора.

— Ну что ж, — снова обратился он ко мне, — если вы располагаете временем, идемте ко мне домой.

Мы оставили редакцию. По городу шли вдвоем. Сердце мое было переполнено радостью. Представлялась возможность без лишних людей поговорить с человеком, встречи с которым я ожидал столько лет. Мы шли и мне казалось, что все прохожие знают его и теперь смотрят только на нас, и завидовали мне, что иду с таким известным писателем-натуралистом, книжки которого читает вся страна. От редакции, из центра города на Грушовую, мы шли пешком. Я не знал тогда, что Максим Дмитриевич, несмотря на годы, всегда по городу предпочитает ходить пешком, и поэтому считал, что идет он пешком только ради меня. После того, как я освоился, как говорят, пришел в себя, разговор пошел о природе.

— Знаете, Максим Дмитриевич, — начал я, — в одном из ваших рассказов говорится о снегирах, которые кормились. Под деревом после них остались лежать на снегу косточки, а где свирители — мякоть. В сущности же наоборот. Вы, наверное, ошиблись...

Нисколько не удивившись, без досады на замечание, без раздражения, спокойно он ответил: «Скажите, пожалуйста, значит, напутал что-то. Спасибо! Обязательно учту!»

Со дня нашей встречи прошли десятилетия, но я и сейчас вспоминаю слова, сказанные писателем, и до сих пор по-доброму завидую постоянному, достойному подражанию его спокойствию в разных, казалось бы, не вызывающих положительных эмоций обстоятельствах. Даже в конфликтных ситуациях, с которыми подчас ему приходится сталкиваться, Максим Дмитриевич до удивления всегда спокоен, всегда со всеми деликатен. Со всеми людьми самого разного возраста он, прежде внимательно выслушав, разговаривает на равных. По дороге из редакции я рассказал писателю о своем призвании; о краях, в которых бывал, рассказывал о своих наблюдениях за птицами и зверями в природе, а также о тех, которых держал дома. Натуралист заинтересовался, веду ли я дневники наблюдений, делаю ли записи по фенологии, пытаюсь ли писать зарисовки?

За разговором, незаметно пришли на узенькую уютную улочку. За

глухими заборами дворов благоухали цветущие сады. Со всех сторон слышалось грудное воркование египетских горлиц. Глухая улочка и дом красноречиво говорили, что именно здесь, в тени садов под птичье воркованье, должен жить натуралист. На Грушовой стояла непривычная для современного столичного города сельская тишина, располагающая к благодушию и покою.

В рабочем кабинете Зверева удивило обилие оригинальных сувениров: рога косуль, маралов, архаров, газелей и добротнo сделанных чучел хищных птиц. Свообразие обстановки составляли большой, потемневший от времени старинной работы стол, загруженный бумагами, шкаф, забитый зоологической литературой; малогабаритные пишущие машинки и разные поделки из природного материала. И главное — кругом книги о природе. Среди этих книг много написанных самим Максимом Дмитриевичем. Даже неискушенный человек угадал бы, что здесь живет и работает натуралист.

Как давно знакомые, сидели мы в креслах, сделанных из крутогнутых, словно выдутых, рогов архаров и саблевидных рогов козерогов.

Впервые за всю жизнь я получил возможность рассказать о себе, поделиться своим, услышать нужные советы, наставления, пожелания от человека с завидной судьбой. Зверев, как человек моей мальчишеской мечты, бывал, как я знал, в разных экспедициях, о которых я читал в его книжках с наслаждением и доброй завистью. Я сидел перед ученым, одним из немногих, которые стояли у истоков зоологической науки советского периода. Это он, уже ставший почти легендарным, вместе с плеядой первопроходцев прошел, как зоолог, неизученными просторами нашей страны, свидетель счастливых, а подчас и драматических встреч с животными. Неоднократно на писательских конференциях беседовал с известными, такими же, как он, писателями-анималистами и писателями-натуралистами, крупными зоологами нашей страны и зарубежными специалистами.

— Ну, а сами что-нибудь пробовали писать или только дневники полевые ведете? — поинтересовался, слушая меня, Максим Дмитриевич. — Хотя дневники хорошо, — продолжал он, — но, понимаете, нужны не просто документальные записки. Читать никто не будет. А вот если использовать художественные образы — другое дело. Простому читателю — не естественнику, тоже будет интересно. Надо еще, чтобы в рассказе или зарисовке больше сравнений было. Знания у вас есть, а это сегодня в литературе о природе, как и во всякой другой, очень важно. Современный читатель грамотный. Поэтому в наше время, когда информация рекой, каждый автор должен хорошо знать предмет своего описания. Имейте в виду, чем больше эмоций, особенно в литературе о животных, тем рассказ лучше. Больше жизни должно быть, ее правды.

Максим Дмитриевич закончил разговор тем, что достал несколько писем, в которых были короткие рассказы. Дал почитать. А потом сказал: — «Вот видите, в этих рассказах только голые факты. Для газеты хорошо. Для художественного рассказа не пойдет. Так что давайте пробуйте, пишите о своих наблюдениях и приносите. Думаю, что у вас получится...»

Первый рассказ

Трудно найти первые слова для рассказа или даже заметки. И теперь, например, для меня начало любого произведения остается задачей легкой. С каких слов начать? Иной раз приходится мучительно искать единственные, нужные слова для первого предложения. От них зависит дальнейший строй повествования. С них начинается решение поставленной задачи.

Естественно совершенно, что еще труднее первый шаг для начинающего автора, при условии, если относится он к делу с чувством зрелой ответственности. Трудности эти связаны с тем, что нет еще четко сформулированной сюжетной линии. Главное, как часто бывает у начинающих, не хватает нужных слов. Вроде бы все готово, а не получается. Что-нибудь да не так, как хотелось бы.

Так и я начинал свой первый рассказ по совету Максима Дмитриевича. Хорошо помню, как только сел и увидел перед собой чистый лист бумаги, понял — на моем пути трудноодолимая работа. Понял, что в одиночку, вооруженному одним желанием, предстоит одолеть неприступную крепость. Оказалось, страдал не столько я, сколько бумага, чистые листы которой нужнее для более нужных дел. Исписанных, исчерканных, перечеркнутых — их хватило бы, наверное, на целую книжку или даже увесистый том. И тут кстати и процитировать Григория Семенова: «Я с улыбкой думаю: если тебе так трудно, возьми да и не пиши. Кто тебя заставляет мучиться!» Но как не писать, если просит этой «муки» сама душа, если желание поделиться маленькими радостями открытий натуралиста неодолимо. Однажды на встрече молодых детских писателей в Ленинграде с Федором Абрамовым писатель начал с того, что оглядел сидящих за круглым столом, помолчал, опустив глаза, потом сказал: «Если можете не писать — бросьте, не можете — тогда пишите». Прекрасно, что люди берутся за перо! Не было б подобных желаний, человечество стало бы неизмеримо бедней.

Написал я тот первый рассказ, и назывался он «Житель лунных тугаев». Замысел его родился на благодатной почве впечатлений школьника об экзотической природе среднеазиатских лесов и, в частности, об удивительных, малоизвестных их обитателях — буланных или тугайных совках. Крошечные, пресимпатичные создания как бы олицетворяли все таинства южных ночей в первозданных приречных джунглях Амударьи. Многие дни и недели провел я в поисках гнезд, пока труд мой не увенчался успехом. Влюбленный в этих странненьких таинственных совков, я решил взять себе из гнезда птенца и выкормить. Так и сделал. И, естественно, что многое узнал о жизни таинственных птиц. О них и был мой первый рассказ.

Чуть более двадцати страниц рукописи вместили месяцы романтических поисков, радостей и огорчений. Этот рассказ я и принес старому натуралисту.

— Возможно, потом, когда будет время, посмотрите и скажете, получилось ли, — обратился я к писателю, отдавая рассказ.

— Зачем же потом? Давайте рассказ.

Отложив свои дела, Максим Дмитриевич надел очки и с рукописью опустил в кресло.

Пока он читал, я с напряжением следил за выражением его лица, боясь пропустить малейшие изменения мимики. По ним я мог только догадываться: «Нравится или нет?» — Я сгорал от нетерпения. Мне очень хотелось, чтобы рассказ понравился. Но страшно, убийственно медленно тянулись минуты.

Кто лучше Зверева даст оценку — получился или нет? Волнение мое доходило до предела: я вскакивал, заглядывал ему через плечо, на свои листы, садился и рассматривал как бы заново кабинет писателя. В глаза сразу бросались чучела птиц. Они сидели на сучьях, по стенам. Некоторые словно парили под потолком. Останавливаю взгляд на чучеле ушастой совы. Мне казалось, она оттуда, сверху, удивленно заглядывает тоже через плечо Максима Дмитриевича на страницы моего рассказа. Перевожу взгляд на толстый изогнутый сук: полураскрыв крылья, готовый взлететь, как казалось, от одного лишь неверного слова, сидел крупный сокол-баббан. Тут же, безумно выпучив красивые глаза, как бы иллюстрируя крайнее недовольство моим произведением, вдаль, за окно, глядел филин. Задумчиво, словно во власти впечатлений от таинственной жизни тугаев, или еще от чего-то сокровенного, печальными, страдающими глазами смотрела голова рогача косули. Тут же, на стенах, висели порывевшие от времени картины неизвестных художников с видами среднерусских ландшафтов, знойных казахстанских пустынь, разных птиц и зверей, обитателей пустынь, степей, лесов и гор. С тревогой и страхом слежу за писателем: уголки губ слегка опущены, едва вздрагивают, видимо, от моих неуклюжих фраз глубже становятся складки лба. Потом выравниваются, в работе только глаза. Пальцы вращают с дарственной в золотистую нитку надпись трехгранную ручку, выточенную из мамонтова клыка. Что же он — обладающий по сути энциклопедическими знаниями в вопросах зоологии скажет мне?

Максим Дмитриевич вычитывал страницу за страницей. Вытирал выступающий на лице пот и, слегка подавлявая уставшие глаза, не поворачиваясь ко мне, спокойно, не раздражаясь, говорил: «Ну разве так можно. Вы посмотрите, одни академические выражения. Факты интересные, но очень уж сухо. Как рассказываете! А пишете совсем по-другому. Ей-богу, словно и не вы, а кто-то другой сделал это за вас».

Он поднимает на меня усталый взгляд:

— «Рассказ — сложная форма литературного жанра. Автор должен быть открытым, эмоциональным. Проникновенность жизнеописаний, выводы должны убедить других. Автор должен уметь перелить из своей души лучшие переживания в сердце читателя. Фальши здесь не место. В каждом рассказе, особенно коротком, просчеты как на ладони. За каждое слово нужно отвечать».

Он опускает взгляд, листает, читая рукопись, и снова, в ожидании замечаний, волнуясь, я обегаю глазами кабинет. На всем, что в нем было, следы времени: чучела, о которых я говорил, картины и мебель — старинные, давние. Странный колорит на всем. Казалось бы, старина к лицу писателю, ему уже за семьдесят. Однако с первого взгляда этого не скажешь. На удивление он полон сил и, главное, не утратил способности всему удивляться. У него всегда есть нерешенные проблемы. Волнует писателя все, и, как говорят, он все берет на карандаш, не откладывая. Куда-то звонит, идет, пишет, выступает по радио, перед школьниками,

бывает на встречах с юннатами, всегда участвует в организационных мероприятиях республиканских издательств.

— Ну что? — отложив рассказ и повернувшись ко мне, начал он. — Рассказ хороший, беда одна — мало художественного текста. Понимаете, — и Максим Дмитриевич обстоятельно рассказывает о том, как нужно привлекать домысел, строить сюжет. Он приводит многочисленные примеры из своих известных рассказов, из русской классики о природе. Он ставит к книжному шкафу табурет, встает и, дотянувшись до коричневого ящика с ячейками квадратов, достает картотеку. Ставит ее на стол. Садится и, перебирая листки, вытаскивает плотную, пожелтевшую карточку.

— Видите, — показывает он, — здесь в одну строчку запись. А у меня на этом целый рассказ. — И открывает лежащую на столе книгу на нужной странице и показывает.

Разочаровывало, что многое в рассказах — домысел. И так не хотелось верить, что во всем есть доля фантазии, потому что всегда думалось, что Зверев-натуралист постоянно бывает в экспедициях, и все, о чем пишет, видел и пережил.

Мне тогда совершенно противоестественным казался литературный домысел.

— Максим Дмитриевич, — не соглашаюсь с ним, — я же натуралист. Поэтому пишу и должен писать все так, как было, как видел. Привирать не хочется. Видно же, что материал для рассказа сам по себе интересный.

— Все правильно. Литература о природе развивается по своим законам и строится, прежде всего, на наблюдениях автора, и он должен быть знающим. Выдумывать ничего не надо. Но имейте в виду: не надо путать, грубо говоря, вранье и домысел. Домысел окрашивает, оживляет. Поддайте огоньку личной страсти, жара чувств. Это все делает, если хотите, более жизненным, правдивым даже, и главное — интересным повествование. Имейте в виду, что такую литературу читают-то больше всего ребята. А если будет изложено все сухо, академично, то даже любящие природу ребяташки не захотят читать такой рассказ. Подключайте воображение, у вас оно есть. — Он помолчал, что-то вспоминая, и сказал: — «Воображение дороже знаний», — так сказал однажды Эйнштейн. А Евгений Евтушенко эту же мысль выразил другими словами: «Великая литература выше знания. Знание может быть бесстрастным, литература — никогда». И я этому закону верю.

Максим Дмитриевич говорит все это ровно и спокойно, ни на полтона не повысив голоса. Меня это успокаивает. Кажется, начинаю понимать, чего он от меня добивается. Умение использовать собственное воображение — залог успеха, один из секретов популярности писателя. И главное, читатель, познав книги автора в детстве, сохраняет интерес к ним до самой старости. Вот почему книги писателя Зверева так популярны среди читателей разного возраста.

— Больше эмоций должно быть, — наставлял Максим Дмитриевич, — запомните, факты всегда нужно оживлять словом, образами и собственным отношением к ним. В таком виде, как сейчас написано про совку, читать интересно лишь самому и мне, скажем, а массовому читателю эти сухие биологические сведения непонятны или просто скучны и неинтересны. А материал хороший!

Значительно позже я узнал, как Максим Дмитриевич относится к молодым авторам. С ними он сдержан, исключает резкие суждения, словом, уважает начинающего свой путь в литературе, даже если его первое произведение из рук вон как плохо написано. Но если автор не лишен «дара божьего», тогда писатель обязательно по достоинству оценит хорошее. Естественно, что и впоследствии, за годы нашей дружбы, он всегда воодушевлял и моих товарищей, пробующих себя в литературе, оптимизмом и верой в то, что они смогут, что должны писать о природе. Словом, все делал, чтобы раскрыть нераскрытые возможности. Так, Максим Дмитриевич на протяжении многих десятилетий открывает молодых авторов. Как и следовало ожидать, вокруг него выросла целая школа — «поросль молодых писателей», близких ему по духу, интересам; так потом скажет о школе Зверева известный писатель-натуралист и большой друг Максима Дмитриевича Николай Иванович Сладков. Для тех, кто делает первые шаги в литературе, благодаря стараниям писателя, открылась широкая дорога в республиканские издательства. Поэтому неудивительно, что каждый год выходят новые и новые книги о природе и людях, охраняющих ее.

Литература о природе, сложных отношениях человека и окружающей среды сегодня просто необходима для решения вопросов экологического воспитания. Еще несколько лет назад создавались целые залежи рассказов, очерков, зарисовок, рассказывающих о природе. И только за последние годы, благодаря требованию времени, и в частности, инициативе писателя, в красочном многообразии, полно освещается в книгах и сборниках природа Казахстана и связанные с ней волнующие проблемы. С гордостью можно говорить, что, как никогда, даже много лучше, чем в других республиках, в казахстанских издательствах налажен выход книг, связанных с природной тематикой.

Охрана природы земли, как основы существования человека, формирования его нравственности и прочих духовных ценностей — главное, что исходит из творчества самого Максима Дмитриевича и его многочисленных учеников.

Помню, в тот раз, когда он читал мой первый рассказ, деликатно предложил изменить концовку. У меня она была несколько трагичной. Вот на чем заострил свой разговор писатель:

— Мне кажется, конец в рассказе несколько неудачный: зачем вы погубили своего чудесного совенка?

— Оно так и было, его просто-напросто съела какая-то бродячая кошка, — ответил я. — Я и написал правду.

— Я все понимаю, — охлаждал мои возражения спокойным голосом он, но не соглашался с моими пылкими убеждениями, основанными на печальной действительности.

— Поймите, наконец, — говорил он, — пока рассказ читали ваши юные читатели, они по-своему полюбили совенка. И вот он так нелепо гибнет. А на самом-то деле вы его погубили. Я знаю много примеров, когда от таких концовок дети плачут. Этого не нужно делать. Зачем омрачать прекрасные чувства, которые вызывает повествование у ребят?

Позже я понял это из рассказов Зверева, которые завершаются чаще всего счастливо, хотя, на мой взгляд, это несколько притупляет, вуалирует

истинные конфликты, и тем самым снижает порог эмоциональной боли за все прекрасное, что называем природой. Но писатель идеализирует отношения человека и природы. И труд его весь направлен на то, чтобы отношения эти именно так и складывались. Максим Дмитриевич считает человека настоящим и верным другом природы, ее добрым хозяином. Убеждает: любовь к ней формирует в каждом чувство патриотизма. И только по отношению к врагам природы — браконьерам, чинушам и прочим равнодушным к прекрасному писатель непримирим. Особенно страшным он считает равнодушие. Только неравнодушие стоит против жестокости и несправедливости, против уродливого отношения ко всему живому, прекрасному. Авторская тенденция, как защитника природы, видна в его рассказах, повестях, публицистических статьях. Как писатель и гражданин Зверев весь в этом. И в этом значимость его как нашего современника. Доброжелательный и деликатный наставник молодежи, творчество свое он адресует ей, и эта творческая черта просматривается во всех произведениях писателя, обладающих подкупающей тактикой. Рассказы его уводят воображение юных читателей в царство пустынь и гор, загадочный и многоликий мир животных и растений. Поэтому только, наверное, притягательной, порой неотразимой силой обладают слово и факты писателя. Важно, что все произведения написаны на документальной основе, фактах, научно истолкованных. Автору самому довелось быть их счастливым свидетелем как зоологу-профессионалу.

Еще задолго до выхода в свет автобиографической книги Зверева «Займка в бору», ехали мы с Максимом Дмитриевичем в кабине охотинспекторской автомашины из Чарынской экспедиции, Зверев рассказывал о том, как он писал свой первый рассказ и что из этого вышло.

Это была первая детская попытка написать о своих впечатлениях, навеянных охотой, на которую брал отец.

— Знаете, увидел я тогда лебедей из скрадка, в котором с отцом в засидке были. Лет семь мне было. В азарте дергаю отца за рукав и почти кричу — стреляй! Отец жестом руки остановил меня, строго поглядел на охваченного охотничьей страстью и так же строго объяснил, чтобы я навсегда зарубил на носу, что никогда нельзя стрелять лебедей. А тут, помню, как раз утки. Пара. Отец выстрелил и убил. И, понимаете, — с сожалением, будто это только что случилось, развел руками Максим Дмитриевич, — убил, оказывается, случайно самку — утку. Вы не представляете! Сколько досады было! Мало того: товарищи его — охотники тоже, стыдили. Отец, помню, как мальчишка, оправдывался. Говорил, что летела-то она почему-то позади, как это иногда бывает. А тут селезень шел впереди, а не следом. Вы ж знаете, как они летают? — обращается ко мне писатель, — а в этот раз вот так нехорошо получилось.

Максим Дмитриевич вспоминает ту далекую пору, задумчиво смотрит в окно, затем поворачивается ко мне. Он держит в руках свою костяную ручку. Оказавшись во власти воспоминаний, учащенно моргая, смотрит невидящим взглядом вдаль на истерзанные плугом поля и добавляет, — вот ведь как относились тогда к природе. А ведь птицы-то, не поверите, трудно представить, тьма была! Казалось, хоть тыщу лет стреляй, не задумываясь, не выбьешь никогда. Ага, так вот дальше, — словно спохватывается он. — Прошло несколько дней, я решил про охоту написать

тот свой первый рассказ. Взял тетрадь в линейку, уединился и написал на нескольких страницах. Писал крупными буквами. Потом показал отцу. Прочитав внимательно мое произведение, он пришел в ужас. Страницы от красного карандаша, которым он исправлял мои ошибки, густо покраснели. Получилось так, что мой первый рассказ огорчил не только родителей, но больше всех меня — автора, — Максим Дмитриевич тихо смеется. Лицо его розовеет, платком он вытирает чуть повлажневшие глаза, поправляет пепельные, сбившиеся на лоб волосы. Некоторое время как бы отходит от нахлынувших воспоминаний. И уже серьезно рассказывает, как значительно позже, когда учился в реальном училище, написал сочинение о природе окрестностей Барнаула. — Учитель признал его лучшим. Похвалил!

— Это сочинение и оказалось первым признанием меня как автора «интересного» рассказа. — Он поднял палец, акцентируя на слове «интересного» — так тогда сказал учитель.

Максим Дмитриевич, обращаясь ко мне, переходит к толкованию художественных приемов в литературном творчестве.

— Вы же натуралист, вам и козырь. Другое дело, если бы вы не знали природы, повадок птиц и зверей. Так что больше домысла, раскованности, и я жду от вас переделанным рассказ про совенка. Пишите больше, у вас обязательно получится...

Подарочек

Мы в рабочем кабинете Зверева. Резная тень листвы на большом письменном столе, заваленном исписанными листами, письмами, карточками. За окном глухо постанывают горлицы. Их грудные голоса ассоциировались со средневековыми улочками Бухары, где их было великое множество. Отложив бумаги, Максим Дмитриевич повернулся ко мне в своем крутящемся кресле. Несмотря на зной, наглухо, со свойственной ему аккуратностью, застегнул воротник неизменной зеленой рубашки. Он вытер платком уставшие глаза и, положив руки на колени, сказал: «Ну, рассказывайте, где бывали и что нового? — сам сразу же рассмеялся. — Да вы, ей-богу, не обращайтесь на мой смех внимания. Это я вспомнил своих старых друзей». — Он чуть откинулся в кресле и, оперевшись на подлокотники, остановил сосредоточенный взгляд на окне, где, не переставая, переговаривались загнездившиеся за наличником горлинки.

— Понимаете, вопрос «Ну, где бывали и что нового?» до смешного напомнил мне давнее и забытое. Бывало, еще в 20—30-х годах я часто наездами бывал в Москве. И, понимаете, — Максим Дмитриевич снова беззвучно смеется, — как сговорившись, Петр Александрович Мантейфель, Сергей Иванович Огнев, Петр Петрович Сушкин, Сергей Александрович Бутурлин — все это наши видные естествоиспытатели, известные первопроходцы зоологической науки, — так вот, увидев меня, они так же, как и я, задавали мне этот же вопрос. Ну точь-в-точь. С этого же при нашей встрече начинал и Виталий Витальевич Бианки. И вот я, не подозревая, делаю то же самое. Скажите, пожалуйста, как все мы похожи...

Я слушаю Максима Дмитриевича. Он в деталях рассказывает о своих встречах и дружеских разговорах с крупными зоологами, ставшими уже

легендарной историей отечественной науки. Его личные друзья и коллеги по науке — известные орнитологи Борис Карлович Штегман, Георгий Петрович Дементьев, Сергей Сергеевич Туров, Елизавета Александровна Козлова, Александр Николаевич Формозов, мамолог Владимир Георгиевич Гептнер, Аркадий Яковлевич Тугаринов. Слушаю и не верю, что ему посчастливилось видеть и общаться с натуралистами старших поколений, ушедших с исторической арены. Вот так же, как я сейчас со Зверевым, он беседовал с ними, делился научными новостями. О дружбе и подобных встречах, комических эпизодах из жизни этих ученых рассказывали мне много раньше тоже старые казахстанские зоологи — Валериан Семенович Бажанов, Игорь Александрович Долгушин, Мстислав Николаевич Корелов. И куда интереснее узнавать о людях, ставших легендой, сложивших первые страницы отечественной истории развития зоологической науки, от очевидца, и даже более того, от их сверстника и товарища.

Как обычно, я с удовольствием рассказывал ученому и писателю о своих летних экспедициях по Восточному Казахстану, удачных наблюдений за редкими и малоизученными животными. Рассказывал о знойных просторах Зайсанской котловины, о встрече бекаса-отшельника в горных тундрах и таежных наблюдениях за таинственными щурами на Алтае. Словом, обо всем, что меня тогда волновало.

Выслушал меня Максим Дмитриевич внимательно и, кое-что для себя уточнив, перевел взгляд на стол.

— А я готовлю книгу о психологии животных. Почти всю жизнь собирал материал и наконец-то решился,— Максим Дмитриевич достает пачку писем из выдвигного ящика стола и показывает: — здесь разные факты необычного поведения разных зверей и птиц. А это вот,— он вытаскивает и разворачивает письмо с броским каллиграфическим почерком,— письмо полковника из Киева.— Он протянул мне исписанный листок.

Я пробежал глазами: «Дорогой Максим Дмитриевич, мне 60 лет. Уже на пенсии. С детства зачитывался вашими прекрасными книгами. Потом читал их мой сын. Сейчас он тоже военный. Теперь читаем ваши книжки вместе с внуком. Благодаря вам, мы лучше и глубже стали понимать природу и, как ваши ученики, ревниво охраняем ее. Очень любим животных. Вот и решил от всей души поблагодарить вас за радость, которую вы подарили своими книгами всей нашей семье. Искренне жму вашу руку. Еще раз спасибо, дорогой Максим Дмитриевич!»

Написанное военным, уже немолодым человеком, письмо взволновало меня. И, естественно, радовало, что книги Зверева помогают людям проникаться добротой, человечностью. Несомненно, что только искренние чувства благодарности к автору заставили старого полковника, живущего за тысячи километров, сесть и написать такое письмо. У писателя, как я узнал потом, тысячи таких писем, присланных из городов, сел и заимок нашей великой страны. Читатели спрашивают, рассказывают об интересных случаях из жизни, и на каждой странице слова благодарности. Все это говорит, что большое дело делает автор, если его любят и читают во всей стране, за рубежом, и это самая высокая награда для каждого писателя.

— А вот,— показывает он на горностая из белоснежного мрамора,— подарок из Ташкента, это из Сибири,— выточенный из дерева с распах-

214456
Вост.-Каз. областная
библиотека

нутыми крыльями орел. Каждое перышко тщательно проработано со знанием и любовью. В лапах чернильница. Ею пользовался многие годы, когда я писал рассказы, пока не перешел на шариковые ручки,— комментировал Максим Дмитриевич, пока я любовался изящно выполненным сувениром.

В это время в углу вольера, устроенного у окна кабинета, зашуршала бумага и тотчас же послышался отчаянно жесткий хруст. Чьи-то крепкие зубы с необыкновенным упорством, я бы сказал, отважностью, кромсали нечто крепкое — стекло или хрусталь.

— Кто это? — показываю глазами на вольер.

— Тоже подарок, — улыбается писатель, — хомячок серый. Пионеры из школы принесли. Уже месяц как живет у меня. А все недосуг выпустить. Когда чертенок спит, непонятно, всю ночь что-нибудь да грызет. Такой беспокойный! Ну, ей-богу, отдыхать не дает. Около дома выпустить, кошка или собака задавят. Приходится терпеть его.

Я подошел к вольеру. Из круглого отверстия грубо сколоченного дощатого домика, до отказа забитого газетными лоскутами, ватой и конфетными обертками, высунулась серая глазастая мордаха. Бессмысленно вытаращенные глаза смотрели в пространство, словно вокруг ничего не существовало. И в них ни признака мало-мальской мысли. Длинные, серебристые усы его постоянно ощупывали воздух. Не получив нужной информации, либо еще чего-то достойного, мордаха скучающе сомкнула выкаченные, как у звездочета, глаза и без сожаления скрылась среди бумажного хлама. Вскоре же вновь послышался сокрушающий слух скрежет. Зверек что-то точил острыми, не знающими боли и жалости зубами. На миг представляю, что это не он, а я грызу, как тотчас приступом у меня заныли зубы и того гляди накатятся слезы на сведенные от адского скрежета скулы.

Максим Дмитриевич, чуть скосив уголки губ, беззвучно смеется: «Сахар там кромсает. И, представляете, так всю ночь. Ну ни на минуту покоя!..»

До этого дня мне еще ни разу не доводилось наблюдать серого хомячка. По литературным источникам я знал, что в его ареал входит и наш Восточный Казахстан, где я живу. Биологию его я знал лишь в общих чертах, но самого не видел. Поэтому, естественно, как зоологу мне хотелось взглянуть на зверька. — «А как бы посмотреть?» — обратился я к писателю. — «Сейчас достанем», — ответил Максим Дмитриевич. Оказавшись на свету, хомячок, как почитатель сумрака и ночной темноты, почувствовал себя неуютно, собрался в серый комок и испуганно, сжав светлые кулачки передних лапок, сидел, словно раздетый, и невинно моргал крупными черно-лаковыми глазками. Как линзы выпуклые, они смотрели куда-то в потолок. Максим Дмитриевич посадил его на ладонь: погладил, едва прикасаясь пальцем к серой шелковистой спинке. Хомячок обладал на редкость мирным нравом: не кусался и не стремился улизнуть. Даже напротив: он присел на задние лапки и, решив, что пришло время, стал энергично умываться. Со стороны зверек походил на молящегося запыленного странника, оказавшегося перед самим пророком. Хомячок был излишне упитан: шерстка блестела. «Умывшись», он перекатылся с ладони на ладонь — широкий, мышастый и мягкобрюхий. Лапки, словно

в светлых перчатках, отливали серебром, что придавало особое очарование его двуцветной шубке.

— Хотите поддержать? — протянул зверька на руке Максим Дмитриевич. — Дарю! — Я не заставил себя упрашивать. И не без радости поблагодарил за необычный подарок. Я взял хомячка на руки. Максим Дмитриевич, словно боясь, что вдруг передумаю, пошел в другую комнату и вскоре вернулся с густоплетенной проволочной клетушкой.

— Считаю, что каждому зоологу не мешает ближе познакомиться, узнать животное в «лицо», понаблюдать за поведением дома, — начал я разговор. — Хотя некоторые зоологи, которые имеют дело с животными только в естественных условиях, нередко относятся с презрением к тем, которые возятся с ними дома. Содержать их хлопотно, да и не всегда возможно, но интересное в поведении, особенно скрытных видов или редких в природе, можно узнать в неволе. Возьмем Даррелла Джеральда: по образованию не зоолог, но посмотрите, какие у него знания. И собраны они им, в основном, при содержании животных дома и в зоопарке. В практике зоологической науки сегодня накоплено немало очень интересных данных у ученых при содержании в неволе диких видов зверей и птиц.

— Правильно, — выслушав меня, соглашается Максим Дмитриевич, — факты, собранные на воле, отражают естественное поведение животного. Они, как правило, более труднодобываемые и, конечно, более ценные. — Он подумал, что-то вспоминая, и добавил: — а вообще, я считаю, и то и другое нужно. Наблюдения за животными в неволе дополняют сведения, полученные от наблюдений в природе. Вот я содержал дома барса, и, знаете, многое удалось почерпнуть из его жизни. И что важно, по этологии барса, оказывается, практически ничего еще нет и по сегодняшней день. А зверь всюду стал редким. И, как ни странно, — разводит руки он, — еще и, оказывается, я один собрал материал о жизни барса в природе и в неволе. Сейчас, — показал он на кипу бумаг в открытой папке, — по заказу издательства «Кайнар» пишу о барсе. Будут издавать серию книжек о редких и исчезающих животных Казахстана. Надо привлекать наших зоологов. Материал должен быть интересным.

Он посмотрел на серого пленника через прутья клетушки, подняв ее на уровень глаз, и сказал:

— Забирайте и понаблюдайте. Что-нибудь интересное обязательно узнаете о нем. — В словах его прозвучало тайное облегчение, словно он всю жизнь хотел подарить мне что-либо очень редкое и интересное и вот это случилось сейчас.

Я достал хомячка и принял его на руку. Теплый, пушистый, он уже не хотел больше сидеть на руках и выслушивать наши пространные рассуждения. Я вынужден был прикрыть его ладонями, оставив небольшое отверстие между пальцев. Из него теперь то и дело высовывалась усатая и глазастая мордашка. Но, поняв, что возможности удрать у него нет, тотчас сменил терпеливость на гнев: он начал кусаться. Я тут же впихнул острозубого толстяка в клетушку. Ткнувшись из стороны в сторону и убедившись, что выхода нет, он с головой закопался в свой хлам. Мне показалось, что пленник наш обиделся, и, копнув пальцем его жилище, увидел его непередаваемо печальные глаза. Обреченно почти они смотрели на этот жестокий мир, который в данный момент олицетворял для него

только я. Исполненный сострадания к его участи, я решил, что обязательно дома сделаю для него приличное, подобное аквариуму, сооружение из уголков и стекла и «выстрою» ему хороший домик, чтобы пленнику было свободно и привольно. Лишь только бы не видеть его грустного, полного отчаяния взгляда.

В Усть-Каменогорск я прилетел ночью. До утра своего мохнатого гостя посадил в стеклянную банку. Затянул покрепче ее марлей и, на всякий случай, чтобы он не удрал, положил сверху книжку, оставив лишь небольшую щель для воздуха. Назавтра же собирался отнести его на юннатскую станцию, где работаю.

Но, к удивлению моему, утром банка оказалась пустой. Кинулся в поиск: под диван, под кровать, осмотрел закоулки, кухню. Беглеца нигде не было. Успокаивало то, что комната была наглухо закрыта, и, естественно, за пределы квартиры на третьем этаже сбежать он не мог. «Дыр в полу нет, значит, найду, когда приду с работы», — решил я и со спокойным сердцем ушел на работу. Однако вечером, после работы, поиск хомячка я отложил до следующего утра. А чтобы он не страдал от голода, поставил на пол чашечку с водой. Пшеницу и семечки рассыпал на разостланной газете. «Найдет, если не удрал». Утром я убедился — хомячок не сбежал. Он дома. Кроме того, я отметил, что беглец не только сметливый, но и весьма запасливый: он дочиста перетаскал зерна, которые я давал, и уволок куда-то всю газету. «Все в порядке», — успокоился я и только на третий день удосужился посвятить свободное время обстоятельным поискам: вновь осмотрел углы, обшарил пол под кухонным столом, даже на всякий случай вытащил из-под него всю рухлядь, где бы хомячок мог спрятаться. Проверил также углы под ванной, где, казалось бы, в темноте и тесноте, ему самое подходящее место, но хомячка не было. «Неужели выскочил на балкон и предпочел побег через рискованное падение?» На всякий случай отворил плотно прикрытую дверь и заглянул в маленькую кладовку. Там стояли коробки из-под обуви, набитые бытовой мелочью, да небольшой чемоданчик с фотографиями и документами. Хомячка не увидел. «Удрал или сквозь землю провалился?» — раздосадованный уже, я заполз на всякий случай еще раз под диван, чтобы уже не сомневаться в его бегстве. Поднял на кровати матрац. Пусто! Перетряс старую обувь, а также валенки и унты, дожидавшиеся зимы в кладовке, и внимательно оглядел каждую коробку. И только тогда окончательно решил, что ночью бедолага выскочил через притвор двери на балкон и свалился. Больше некуда. Но в тот самый момент, когда я уже собирался захлопнуть дверь кладовки, вдруг показалось, что слышу какой-то неясный шорох. Прислушался. Тихо. Так и простоял минут пять, не шелохнувшись. И когда уже решил, что мне показалось, как снова слышу — кто-то возится. Подозрения оправдались: я услышал, как кто-то мелко-мелко что-то стрижет. «Неужели в чемоданчике? Но ведь он плотно закрыт?» Не веря себе, распахнул его. Но от того, что я увидел, меня чуть было не хватила кондрашка: в углу чемоданчика из мелко иссеченных зубами кусочков семейных фотографий, облигаций, метрик, писем был свит плотный и достаточно большой круглый шар, похожий на осиное гнездо. Я окаменел. Старинные фото, оставшиеся от моей бабушки, и прочие семейные реликвии — все в прах, в кусочки. Не успел я еще до конца осознать, что произошло, как мерзопакостный зве-

рек из отверстия показал усатую и, если можно так сказать, наглообеспеченную «морду» с блестящими, бесконечно счастливыми глазами. Я не ошибаюсь, я видел, что они светились неподдельным восторгом. Он был вполне удовлетворен предоставленной ему свободой, теплотой и заботой. Поэтому вполне естественно, что полнейшую удовлетворенность с молчаливой благодарностью выражала теперь его наглая физиономия мне — хозяину, который слово свое об улучшении жизненных условий и прочее сдержал. Счастливый прощелыга решил, чтобы не отнимать у меня время, связанное с устройством обещанного еще в Алма-Ате комфорта, сделать все сам. Своей единственной извилиной он уловил, что я не намерен так сразу закрывать теперь уже его чемодан, и непозволительно долго созерцаю его благодушную особу, недовольно задергал носом и по-тараканьи зашевелил усами.

— Бармалей проклятый! — в гневе закричал я. — Что ты наделал, негодник! Неблагодарный! — на мой крик нахальный провинциал высунулся наполовину из своей обители, встал на задние лапы и с видом собственника, обнаружившего в собственном доме вора, заверещал, угрожающе обнажив пару резцов. Он готов был как мог защищать собственную усадьбу и дом. — Ах ты, заморыш несчастный! — крикнул я и одним взмахом руки сгреб за шиворот толстобочного увальня и зло сунул в стеклянную банку. Крепко-накрепко, что надо было сделать раньше, замотал ее тряпкой, чтобы теперь по собственному желанию он не смог выбраться. Гнездо, которое он строил с присущей идиотской любовью и прилежностью из бумажных клочков, рассыпалось в моих руках. В качестве облицовочного материала использовались фотографии. На обрывках я с трудом узнавал носы, глаза или лица родных и друзей... На тонкой бумаге пестрели цифры и буквы облигаций, местами синели кусочки моей метрики. Внутри проклятое гнездо было выстлано войлоком, который он сделал из газеты. Корм, который я оставил на ночь, собран в кучу и лежал в гнездовой камере. «Вот так подарочек! На кой мне этот хомячишка со своими бестолковыми вытарашенными глазами и отвратительными усами», — ругал я себя и, естественно, не забывал Максима Дмитриевича...

Не зря говорят, смеется тот, кто смеется последним. Случается, что нам чужая «беда» порой кажется смешной. Только теперь я вспомнил, как сам оказался на месте своего деда — Сани, над которым я в свое время незло посмеивался: всю жизнь он очень бережно относился ко всему живому. И удивляло то, что это было нормой поведения наших стариков. Никто их не призывал к охране. «Иду вот, — часто говорил он, — увижу на тропе муравья, перешагну. Пускай живет божья тварь. Так же, как и мы, живут мало и трудно. Вот и пусть живут». Кстати, дед никогда не ругался. Самое крепкое слово в гневе, какое мог произнести, так это только «тварь». Никогда ни на кого он не охотился, убеждения его сводились только к жалости по отношению к животным. Эта черта его характера была необычной в семье, где братья — тоже мой дед Матвей и дед Филипп были страстными охотниками и рыбаками. И тоже никогда не допускавшие браконьерства. И вот я вспомнил, как однажды дед Саня пришел с работы потрясенный. Меня же горе его забавляло, хотя изо всех сил, как мог, скрывал, что мне смешно.

В тот осенний вечер вернулся он с вахты на барже. Сдвинув строгие тонкие, как подбритые, брови над прямой линией носа, он молча курил «косушку».

— Что случилось, Санютка? — спросила бабушка, глядя в его то-скливые зеленовато-серые глаза. От расстроенности они казались еще зеленее. Дед сидел молча. Из-под старого бушлата виднелся треугольник тельняшки. Он ловко выкручивал вокруг большого пальца, прокопченного до желтизны, новую «косушку» и, сердито сопя, брал и наталкивал полные щепотки махорки. До «горлышка» набивал эту «козью ножку», привычно уминая «махру» тем же желтым пальцем. Ни на кого не глядя, он сказал:

— Вот ведь, понимаешь, все лето у меня на барже, пока плавал по Зайсану к Тополеву мысу, жила мышка. Жалел ее, тварюгу, как ребенка, втайне от команды, бывало, подкармливал. Кашки или корочку тварюге подброшу. Она же, тварь такая, знала хорошо меня. Прилягу, бывало, отдохнуть в кубрике — она уж тут как тут. Бегаёт, умывается. Мне веселее с ней. Пусть живет, думаю. Вот и жили. Тварь такая! Потом заметил, что вроде еще одна появилась, откуда — не знаю. Лето с ними проплавал и сейчас со мной на барже живут. А вчера взял бумажник — проверю, думаю, облигации 3-х процентные. Лет двадцать за них платил. Тираж в газете был. И что думаешь — ни одной, все в труху перегрызли. Вот же тварюги! Ну мышки, дак мышки! Зверюги! — отплеывался он от табака или горьких мыслей.

Состояние крайней растерянности и досады деда забавляло. Я слушал его, потом уходил в сени и тайно хохотал. И вот сам завел себе такую же «тварюгу» и было, надо признаться, не смешно.

В тот же день я унес его на станцию юннатов и поместил в большой аквариум. Юннатам понравился тихий симпатичный зверек. Они тут же выстелили для него травкой уголок. Насыпали на дно земли. Корма и воды — вволю. Обожаемый ими питомец тотчас вырыл норку и с ходу же принялся жадно набивать зерном защечные мешки. Словно сердечко его подсказывало, что отсюда ему никогда не выбраться и, может быть, всю оставшуюся, относительно короткую, жизнь придется проводить в уединенном заточении. Ведь из этого стеклянного замка, который для нас просто аквариум, нормальному зверьку, если на лапках нет присосок — никогда не выбраться. Мне даже стало чуть жаль этого толстобочного глупого собственника. Однако, как оказалось, и на этот раз я жестоко обманулся. Заточение его и на этот раз было недолгим: на следующее утро мы оказались сбитыми с толку свидетелями — каким образом хомячишка улизнул из аквариума? Стенки его достаточно высокие и гладкие. Поудивлялись его прыти, а не своей просчетливости и, как бывает, вскоре же о его существовании забыли.

Много разных животных побывало в кружках природы станции юных натуралистов. Печалиться о каждом подобном проныре было бы просто несерьезно и вредно для здоровья. Поэтому недолгой была и печаль о сером хомячке. Однако, вскоре же мы стали озадачиваться маленькими недоразумениями: вдруг исчезнет зерно из птичьих кормушек — пригоршню насыплешь с вечера, а утром пусто. Словно попугайчики и канарейки, щеглы, чижи и чечетки были не дневными, а ночными, и кормились с волчьим аппетитом только ночами. Или еще странные превращения: на

полке, где вчера еще стояли чучела утки или кулика, «появилась» совершенно другая птица неизвестного для науки вида без единого перышка — просто стояло голое птицеобразное существо, пожалуй, похожее на предка самого археоптерикса. Перышки чучел оказывались сгрызенными до основания. Стоит, скажем, голая чайка или галка, смотреть на нее больно и противно. Остается только одно — выбросить. Мы же не могли додуматься, что это работа все того же самого прощельги-хомячка. И вот однажды, в живоловку, поставленную на мышей, попался и он. И если, как его бывший хозяин, я, терзаемый такими загадками, потерял покой от наглости его и разбоя, то его — моего противника, было не узнать: он заметно подрос и раза в два, не меньше, потолстел. Брюхо, когда он смешно семенил на коротких лапках, буквально по полу волочилось. Шкура лоснилась как масляная. Это был постоянно переедающий увальень. Только по-прежнему на рожице жили беспросыпная глупость и озадаченность. Только теперь весь его вид с озадаченным выражением говорил об одном — где бы чего-нибудь стащить для своего дома. Словом, хомячишка олицетворял, по моим представлениям, всех толстобоких купчиков и заживревших чиновников, хотя он и относился всего лишь к миру известных всем грызунов.

Вскоре же дом, в котором размещалась юннатская станция, попал под слом. И к нашему удивлению, в цоколе уже разобранного дома мы обнаружили гнездо хомячка. Оно было на много рядков выстлано измельченными птичьими перьями, ватой и всякой легкой ветошью. Продуктов, которые он перетаскал, не нашли. Возможно, соседи его — мыши — пользовались бесхозяйственностью запасливого хозяина или отсутствием его дома несколько дней.

Станцию снесли, а самого нахального увальня, с которым были связаны одни неприятности, юннаты решили выпустить на другом конце острова. Так и сделали. Только-только мы распрощались с серым воршишкой и отъявленным пройдохой, как вскоре же получаю письмо от Максима Дмитриевича, в котором он, с присущей ему степенью пунктуальности по отношению ко всему, особенно что касается живой природы, расспрашивает, как я доvez своего хомячка, как он поживает. В конце письма бывалый натуралист сообщает, что недавно юннаты принесли ему еще одного такого же зверька. Так не хотел бы я взять и его? А то тому одному хомячку скучно...

До сих пор меня не покидает одно неотвязное желание — какое бы беспокойное существо, как и серый хомячок, подарить Звереву, чтобы у него тоже нашлась лишняя тема для рассказа о животных: может, крысу, а может, нутрию, у них зубы еще крепче.

Ученая галка

Выдался прекрасный апрельский день. Освободившаяся от снега земля прогревалась солнцем и сама щедро отдавала тепло. Испарения светлым дымом вставали над городом и туманили небесную голубизну. Ожидалась первая зелень. Я шел к Максиму Дмитриевичу. Из-под колес машин серебристыми веерами летели брызги сверкающих на солнце луж. Сады Грушовой улочки густели бордово-коричневыми красками проснувшихся

почек. Самцы египетских горлиц, распустив белоконные хвосты, вертикально взлетали и сверху медленно на широких крыльях планировали в гуши садов на теплые парящие крыши.

Двадцать лет хожу по этой улочке и каждый раз люблюсь милыми птицами. Их здесь особенно много: они на оконных наличниках, коньках тесовых крыш, яблонях, на заборах. Чуть выдвинувшись, зеленеет дощатый забор с врезанной калиткой и номером на ней — 50. Нажимаю кнопку. На звонок вскоре же выходит в легком цветастом платье Галя — жена сына писателя — Володи. Как всегда, она приветливо улыбается, приглашает в дом, а сама придерживает вышарканную до блеска цепь, на которой сидит молодой крепкий волк. Опустив тяжелую голову, обнажая белки глаз, исподлобья он поглядывает на меня. От его взгляда несколько не по себе, хотя хорошо знаю, что он миролюбив и не проявляет к людям даже легкой злобы. Даже напротив, стоит только остановиться и позвать его, он по-собачьи тянет морду, ожидая ласки. Но все равно, легкий страх, скрытое недоверие к серому хищнику останавливает. Вместе с тем я всегда испытывал влечение к этому извечному врагу человека и всех его четвероногих друзей. Понимание, что это сильный зверь, который в любой миг, по настроению, может стать агрессивным, останавливает. Поэтому каждый раз, с сожалением, что не погладил, я проходил мимо его унылой морды, украшенной умными ореховыми глазами. Они смотрят, как кажется, в самое сердце.

— А деду у нас что-то приболел, — догоняя меня у крыльца, сообщила Галя.

— Что с ним?

— Морозит что-то. С утра лежал даже...

Но я уже вижу, как Максим Дмитриевич идет навстречу.

— Увидел вас, — обращается он и протягивает для рукопожатия руку, — и вот иду встречать, чтобы волк не разорвал натуралиста... У него особое чутье на них, — смеется он, натягивая на плечи зеленую фуфайку.

— Наверное, я некстати? — спрашиваю с чувством некоторой неловкости.

— Ну что вы! Напротив, это я некстати прихворнул. День-то какой, грешно в постели валяться! Вот видите — заболел, — он виновато разводит руками. — Морозит с утра, недомогаю... Ну ладно, — обрывает он сам себя, — не хватало еще про болезни в мои восемьдесят лет разговоры вести. Слишком много ей чести... По какому поводу в Алма-Ате? — как всегда, он задает мне один и тот же вопрос.

Обменявшись несколькими фразами, мы зашли в кабинет. Максим Дмитриевич вяло опустился в свое кресло, искусно устроенное из рогов. Только теперь вижу, как он непривычно сутулится, в движениях вялость. Но, как обычно, ведет оживленный разговор о литературных делах и первым делом, выразив радость, связанную с возможностями печататься начинающим авторам, которые пишут о природе и будут публиковаться в столичном издательстве «Кайнар».

Внимательно слушаю. Новости эти волнуют и радуют меня. Я бесконечно удивляюсь энергии, которую он находит в себе, и, не жалея времени, хлопочет за молодых авторов из разных городов, чаще всего не знакомых писателю. И Максим Дмитриевич рассказывает, с каким трудом ему удалось убедить Госкомитет по издательским делам о необ-

ходимости создания коллективного сборника, в котором смогли бы опубликоваться начинающие свой путь в литературе. Забегу несколько наперед: энергия и время затрачены им не впустую. В издательстве «Жалын» налажен уже выпуск сборника «Лик Земли», который помог раскрыть ряд авторов, пишущих о природе. Подобного сборника не выпускает никакая другая республика.

— У вас весна, а у нас морозцы резвятся,— перевел я разговор,— потому как видел: Максим Дмитриевич волновался, что ему сейчас будет во вред.

— А что мы здесь сидим? — оживился он,— идемте на улицу, на солнышко... Такой чудесный день!.. Я и так целый день в комнате. Во дворе посидим.— Он встал, поддернул на плечи фуфайку.

Через застекленную веранду мы вышли во двор, сели под орешиною на толстый сутунок тополя. Шершавая кора ствола тоже струила тепло.

— Смотрите,— обратил внимание Максим Дмитриевич на проклюнувшуюся травку, выглядывающую из-под серого брюхастого ствола.— Здесь свой микроклимат, теплее, и она оказалась первая.

В полоске просыпающейся зелени заметны острые, красноватые у основания, похожие на волчьи клыки, ростки незнакомой травки.

— Это зонтичные посажены,— пояснил Максим Дмитриевич.— А вот это,— он показал на еще один бледный остроголовый росток,— это с Алтая, купальница. Люблю эти цветы, детство напоминают.

В это время в глубоком апрельском небе, которое отгораживали сплетения яблоневых ветвей, звонко и торопливо заговорил жаворонок. Эти птицы всегда весной летят победно, разливаясь в счастливых перезвонах. Голос их вселяет прочную надежду на скорое тепло, на длинные дни, на зной и грозные ливни долгожданного лета.

Максим Дмитриевич поднял голову, сомкнув чуть припухлые веки под ярким светом, искал певца в небе, но не нашел. Не увидел его и я.

— Вот ведь беда. Такая пора! Птица всю сейчас летит. Хотя бы на Или надо выбраться, а тут, на вот тебе, приболел..

— Может, в саду посидите и лучше станет,— шутя говорю.

— Я и то думаю, надо было пораньше выйти, может, уже и выздоровел бы,— улыбается он.— Да только Галка не пускает,— говорит он о своей снохе.— Простудишься еще сильнее, говорит. Куда деваться, слушаться приходится. Подчиняюсь.— Он смеется, вытирает слезящиеся от света глаза и простудно кашляет.— Она у меня врач, а я больной,— и Максим Дмитриевич, оглянувшись на крыльцо, и видимо, побаиваясь, чтобы Галя не заставила зайти в дом, натягивает фуфайку, поплотнее стянув ворот у подбородка, зябко пошевелил плечами.

«Куд-куд-куда-а! Куд-куд-куда-а! Ко-ко-ко!» — вдруг слышим, как истошно кричит курица, но странно: откуда-то сверху. Нетрудно догадаться, что она снеслась и теперь радостью своей спешила поделиться со всем белым светом.

— Ни одна птица так не поступает,— говорю.— Снесется и из-за какого-то яйца кричит во все горло.

«Куд-куд-куда-а!» — торжествовала счастливая курица.

— Знаете, меня давно удивляет их кудахтанье после снесенного яйца. Зачем это? Мы всегда поведение животных объясняем с точки биологи-

ческой целесообразности. И вот это кудахтанье — непонятно, для чего? Может быть, это желание, чтобы врагов — ну, скажем, лису, кошку дикую или еще кого-то, обвести, чтобы они по крику знали, где сама птица находится. Таким образом она и отведет их от гнезда.— Максим Дмитриевич пожимает плечами, выражая недоумение.— Непонятное поведение! Все птицы таятся у своего гнезда, а она вон как кричит, прямо-таки надрывается.

— У вас тут на Грушовой как в деревеньке: всегда слышишь забытые уже горожанами голоса — петухов, лай собак, токование горлинок, свисты дроздов черных и вот еще кудахтанье. Прямо-таки деревенская идиллия! — говорю.

Курица снова закудахтала. Но теперь, как мне показалось, она не торжествовала, а напротив, возмущалась. Мне представилось, как по двору гоняет ее шальная собачонка, и она, взлетев на забор, кричит во всю глотку. Я поднял голову. Оказывается, кудахтала она вовсе не с забора соседского, а с макушки старого, тучей плывущего дуба, на другой стороне улочки. К удивлению, обнаружил я, что это вовсе не наседка куриного племени, как мы думали, а обыкновенная галка. Она неторопливо прыгала с ветки на ветку и неустанно кричала во всю округу.

— Да это и не курица! — говорю.— Галка! — Теперь мы оба, прикрывая глаза, глядя почти против солнца, рассматривали нарушительницу общего покоя.

— Ага, интересно! — шурится Максим Дмитриевич.— Впервые у нас вижу ее. Видно, у кого-то жила и вылетела,— поясняет он.— Научилась у кур орать, вот и разоряется теперь...

Надо же, какие прекрасные имитаторские способности: галка — и вдруг точно, да так громко и беспрестанно по-куриному... Прошло не менее получаса, и мы переключили тему разговора. Но галка, как с ума сошла, не унималась. Она пританцовывала, радуясь неизвестно чему. На несколько секунд затихала, словно вслушивалась в весенний шум, и вновь с прежним азартом уже клохтала и истошно вскрикивала, будто в нее запустили камнем или палкой. Словом, все крики куриного быта исполняла она страстно и в полном совершенстве.

— Сама, что ли, снеслась? И так кричит от сбывшейся радости,— комментирую я с некоторым сарказмом, так как она уже не только порядком надоела, но и мешала беседе, сбивала с мыслей, а не замечать ее мы просто не могли. Нам казалось, все, что она кричала, было направлено против нас. Ее заполошанный голос рисовал картины, как по счастливой случайности вырвалась курица из зубов лисы или когтей случайной собаки, и, насмерть испуганная, кричит, что есть мочи. Оглушенные, мы перестали уже разговаривать. Внимание наше против собственной воли приковано только к крику злополучной птицы. Галка тем временем вошла в раж: после серии криков она вдруг срывалась с дуба, мы же облегченно вздыхали и искренне верили, что наконец-то она покинет двор и наступят долгожданные тишина и покой. Однако, завершив небольшой круг, она садилась на вершину дерева и, казалось, с еще большим восторгом, пристрастием, горланила одно и то же. И как нередко это делают во время пения другие врановые, галка тоже дубасила клювом по сухому суку, как по барабану, продолжая без умолку кудахтать и вскрикивать.

— Честное слово, сумасшедшая какая-то! У меня шея и глаза устали. Хотя уши затыкай от надоедливости крика, — утомившись, опустив голову, наконец, пожаловался Максим Дмитриевич, все это время следивший за ней.

Мы старались не обращать внимания, вспоминая об интересных случаях, связанных с животными. Максим Дмитриевич, как опытный натуралист, всегда находит в уголках памяти к каждому случаю тему, близкую к ситуации, из прошлого. Так было и в этот раз. Как прекрасный рассказчик, он переключился и стал приводить примеры о незаурядных способностях пернатых имитировать человеческую речь. Говорил о прочих голосах и звуках, воспроизводимых птицами и зверями, называя это удивительным даром животных.

— А я рассказывал, — спохватился он, — какой секретарь поселился недавно у нашей знакомой поэтессы Татьяны Фроловской?

— Нет, не припоминаю ничего такого.

— Вот ведь удивительно! — начал он. Видавший виды, как говорят, натуралист, несмотря на годы, не утратил замечательной способности удивляться. Удивляясь, он старается рассказать, чтобы другие разделили радость восхищения, чтобы так же вместе с ним испытать чувство пусть небольшого, но открытия, и каждому факту обязательно ищет научное объяснение. У него это, как говорят, в крови, профессиональная черта. Читатели не все, а зоологи хорошо знают, что Максим Дмитриевич известен в стране не только как писатель-натуралист, но еще и как ученый-зоолог. Страсть искать всему объяснение не оставила его. Высказав свои соображения по тому или другому поводу, он, как правило, не навязывая мнения, внимательно выслушивает собеседника. В суждениях не категоричен, умеет сомневаться в своих догадках, и это, естественно, каждую беседу с ним делает полезной и интересной.

— Так вот, — вспоминает он, — у Татьяны на даче, напротив верхнего окна, в кабинете печатная машинка. На ней кто-нибудь да работает, — она или муж. И вот однажды муж — Эдуард — ушел на работу. — И представляете, — писатель смеется одними глазами, — буквально через некоторое время Татьяна вдруг слышит, что Эдуард дома, что-то печатает. Эдуард, значит, дома, в своем кабинете. «Что за чертовщина? — удивляется она. — Вроде бы ушел, сама видела, а уже на машинке стучит. Не может быть, — решила про себя, — видела, что ушел. Не мог же вернуться незамеченным». Пока рассуждала, а машинка то замолкнет, то снова стучит, будто кто-то тайно пробрался и всю работу. «Кто же?» — терзалась она в догадках. И, прежде чем подняться на второй этаж, постояла, послушала — работает «так-так-так» и под конец еще и «дзык!»

«Ну точно Эдик печатает и переводит каретку!», — подумала она. «Значит, незаметно вернулся и спешно что-то дорабатывает». Успокоившись, Татьяна поднялась по лестнице. Печатает... Заглянула в кабинет и на вот тебе: никого! Тут уж не по себе ей стало. Стоит в страхе, ушам не верит, вслушивается. За окном в саду листва шепчется. Да скворец поет. Озирается она. Никого. «Неужели ослышалась? Не может быть, только что слышала». И вдруг снова: «так-так-так... — дзык!» Машинка стучит, а за машинкой никого нет. Клавиши на месте, не прыгают. Невидимка?! А он, «невидимка», снова себе долбит четко. — Ага, — улы-

баясь, добавляет Максим Дмитриевич, — а вы что думаете? — обращается он ко мне. — Выглянула она в сад, в раскрытое окно, а у скворечника сидит печатальщик и наяривает. Да так искусно! Вот ведь, скажите, пожалуйста, надо же уметь так точно передавать механические звуки, ну прямо магнитофон! Видит она, как скворец машет крыльями и сам «строчит», потом свистит, чирикает. Снова машинку вспомнит и пошел...

— Очень интересно, что так умело птицы передают не только голоса зверей, птиц, человека, но и так же точно стук и скрежет металла. Кажется, у Огнева-зоолога — подсчитано, что скворец имитировал шестьдесят голосов, криков, свистов разных птиц и зверей. Кто еще сможет, кроме них? Никто! — ответил сам себе утвердительно. — После того, как Татьяна рассказала мне эту историю, — продолжал он, — я написал об этом. У меня много скопилось подобных рассказов.

«Куд-куд-куд-куда-а...!» — не унималась «ученая» галка на соседском дубу. И снова без усталости танцует, летает, и, не переставая ни на минуту, орет, как может, во все горло.

— Жаль, кукарекать не научилась, — замечаю с негодованием, глядя на осточертевшую птицу.

Чтобы как-то отвлечься от ее кудахтанья, я тоже вспомнил об имитаторском даре пернатых.

— У меня дома, говорю, — есть жако-Гулька, бурохвостый самец моей попугаихи Жакони. Она умница, а он каких и свет, наверное, не видывал — балбес и тупица. Жако, как ни странно, не понять за что, но поразительно в него влюблена. Получается, и ей тоже свойственны странности, как и вообще женскому полу. Никакого красивого попугая ей на дух не надо, кроме него. Он бездарный, если умеет что, так это пронзительно кричать. Даже не крик, а какой-то свист, как у соловья-разбойника, хоть уши затыкай. Ни одного слова за пять лет от него не услышал. Учить пытался. И вот однажды сижу в комнате, вдруг слышу на кухне тоже стучит машинка. Стучит и с треском переводит каретку. Звук такой же металлический. Оказывается, это он включился. Попечатал, попечатал Гулька в тот раз и надолго замолчал. И спустя лет пять еще раз слышал, как он работает на машинке, и все. Но более интересно было потом. Приятель мой, тоже любитель пернатых, приходит и говорит: «Дай на время Гульку, подержу». Я уезжал в экспедицию, его предложение было кстати, я согласился. Отдал. Так вот, приятель потом рассказывал: «Только я сел с Гулькой в автобус, он в клетке у меня был, замотанный от глаз посторонних простыней. И вдруг — слышу чисто немецкую речь. Будто у меня в наволочке немец сидит. Возмущается чему-то на чистом немецком языке. Потом отчетливо, несколькими фразами, выругался тоже по-немецки и замолчал».

— Представляете, какой прекрасный слух и как здорово устроен голосовой аппарат у птиц!

— Меня, — продолжал я, — во всем этом удивляет их способность воспринимать точно на слух звуки и путем сложнейшей трансформации голосового аппарата воспроизводить уже своим методом. Поразительная способность!

— Вот же проклятая, как надоела! — Максим Дмитриевич косится на кричащую галку и, подняв усталые глаза, упавшим голосом говорит: —

Знаете, она мне не только надоела, но я уже просто не могу. Если еще посижу, то, наверное, совсем слягу.— Он смеется, стягивая потуже ворот, и предлагает,— а почему бы нам не продолжить разговор в комнате?

Встаем. Максим Дмитриевич косится на галку. «Вот же навязалась!»

— Ну что, юные натуралисты? — улыбается на крыльце Галя.— Довела вас моя тетка?

— Да ну ее к чертям! — ворчит по-доброму Максим Дмитриевич.

Мы зашли в комнату и плотно закрыли дверь.

Прошли годы, но до сих пор я вспоминаю не без улыбки ту запыленную «ученую» галку, которая криком-подражанием выкурила со двора двух натуралистов, влюбленных в птиц, в том числе и в самих галок.

Дома

Среди зоологов есть специалисты с разной степенью обожания или влюбленности в свою профессию. Большая часть предпочитает иметь дело с предметом своего изучения, если так можно выразиться, непосредственно в природной среде. Дома у них только книги, фотографии или в крайнем случае чучела наиболее привлекательных животных. Есть и такие, которые содержат у себя одетых в чешую и перья, покрытых шерстью или иглами, или же закованных в жесткий костяной панцирь. Выращивают дома растения, хотя бы в цветочном горшке, на узеньком подоконнике коммунальной квартирке. Этим натуралистов не пугает каждодневный уход за своими питомцами. Не сетуют они на занятость и время, отпущенное для отдыха. Они щедро делятся им со своими подопечными. Уход за любимцами для них — приятное времяпрепровождение. Именно эта «возня» помогает естествоиспытателю отточить наблюдательность, глубже понять, анализируя увиденное, более чутко воспринимать разные тонкости, связанные с запросами животных. Нередко эти контакты составляют основу научных познаний в поведении животных — в так называемом разделе этологии.

Есть среди зоологов и те, которые совершенно не терпят дома никакой живности. Мало того, содержание их считают просто-напросто глупостью. Работу они признают только на рабочем месте. Мне часто вспоминается давно остепененный орнитолог, считавший себя настоящим зоологом. Однако, однажды увидев на своем рабочем столе пичугу, редкую для Восточного Казахстана, добытую для коллекции, он сделал брезгливую мину, отодвинул ее на край стола, а молодому зоологу властно сказал: «Убери со стола эту пропастину!»

Он не захотел даже взглянуть на большую удачу молодого фауниста. Мышевидных грызунов — хомячков, пеструшек, тушканчиков и прочих мелких грызунов считает «дрянью», от которой можно инфекцию «подцепить» и «больше ничего путного от их существования для природы и человека». Но зато как он умеет красоваться и подавать себя на семинарских трибунах! Как красноречив, рассуждая о тайнах животного мира, к которому опасно равнодушен.

То же самое можно сказать и о писателях-натуралистах: самое лучшее, что есть в нашей литературе, связанной с природой, исходит от тех, которые знают ее, прошли ее узкими, порой опасными тропами,

и, конечно, сами наблюдали жизнь природы, как она есть. К ним относятся известный писатель-натуралист ученый Виталий Витальевич Бианки и его любимый ученик и последователь — Николай Иванович Сладков — ныне проживающий в Ленинграде. К ним же относятся и известный хорошо читателям казахстанский ученый — профессор Павел Иустинович Мариковский и, конечно, Максим Дмитриевич. Сколько знаю Зверева, всегда в его вольере, занимающем светлый угол рабочего кабинета, кто-нибудь да живет. Поэтому у писателя за долгое время натуралистических наблюдений скопился колоссальный материал, который сохранился включенным в специальную картотеку. На нем можно написать еще десятки книг — столько, сколько уже написано Зверевым. Казалось, куда бы? — хватит. Но натуралист продолжает наблюдения и в поле, и дома. Бывая у него, я постоянно кого-нибудь да видел, то белку или тушканчика, чирика или арчового дубоноса...

Сидит писатель за рабочим столом: пишет, читает, пересматривает бумаги, ведет телефонные разговоры, а за ним неотрывно следят желто-зеленые кошачьи глаза: то бодро раскрыты, то сомкнуты сонно и лениво. То вдруг поселяется в них детское любопытство и кроткость, то мгновенно они становятся тупыми, налитые звериной лютостью. Такие глаза при внимании могут стать предметом тончайших описаний наблюдательного натуралиста. словно собственное дитя, сторожат они разделяющий их крючок желтоватого клюва. Если в кабинете появился посторонний человек, они становятся еще более внимательными, более настороженными. Как янтарные, излучают свет и следят за всем, что происходит в кабинете писателя. Сейчас я тоже наблюдаю за ними. Меня притягивает их взгляд. В мгновение они оживают, как только Максим Дмитриевич берет блестящий пинцет и открывает дощатый ящичек, в котором отруби, а в них желтоватые мучные черви.

— Вы только посмотрите! — обращается писатель, — как молниеносная реакция птицы. В мгновение ока преобразается и абсолютно точно хватает лапами червяка. А еще невежды в зоологии говорят, что совы днем не видят. — С этими словами он бросает червячка на пол вольеры. Из полусонного пышного толстячка домовый сыч, о котором идет речь, сидя на толстом суку, прижимая перо, обращается в подобранного зеленоглазого хищника и стремительно бросается на добычу, хватая ее лапой и клювом, и тут же аппетитно проглатывает. Смотрит на нас и тут же поспешно пятачис — нет ли еще? Крутнув пестрой головой, он ищет сук, на котором сидел, там у него наблюдательный пункт, затем легко и бесшумно взлетает. Усевшись, расслабляется: перья на голове словно вырастают. Она снова становится большой и круглой. «Надувается», как резиновое, туловище, и сыч вновь замирает и сидит прежним толстячком. Мне он больше напоминает обросшую пестро-рыжим мхом кочку со светлыми бархатистыми веками и пронзительными зеленоватыми глазами, которые на время прикрыл, и вот они размыкаются, пристально и холодно, с неопишуемой мудростью, следят за нами, как два неусыпных сторожа. Они будто сторожат свой клюв, а не следят за нами.

— Максим Дмитриевич, скажите, в своей жизни во время ваших экспедиционных поездок наблюдали вы этих сычей в природе? Помогает вам это в работе над рассказами? — спрашиваю у писателя.

— А как же! — он поворачивается в кресле ко мне и, положив на архарьи рога, служащие подлокотниками, руки, чуть откидываясь и поглядывая на сыча, говорит: — Знаете, сам порой удивляюсь, вроде бы и правда, бог знает сколько видел домовых сычей во время экспедиций по Казахстану, Средней Азии. Раньше же их очень много было. Куда подевались? Удивительно! Ничего не остается! — несколько отступает он от основного разговора. — И вот смотрю теперь на этого сычика и вспоминаю давние встречи уже прошедших экспедиций. И, знаете, оживают прямо-таки разные эпизоды, хотя, казалось, уже прочно забыл их. А тут по принципу ассоциации — зрительные образы вызывают четкие воспоминания прошлого. И это, конечно, не все. Главное, что с воспоминаниями я прямо-таки молодею: кажется, ярче вижу звезды былых костров, ощущаю волнующий меня свет луны. Бывает, крикнет сыч ночью, а у меня перед глазами саксаул и барханы пустыни, полуразваленные могильники степняков, густой запах полыни. Даже ночных сверчков, кажется, слышу. Как видите — помогает! — Вспоминая еще что-то, вздохнул. — Да, так уж устроена наша память. — Максим Дмитриевич молчал, глаза его мягко светились. — Бывает, благодаря ему, — он показал глазами на дремавшую птицу, — что-нибудь из прошлого вспомню, и детали эти потом рассказ или повесть оживляют.

— А знаете, ведь у меня впервые у человека жила в свое время боялычная соня или селевиния. Было это в 1938-м году, то есть с того времени, как ученые открыли этого удивительного зверька. Тогда мне и удалось провести наблюдения за редчайшим обитателем планеты. Проследили впервые особенности линьки, питания и многие другие интересные для науки детали поведения. Потом написал научную статью... Рассказ тоже написал.

Сомкнув на животе руки, писатель смотрит куда-то за окно, за тенистый сад, где, не переставая воркуют горлинки. Потом встал, открыл застекленную фигурную дверцу книжного шкафа из красного дерева. Достал старый, обшитый синим бархатом фотоальбом. Положил на стол. Полистал и вынул фотографию.

— Видите, барс! Дома у меня жил. — Со старой фотографии спокойными, добродушными глазами смотрел молодой барс. Крупная кошка лежала на диване, свесив безвольно большую круглую лапу. Полосатый длинный хвост откинут. Пестрая шуба гибко и свободно, словно наброшенная, облегла сильное тело зверя с округлыми выпуклыми лопатками. Барс вызывал в воображении картины восточной роскоши и экзотические охоты прошлого, времен ратных охот хана Хубилая, описанных Марко Поло.

— Как видите, жил он совершенно свободно у нас, как кошка. Ласковый был и игривый. Наблюдения, которые я сделал, вошли в мою книжку «Снежный барс». И представляете, — разводит он руки, — и подумать не мог: оказалось, наблюдения, которые я сделал о поведении этого зверя, пока единственные в своем роде, и не только в нашей литературе. А за рубежом, собственно, им вообще никто из зоологов не занимался. Книжку мою охотно взяли в разных странах. В 1984 году даже ее в США выпустили. Ага, вот видите, как получилось, — Максим Дмитриевич усмехается как бы счастливой случайности, которая вовсе

и не случайна, и сам удивляется значимости сделанных наблюдений за редким животным планеты. О животных, которых Максим Дмитриевич содержал дома, он мог рассказывать бесконечно, и, пожалуй, наш разговор так и шел бы привычным руслом, если бы вдруг не раздался резкий крик: «Тузик, Тузик!» И странное дело: казалось, во дворе кричал Максим Дмитриевич. За окном тотчас послышался неистовый лай. Пес явно кого-то осаждал. Увидев мое, видимо озадаченное, выражение лица, Максим Дмитриевич искренне, как ему свойственно, тихо смеется, слегка кося уголки губ. Чуть осевшие округлые плечи его подрагивают. Привычным движением руки поправляет сбившиеся пепельные волосы, вытирает платком глаза.

— Вот видите, какие чудеса у нас. Сам я здесь, а получается там. Это же наш Реша такие номера выкидывает.

Я знаю Решу. Лет восемь живет он у писателя. Птица в прекрасном состоянии. Черно-синее оперение, как только его коснется луч света, загорается радужными отблесками. Реша-ворон — могучая птица. Блестят лакированные лапы, мощный черный клюв. Стриганет по злости — палец перекусит. Но главное у ворона — умные глаза. Они всегда в работе, всегда подвижные, даже когда сам он, кажется, дремлет.

Зиму и лето живет птица между стенами дома и гаража. Из «мебели», которая для него сделана в вольере, — лестница, грубо сбитая из двух жердей с круглыми перекладинами. По ней он заскакивает на наличник окна. Оттуда, когда хочется поиграть, дотягивается до лестницы и совершенно свободно поднимает, хотя она раз в двадцать тяжелее его самого. Поднимет, бросит. Земля гудит. Поэтому лестницу привязали, чтобы не падала. Слышишь, когда она гремит — кажется, кто-то с крыши поленья сбрасывает. Либо Реша с огромным удовольствием курочит подброшенную игрушку: клюв-то, как шипцы, стрижет им дерево, пластмассу, без разбору и свободно. Удивительное еще и привлекательное — хорошо «говорит». Совершенно точно передает голос Максима Дмитриевича: глуховатый, по-старчески чуть надтреснутый, с присущей легкой хрипотцой. Нередко можно услышать, как ворон вдруг возмущенно произносит: «Что это такое!?» Или же кричит на весь двор на внука: «Максим! А ну-ка иди садись за уроки!» Кричит Реша всегда повелительно. Или вдруг гаркнет властно: «Галя!» — зовет он сноху. Хотя, кстати говоря, замечу: от самого Максима Дмитриевича я никогда, ни разу не слышал повелевающего окрика или строгой фразы. Не слышал собственного многим из нас ворчания. А ворон-то говорит и в таком иногда грубом и властном тоне. Я так и думал, что он восполнил этот «пробел» в моем представлении, что касается характера Максима Дмитриевича. Из чего следовало бы сделать вывод: писатель нет-нет да и покрикивает строго, ну хотя бы на того же внука. Иначе же откуда Реше научиться? Недоразумение по этому поводу разъяснила мне Галя: «Что вы, деда у нас никогда ни на кого голоса не повышает. Это Володя с Решей часто разговаривает. Он и покрикивает на Максимку. А деда у нас не-ет», — с чувством глубокого уважения оправдывала она Максима Дмитриевича.

Вот какой пёскарь премудрый этот Реша: голос одного, интонация другого. Сумел же выловить резкие фразы строгости и властности и выдавать их голосом человека с мягким характером.

Ворон — птица царственная, незаурядная. Нельзя его путать с вороной. Они не одно и то же, как многие считают. Ворон крупная, можно сказать, могучая птица. Когда ворон в полете, в глаза бросается свойственная ему острохвость. Крылья большие, сильные, так что, когда он парит под облаками, легко можно спутать даже с орлом. Голос красивый, громкий, вселяющий чувство легкой тревоги и одиночества. Все, что рассказывалось о Реше, как говорят — «полбеда», главное — Реша научился подстрекательству. Сидит, скажем, на своей лестнице, дремлет, перья чистит, а сам все видит и все слышит. Чуткость птиц в этом отношении, как мы знаем, изумительна. И Реша всегда замечает, когда из подворотни высунется морда чужой собаки, мелькнет кошка, или появится посторонний человек. Как заправский любитель острых ощущений, ворон тогда не упускает случая: громко и резко он кричит: «Тузик, Тузик!..» Тузик — простой лохматый пес с лихо закрученным пушистым хвостом, он окончательно уверовал в непогрешимость и бдительность Рेशи. Отчаянно, сломя голову, тотчас он вылетает из конуры и с ожесточением возмущенного правдолюбца нападает на каждого пришельца. Подстрекателя это, видимо, очень устраивает, и он не упускает случая натравить славного пса.

И так почти каждый день: заметит ворон чужака — кричит, будит Тузика. Тузик не злобный, но охотно идет на перепалку с любым непрошеным гостем. Может, от скуки. На цепи же. Сам я тоже неоднократно впоследствии подвергался шантажу со стороны птицы. А однажды подошел нарочно тихо и осторожно просунул в притвор калитки руку. Сам не показываюсь. Слышу голос Максима Дмитриевича, будто он стоял на часах: «Тузик! Тузик!» И тут как тут Тузик, и яро, задыхаясь от удушья ошейника, нахально облаивает, пока я нахожусь за калиткой. Открываю тогда калитку. Пес узнает меня. Почти уверен, что он вспоминает совместные похождения с ним в тугаях Чарына и виновато опускает голову, прячет глаза и стыдливо виляет обвислым хвостом. По-приятельски стыжу его за то, что лает на своих, и он вовсе, опустив голову, уходит со своим собачьим позором в конуру. Но вот Реша явно недоумевает. Он возбужденно прыгает по лестнице, всплескивая крыльями, и еще раза два кричит Тузика, чтобы он встретил меня «как положено». Подхожу и к нему. Настроен ворон агрессивно. Протягиваю к нему руку, а он замирает, ждет, когда отвлекусь, чтобы успеть зацепить черным и мощным, как щипцы, клювом. Эти коварные выходки знаю давно.

Запомнился случай: Реша шел еще только первый год. До этого я видел его совсем беспомощного, одетого в пеньки будущих перьев. За ним ухаживал маленький Максимка. Завидев мальчугана, птенец каждый раз радостно открывал клюв, показывая красный рот, и гнусаво требовал есть. Он был беспомощный, со всеми покладист. Теперь же это был грозный красавец, отлитый будто из черного стекла, играющего на свету густыми и яркими красками вороненой стали.

Помню, как однажды Реша прыгнул в открытую форточку кухни и сел в ожидании, когда Галя что-нибудь ему вкусненькое сунет с кухонного стола, который стоял тут же, у окна. Распушив перо, опустив низко голову и скосив прелестные глаза, ворон в это время являл собой самую безвин-

ность, еще и поэтому выглядел притягательно ласковым. Терпеливо, по-детски ждал, когда же наконец угостят.

— «Мой ты хороший!» — приговаривала ласково Галя. Реша ждал, когда она нашинкует морковь, пересыплет сахаром и даст ему обожаемый им витаминный корм. «Можно, сам угощу?» — обратился я к хозяйке. Мне было интересно из собственных рук покормить ворона. Я собрал с блюда щепотку сладкой мороковной смеси. Реша неподвижен, бегают лишь, ощупывая меня, его умные внимательные глаза. Оглядев меня, что называется, с ног до головы, он ничем не выдал своего настроения. По простоте душевной я протянул угощение под самый его гнутый у вершины клюв, заросший у основания черными упругими щетинами усов, которые придавали ему вид дикого горца. Ворон не шевелился. От него исходило особое очарование первозданности и дикой красоты. Он даже и глазом не повел на протянутую с угощением руку. Будто и не ему любезно предлагаю и услужливо подаю лакомое кушанье. Смотрел он прямо мне в глаза, видимо прикидывая по-своему, кто я и что.

— Реша! Бери же! Кушай! — настаиваю. Но Решу как подменили: он казался глух и нем и совсем отказывался понимать. По-прежнему скользил взглядом, что-то соображая. Сочтя, что он стесняется или побаивается, я не выдержал и сунул морковь под самый крючок клюва. Разве мог я подумать, что этот негодник, вместо того, чтобы с благодарностью принять угощение, намерен был проучить за излишне навязчивую любезность: в мгновение метнулся могучий клюв к моим пальцам и только чудом успел я отдернуть руку. Громко, как две кости при ударе друг о друга, щелкнул клюв. Благодаря счастливой случайности он не оттяпал мне в лучшем варианте кусок кожи.

— Ну и нахал же ты! — возмущился я.

Реша по-прежнему, невозмутимо, как старый дипломат, обжегал меня спокойными глазами. Вид его выражал саму невинность, даже некоторое благодушие. И только поднятые шапкой смоляные перья на голове красноречиво говорили, что там у него, под этой «шапкой» бродят отнюдь не добрые намерения и прячется злобное чувство. Только теперь в его глазах, излучающих огнистый блеск, я разглядел коварство дикого турка. Сгорбившийся, словно облаченный в иссиня-черную ткань атласа, смотрел ворон мрачно и отрешенно. И это завораживало еще больше, чем птица, которая зависима и, открыв клюв, требует пищи.

Ворон представлял сейчас красоту и дерзость своего семейства, и вообще, дикой природы, не покоренной человеком. Ничего в нем рабского, заискивающего за подачку. Только гордость, какая и должна быть у такой могучей птицы. И это было прекрасно! Естественно, что после этого случая я еще больше заужал Решу. Величие и царственность ворона давно оценили северные народы Чукотки и Камчатки. Только ему — и больше никому — священному и вещему, разрешается первому выклевывать глаза покойникам, оставленным на погосте под открытым небом.

Решка живет на правах хозяина: в доме признает он только Володю. Только с ним поддерживает дружеские отношения. Всегда занятый, всецело поглощенный беспокойной работой, связанной с охраной природы, Володя дома-то бывает мало. Все куда-то по делам спешит, торопится,

и постоянно кто-то ждет его в охотинспекторской машине на улочке, хотя и проходит несколько минут, как он появился в доме. Подтянутый, с офицерской выправкой, таким всегда я видел его, одетого в служебную форму, малословный, казалось, ему вовсе не до Решы. Но Володя находит время поиграть, поговорить с ним и всегда чем-нибудь угостит, почешет голову, которую Реша участливо склоняет только перед ним. Ворон все воспринимает как должное, внимательно вслушивается в голос хозяина, не пускает в ход своего грозного клюва. Однажды только был случай, когда после любезностей с ним, Володя повернулся было, чтобы уйти, и вдруг, не желая отпускать его, ворон зацепил лапой гимнастерку со спины. Держал крепко, как и подобает хищнику. Володе пришлось уговаривать, чтобы отпустил, и еще несколько минут вынужден был продолжить игру с ним.

С Максимкой, как с самым младшим, Реша ведет себя панибратски: играет как с равным. Ждет, когда он с ним затеет игру в мяч или еще что-нибудь. Но в любой момент, если что не нравится, может пустить и лапы, и клюв для острастки, чтобы мальчишка, как говорят, знал край, да не падал. И Максим хорошо знает эти «любезности» друга — Решы, играет, а сам начеку.

С Максимом Дмитриевичем ворон нейтрален: не нападает на него, однако, и каких-либо особых чувств не проявляет. Воспринимает его как своего и, трудно сказать, как старшего или держится с ним на одинаковых правах, которые по своим представлениям определил сам. Такова схема сложившейся иерархии, которую построил воспитанный в семье Зверевых ворон — Реша.

— Знаете, как Реша удивил меня однажды? — рассказывает мне Галя. Она открыто и приветливо глядит в глаза. — Здесь вот, у стола, — говорит она, вытирая руки о фартук, — он ходил по полу. Я поняла, что проголодался. Сварила и почистила ему яйцо. Положила вот сюда, на угол стола, — показала она, — а сама зашла в ванную. И думаю — потом отдам ему яйцо. Вернулась, туда-сюда кинулась, нет яйца. «Ты не брал яйцо здесь?» — спрашиваю у Максима. «Нет, мама», — говорит он. Ну что такое? Только положила и нет. У деды спросила, думаю, может, мелким птицам отдал. «Нет, не брал», — ответил деда. «Надо же, — возмущаюсь вслух, — никто не брал, а куда яйцо-то девалось?»! И представляете — она раскрывает смеющиеся глаза, — в это время Реша подходит к половику, поднимает уголок и берет там спрятанное яйцо. И вот так, в клюве, — поднимает и показывает она рукой, — мне показывает. «Вот, мол, смотри, яйцо твое, чего беспокоишься?» — Убедившись, что я вижу, он снова поднимает половик и заталкивает яйцо туда же.

— Ага, — смеясь, поддакивает Максим Дмитриевич, все это время слушавший Галю, — так и было. Скажите, какой умный! Показал и спрятал. Плохо мы еще знаем умственные способности животных. А ведь наблюдений у нас об их способностях очень много. Меня лично уже многие годы занимает психология животных. Долго собирал и вот набрал фактов на целый том коротких рассказов о проявлении разной степени способностей к мыслительной деятельности у зверей и птиц.

— Не зря, значит, — соглашаюсь с зоологом, — древние греки богиню мудрости — Минерву, изображали вместе с совой. Есть в поведении

пернатых и зверей действия, которые сами за себя говорят о том, что они умеют порой принимать удивительные решения.

— Видимо, по выражению глаз считали древние, что сова олицетворяет мудрость. На самом же деле, да вы знаете, совы как раз самые что ни на есть примитивные. Их ограниченность в сравнении с другими видами птиц, по-видимому, связана с их ночным образом жизни. Или, для примера, возьмите волка. Все зло люди связывают с ним — волком. А этот, наш, вы же сами видели, сама доброта. Сердце у него, я бы сказал, очень доброе. Добрее, чем у Тузика. Так и получается: и звери, и мы, люди, все разные. А как часто злого человека называют зверем. Но самые жестокие — мы, люди. Войны показали это. Вот возьмите опять нашего Решку. Вот такусеньким, — свел он ладонь в кулак, — птенцом взяли. Максимка спал с ним, а такой зверюга вырос! — Ага! — смеется Максим Дмитриевич, — скажите пожалуйста, настоящий зверюга! А вот до него был пойман нами другой молодой ворон, он уже летал, выкормлен был родителями, лет пятнадцать назад. И что вы думаете? Странно прямотаки, очень добрый был, ласковый очень. Будто и родителей своих не знал, а сразу был воспитан человеком. Вот вам и воспитание!.. — Он помолчал, обдумывая что-то, и добавил, — все мы разные, к сожалению, мало еще себя знаем. О животных нам и того труднее судить. Их надо пристально изучать, по-настоящему. А когда накопим достаточно фактов, тогда и веское слово о них скажем. А пока мы только об их рефлексах да инстинктах говорим. Надо бы поглубже в их сущность заглянуть...

Мы еще с узкими мерками. В результате заблуждаемся и обрекаем на страдания животных.

И опять наши зоологи, зоопсихологи, этологи отстают от зарубежных. Много догматизма в наших теориях. Порой и эксперименты не нужны, все налицо. Просто! Однако возьмутся чертить таблицы, графики, и за ними главное — то есть истина, к сожалению, пропадает. Беда в том, что предвзятое понимание психики животных, разнос их поведенческих стереотипов на условные и безусловные рефлексy, мешает установлению, анализу истинных причин, связанных с элементарной умственной деятельностью. Зарубежные зоологи опережают нас в этой очень важной области — психологии животных.

— Я, например, считаю, что в этот прекрасный, полный противоречий мир мы приходим в сущности своей уже генетически сформированными, что и определяет наши склонности и интересы. Стимулируют их, развивают, или, напротив, тормозят, гасят окружение, среда. Совершенно естественно, что необходима для расцвета наших природных задатков, склонностей та же самая среда, почва. Наблюдения эти я многократно проверил, — говорю я, — работая с ребятами на станции юных натуралистов. К нам приходят сотни школьников. Интересы к зоологии очень показательны. Удивительно: страстная увлеченность природой, тяга к животным, растениям свойственна, как мы знаем, лишь отдельным ребятам. И эта увлеченность воспринимается как чудачество. Я рад встрече с такими ребятами. Нередко спрашиваю себя: откуда это у них? Задаю вопрос один и тот же: «А чем занимаются родители?» Чтобы установить, откуда у них источник этой любви. Ведь мы привыкли считать, что интересы каждого ребенка складываются под влиянием семьи, школы,

друзей или на примере родителей... И представляете, никто в доме увлеченного юнната подобного интереса не испытывает. Чаще даже напротив: родители этих девочек и мальчиков враждебно настроены по отношению к кошкам и собакам, с откровенным презрением к лягушкам и мышам. Никаких подталкивающих стимулов он в семье не имеет. Другой ребенок имеет все, чтобы стать естествоиспытателем: родители его делают все, чтобы он стал биологом или, по крайней мере, нашел свое призвание. А у него интерес к технике, спорту или вообще ни к чему. Его пока нет. Как оценить влияние среды и условий? Эта закономерность правомерна, если у школьника не было четкой линии в избрании дела по интересу. Возьмите чувство агрессии, жестокости, садизма, в разной степени присущих детям из одной семьи. Те же свойства характерны для птиц и зверей, принадлежащих одному выводу.

— Пожалуй, да,— говорит Максим Дмитриевич,— в этом плане у психологов и генетиков очень много еще работы. И считать главным только среду, пожалуй, неправомерно. Генетика здесь должна свое слово сказать. Меня в этом вопросе очень занимают собаки,— продолжил он разговор.— Удивительные они! Мы с писателем Борисом Рябиным готовим отдельный сборник о собаках. У нас, в Алма-Ате, намечаем издать.— Максим Дмитриевич, как обычно, целиком уходит в воспоминания о разных интересных и загадочных случаях, рассказывающих о психологии собак.

Знаю, что факты о них он собирал многие годы: на охоте, у себя дома. Многие эпизоды взяты из рассказов охотников, егерей, сообщений читателей, которые пишут ему. Рассказывал он много о своих бывших подопечных, подчас об удивительных фактах из жизни собак, а также многих других животных.

Смотрю на старинный застекленный шкаф с книгами, изданными в начале века и подаренными Звереву известными отечественными зоологами, которых он знал лично. Тут же отдельная полка в шкафу с его книжками. На корешках: «Золотой сайгак», «Волчонок из Бетпак-Далы», «Белый марал»... Все это книги, которые знают во всей стране, за рубежом. В детстве читал их и я. Тогда не верилось, что есть люди, которые могут заниматься изучением природы и постоянно имеют дело с дикими животными лесов и гор, на диких островах и в опаленных солнцем пустынях нашей страны. Здесь, в кабинете Зверева, бываю близкие ему по профессиональным интересам писатели и ученые-зоологи. Был Бернгард Гржимек, признанный отцом современной зоологии. Василий Михайлович Песков — известный в стране журналист, а также очень популярный писатель-натуралист Николай Иванович Сладков. Большой друг Зверева — профессор и писатель Павел Иустинович Мариковский, и еще многие другие писатели и ученые. Максим Дмитриевич был в дружбе, в творческих контактах с известными стране писателями-натуралистами Соколовым-Микитовым, Спангенбергом, Огневым. Бывали здесь его личные друзья — классики и мастера в литературе Всеволод Иванов, Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов.

Максим Зверев — автор более полутора сотен книг.

Удивляет писатель энциклопедическими знаниями природы Сибири и Казахстана. Это он, как пока никто, воспел их в своих рассказах, тайгу

Сибири, горы и пустыни Казахстана, с особой страстью, заключающей силу ученого и дар писателя. Как человек, родившийся еще в прошлом веке, Максим Дмитриевич жизнью и делом сумел слить воедино людей разных поколений, воспитывая их своими книгами.

В его бесчисленных повестях и рассказах, заметках и зарисовках особое место занимает тема зоопсихологии. О ней его книга «Кладовая чудес». А ведь кладовая этих чудес — сам автор, сумевший за многие десятилетия собрать и обработать своего рода малую энциклопедию о повадках птиц и зверей. Собранные факты, перелитые в форму замечательных рассказов, Зверев подарил людям — своим читателям. Ценность их особенно велика сегодня, когда время чрезвычайно остро поставило проблемы сохранения не только громадных территориальных комплексов, целых ландшафтов и человека, но и отдельных животных. Сведения по психологии животных, добытые писателем, оказались очень нужными науке, всем нам.

Вотчина натуралиста

Чтобы оттаять от будничной суеты, порой пресыщающих удобств городской цивилизации, с Володей Нетисовым — товарищем, прекрасным фотографом-анималистом, бродягой по природе, мы решили поехать в экспедиционную поездку вместе с Максимом Дмитриевичем. Подготовился к ней по-своему и сын мой — третьеклассник Максимка. Условия поездки оговорены путем переписки, телефонных разговоров, в часы личных встреч. Главная, подстрекательная воображение, цель — получить заряд бодрости в общении с природой, а также своими глазами увидеть Приилийскую пустыню. Одним из центральных объектов в предстоящей поездке была Поющая гора. Самим хотелось услышать ее таинственный голос, волнующий многих любознательных людей. Нас нетрудно понять: в школьные годы еще, читая об этой горе или поюшем бархане в книжках Зверева, потом Мариковского, Сладкова, слушая рассказы о ней других очевидцев, я, например, долгое время жаждал сам побывать на этой «Волшебной» горе, которая является чудом природы пустынь Казахстана. Предстоящая поездка обрела для нас некоторую заветность. Разве не удивительно, что песок, который мы привыкли созерцать под гнетом мертвящей тишины и покоя, убийственно палящего солнца и зноя, вдруг поющий, гудящий, звенящий. Потрясающее впечатление это уникальное явление пустыни, говорят, производит не только на туристов, но и на выдавших виды исследователей, землепроходцев. До сих пор так же волнует природа «кричащих камней», способных «кричать» в знойных пустынях Африки. А сухие дожди? Даже звучит парадоксально. Только под небом великих песков можно созерцать фата-моргану, испытать удушье самумов, услышать звенящий от наэлектризованности песчинок воздух и много еще чего, что может только она — ее величество Пустыня, бледная и яркая на континентах планеты. Итак, решено ехать самим.

На вертком «газике» за рулем сидел Володя Зверев. Участников экспедиции пятеро: Максим Дмитриевич, приятель его московский натуралист, писатель Семен Давыдович Кустанович, Нетисов Владимир и я с сыном Максимом. Минувя предместья Алма-Аты, дорога несла нас в

сторону реки Или. Вдоль асфальтированного шоссе, сопровождаемого рядами пирамидальных тополей, рядами и квадратами зеленели яблоневые сады, виноградники и зреющие хлеба. По левую сторону дороги к самому горизонту уходила равнина. Встречались утопающие в садах села, пустыри с низкими колючими кустарниками, сорными травами. Проскакивали мосты над высохшими безотрадными руслами, заваленными сплошь серым окатанным камнем. На юге, справа, небо закрывали высокие хребты Джунгарского Алатау. Там и сям взлетали заснеженные пики. Вершины их тонули в белых, как пар, и темных, как дым паровозных труб, тучах. И оттого хребты казались дикими и непреступными.

Показался пост ГАИ. Перепопаянный, как верстовой столб,— в белых линиях ремней, властно и лениво постовой поднял жезл. Володя сбросил газ, погасил скорость, «газик» через метров пятьдесят остановился. Доставая из нагрудного кармана на ходу документы, Володя пошел к постовому. Через несколько минут у дверцы, где сидел Максим Дмитриевич, стоял в синем милицейском плаще старший лейтенант лет сорока пяти. Он вежливо взял под козырек. Максим Дмитриевич распахнул дверцы. Окинув его быстрым взглядом черных живых глаз, лейтенант сказал: «Позвольте. Вы будете Максим Зверев?» — Выжидающе и улыбочиво он смотрел на Зверева.

— Да,— несколько растерянно ответил писатель.

— Максим-ага! — снова козырнул лейтенант.— Вы извините, но увидев, что у водителя такая же фамилия и соответствующее отчество, спросил, не сын ли он любимого мной писателя. Сын ваш сказал, что и вы едете.

— Вот я,— не зная, что и ответить, испытывая неловкость, улыбался он.

Лейтенант с детской робостью остановил взгляд на Звереве, протянул руку для приветствия и подчеркнуто, официально представился.— Очень рад, что наконец-то увидел вас своими глазами. От всей души хочу пожелать вам, Максим-ага, крепкого здоровья, и прошу, чтобы еще больше писали в своих книгах о нашем родном Казахстане. Пишите больше! Мы с удовольствием вас читаем. Извините, Максим-ага! Всего вам доброго! Счастливого пути! — Он снова обежал нас глазами, взял под козырек и захлопнул дверцы.

Некоторое время мы все молчали, тронутые искренним уважением начальника поста ГАИ.

— Хорошо вам, Максим Дмитриевич, гаишники все знают, козыряют. Так можно ездить, даже нарушая правила,— говорю.

Максим Дмитриевич, поправив егерскую фуражку, с которой не расстается в полевой обстановке, и положив руки на переднюю скобу панели, не поворачиваясь, говорит:

— По-всякому бывает в жизни. Сейчас вспомнил и совсем другую встречу. Я рассказывал или нет, как в меня стреляли? — повернулся он к нам.— Так вот, стояла поздняя осень. Было это в 50-х годах. Мы всей семьей на новом ГАЗ-69, проданном мне по распоряжению министерства, как натуралисту-писателю по ходатайству Союза писателей, ездили с Петренко на кордон в Кокпек, где он был егерем. Чего-то задержались до темноты: помню, Мартын в тот раз скандалил с тремя браконьерами.

Отобрал у них два ружья. Они ввалились ко мне и требовали, чтобы Петренко отдал ружье. Конечно, я им отказал. Ушли с ругательствами и угрозами.

Совсем стемнело, когда мы оставили кордон. Только машина взяла подъем Кокпекского ущелья и вышла на ровное место, вдруг из темноты выстрел. Огонь и одновременно шелчок пули по кузову совсем рядом около жены — Ольги Николаевны. — Стой! Стой! — закричал Вова. Прикинул: я один по существу, а их трое с ружьями, мы безоружны. Надавил на газ до отказа, чтобы перезарядить и еще выстрелить не успели. И представляете, — он поворачивается к нам, сводит пальцы, показывая, — пуля угодила точно в сварной шов кузова, где он обычно вдвое толще. Это было единственное непробиваемое место. Такая вот узкая полоска, и надо же было попасть в нее! И сейчас «жива» эта вмятина. Стреляли в меня, сидящего за рулем, но мы ехали быстро, и они попали бы в Ольгу Николаевну, если бы не шов. Она сидела у меня за спиной. Вот видите, как иногда защитника природы встречают и провожают, — улыбается он.

Часа через два свернули с шоссе. Потянулись пески. Желтизна пробивалась сквозь заросли колючих кустарников и высоких спутанных трав. Кое-где вскипали кupy сиреневых соцветий не известных мне растений.

— Вон Поющий бархан! — повернулся и показал кивком головы вперед сидящий за рулем Володя. Все дружно подались к ветровому стеклу: вдали, на фоне лиловых отрогов Джунгарского Алатау, запирающих собой облачное небо, ярко желтел песчаный гребень. Меж мрачных гор лишенный растительности бархан казался лишним, ненужным и чужим. Среди черных гор Большой и Малой Калканы, он был крикливо ярким и казался вовсе чужеродным. Эта его особенность привлекала. Было очевидно, что песчаная гора нетипична для соседствующих гор, поэтому загадочна.

Пока мы удивлялись песчаной горе, дорога тянулась по южно-казахстанской саванне. На заросле травами барханы выбегали словно зонтообразные деревья разнолистного тополя-туранги. Одета в травы и кустарники, пустыня неодолимо влекла, управляла волей натуралиста. Хотелось идти и идти, одолевая отлогие барханы, уходящие вдаль.

Встречи с турангой напомнили мне тугай Каракалпакии, где я бывал, путешествуя в низовья Амурарьи. Но деревья, тополя там были очень большими: в два-три обхвата стволы не редкость. Теперь их нет. Свели под рисовые поля. Здесь другое: деревья невысокие, с искривленными стволами, кроны их круглые и зонтообразные. Ощущение, что находишься в африканской саванне. Такие ландшафты уже редкость. В Казахстане туранга — исчезающее растение. Поэтому она занесена в Красную книгу. Тревожно, что исчезает вид и целые ландшафты, окаймляющие побережья рек пустынь Средней Азии и Казахстана. Свежей раной — память о недавно уничтоженном Бартогае — уникальном уголке Южного Казахстана. С туранговыми лесами исчезают ценные и редкие травянистые растения, скудеет свойственное этим лесам царство птиц и зверей. Ландшафты мертвеют. К сожалению, печальная тенденция прогрессирует злокачественной опухолью на теле живой природы. Если в ближайшее время отношение к тугаям не изменится, названная болезнь не будет

остановлена действенными ограничениями законов, скоро, и даже очень, придется сожалеть не только нашим потомкам, о которых мы часто и много говорим, но и нам — живущим сегодня.

— Фазан! — внезапный голос прервал мои невеселые мысли. Володя резко притормозил. Около дороги, на прогалине, спокойно вышагивал великолепный петух. Грудь его словно отлита из жаркой меди. На чернильно-синем, с белоснежным кольцом горле маслянисто играли отсветы угасающего дня. Длинный серповидный хвост, рассеченный стеблями трав, светился краснотой железа. Вытянувшись, фазан смотрел куда-то вдаль, словно стоял на часах, поджидая кого-то. Приятная встреча! Снова плывут барханы, а в глазах медноперый петух с белой перевязью на темно-синей шее.

Пески заметно поднялись — барханы стали выше, оголились, и лишь в понижениях зеленели низкорослые тростники — указатели на близкий уровень грунтовых вод. И снова невысокие и кривоствольные в серой трещиноватой коре туранги. Вдали, за барханами, блеснула и пропала излучина Или. А еще через некоторое время сероглинистая вода лениво ползла в низких и плоских берегах, разделенная огнистой полосой низкого солнца. Еще поворот — и из-за барханов встал крытый шифером чистенький, в редкой посадке тополей, дом егеря.

— Ну вот и приехали! — повернулся к нам все это время о чем-то сосредоточенно думавший Максим Дмитриевич.

Из дома вышел молодой, худощавый, с открытым лицом егерь. На нем была выцветшая клетчатая рубашка, синие, вздутые на коленках брюки. Егерская фуражка, лихо сдвинутая на затылок, свидетельствовала, что перед нами не кто иной, как егерь.

— Вот сюда, — показал он на крыльцо домика. Пока мы разгружали свой скарб, егерь открыл двери свободной половины дома, где были приготовлены кровати. Распахнул окна, чтобы освежить застоявшийся, нагретый в стенах воздух пустыни.

Дом одиноко стоял на небольшой возвышенности. От его крыльца берег отлого уходил к реке и отсюда, метрах в тридцати, в спокойном блеске вод спала широкая протока. С двух сторон ее, по берегам, стояли стеной мощные тростники. На воде глянцевило блестели лепешки листьев кувшинок и лилий. Дальше за протокой, в изгибах обрывистых берегов, струилась мутная Или. Дальше, за ней, постепенно повышаясь, уныло желтела пустынная равнина, уходящая к черным горам Джунгарского Алатау. Хребет выдвигался далеко на север, в сухое пространство. Над ним кипел перегретый воздух, искривляя само пространство. От дома егеря, километрах в десяти вверх по реке, желтела острая спина Поющего бархана. Там же лихорадило горячий воздух. Бархан, как живой, дрожал, сжимался, становился плоским, обретал прежнее величие. Пойманной лисой между черными Калканами, как между вепрей, он бился, словно в страхе. Над Джунгарским Алатау поднимались темные непонятно откуда приплывшие тучи. Ожидался дождь.

Утро следующего дня выдалось ясное. Рассеянный свет мягко играл на омытых ночным дождем листьях тростников и маленьких топольков у нашего порога. Пустыня дышала свежестью редкого здесь дождя. Еще кое-где плыли остатки перламутровых облаков.

Чаепитие шло на веранде. Володя и я собирались на экскурсию. Бинокли, телевики и фотоаппараты с черно-белой и цветной пленками собраны. В рюкзак бросили банку тушенки, сухарей, кружку для воды. В последние минуты перед нашим выходом за нами увязался Максимка. Он никак не хотел оставаться в доме и тоже рвался в пески. Наши уговоры остаться не помогли. Не испугали «угрозы» о жажде и зное. Мы с Володей сдались. Вышли из дому и вдоль реки, напрямик к темнеющим вдали тугаям, к бархану. С пустыни тянул легкий ветерок. Дыхание его было насыщено терпким полынным запахом.

— Ну что ж, товарищи-натуралисты. Если вы позволите, то я для начала провожу вас до ближайшей протоки. Покажу местный тугай. Как-никак, а знаю места эти с довоенного времени,— говорил Максим Дмитриевич, неожиданно догнавший нас.

Мы согласились. «В таком «важном» путешествии в безводных песках нам никак нельзя без проводника»,— сказал я.

— Это меня больше всего и беспокоит,— поддержал писатель.

На нем кирзовые сапоги, гимнастерка, светлая кепка с длинным козырьком прикрывала от солнца лицо. В руках картонные карточки, ручка. Настроение у всех приподнятое. Сказалась, видимо, ночная свежесть и помолодевшие после дождя пески. Шли не спеша вдоль реки. Под ногами хрустел мелкий бисер острых осколков «сургучных» камешков. Пружинисто взлетали кобылки, пестря синими и красными крылышками, потрескивая и шумя, уносились и, словно разучившись летать, падали и сразу терялись на пестрых камешковых россыпях. Вдали виднелись тугай и там, по словам Максима Дмитриевича, протока, на которую он решил сходить вместе с нами.

Воздух быстро прогревался. Жаром задышали пески. Тропка то прижималась к берегу, то уклончиво тянула в сторону. В обрывистых берегах открыты, видны пласты желтого и ржавого песка и глины. Под берегом вода крутит, будто в глубине бушует пойманная на крючок рыбина. То вдруг возбуждается рыжими грибами, и кажется, чудище выплевывает ее большими порциями.

Над рекой тишина. Не слышно куличков, лишь мелькнет у серой косы одинокая крачка, стороной пройдет черная ворона и далеко слышно, как их крылья режут горячий и сухой воздух. Неожиданно из песков полилась чистая песня жаворонка.

— Хохлатый поет!— не поворачиваясь, говорит Максим Дмитриевич.— Самая обычная здесь птица. Раньше очень много было. А теперь непонятно почему, даже жаворонков мало. Вот ведь удивительно! Специально никто не охотится, а жаворонков нет. Мало их стало вообще в Казахстане. Беда прямо! Что делается с природой? — Максим Дмитриевич остановился и, сдвинув носками внутрь сапоги, чуть опустив плечи, делает запись в карточке.

Придерживая на груди телевик, Володя шагает молча впереди и время от времени оглядывается. Он всегда, как говорят, в творческом поиске. Глаз у него бывалого натуралиста-фотографа, как говорят,— пристрелян. Всегда удивляюсь умению его в обычном, казалось бы ничем не примечательном, найти место для хорошего кадра. В этом многократно имел возможность убедиться. И каждый раз после совместной поездки Нетисов

приносит пачку фотографий, и среди них обязательно высокохудожественные. А снимал он их там, где ничего подходящего, на мой взгляд, не было. Володя уходит шагов за тридцать вперед и, присев, в напряжении что-то снимает. «И что он нашел?» — недоумеваю. Володя встает и машет нам рукой: «Остановитесь, мол». Сам уже светит химическим глазом «Зенита» в нашу сторону.

Максим Дмитриевич идет медленно, чуть сутулится. Шурясь от солнца, смотрит перед собой. В руках карточки и карандаш.

— Пожалуй, зря вы с нами. Тяжеловато. Зной усиливается, — говорю.

— Да это ерунда! — отмахивается он. — Привычен. Вот постель жестковатая. Спал неважно. — Он разводит руки и, сетуя на себя, говорит. — Вот ведь беда, — и сам же смеется, чуть скосив уголки губ, — говорить стыдно про беду эту. Привыкли к удобству. А теперь, видите ли, и постель жестковата, — иронизируя, разводит руки. — А бывало, где-то сразу после войны, мы с Вовкой, — говорит он о сыне, — он вот такой же, как Максимка был, — спали мы с ним только в палатках. Удобств, конечно, никаких. По ночам холодно: зуб на зуб не попадает. Бывало, от холода вставать приходилось, костер разводить, чтобы отогреться, а потом опять спать. А хорошо было! Вот беда, что значит старость! — сокрушается он.

Некоторое время идем молча. Тугай, за которым прячется протока, стал выше, будто приблизился, подрост. Воздух накаляется, густеет от испарений.

— Знаете, — не поднимая головы, говорит Максим Дмитриевич, — устал за последнее время. В связи с девяностолетием три тома рассказов готовил в издательстве. Устал, ей-богу! Оно, наверно, и пора бы, — смеется. — Знаете, — смотрит он виновато, — чувствую себя осколком прошлого века. Держусь как поздний осенний лист на голом дереве моего поколения. Ведь почти никого не осталось из моих ровесников. А сколько было замечательных людей! Остались их книги, научные труды. Их нет... Отсюда одинокость усиливается. Грустно порой становится.

— Постелю и постель кажется жестковатой, — смеется Володя, оглаживая блестящие темные волосы, выбившиеся из-под пестрой кепочки.

— Отдохнуть нужно от писательских дел. Воздух. Прогулки. Силы появятся, постель станет мягче, — поддерживаю Володю.

— Ага, — говорит Максим Дмитриевич, — здесь второй день всего, а я уже бодрее чувствую себя. В этих местах ведь проходили многие годы моих натуралистических наблюдений. И это воодушевляет.

— Кто это? — обращается ко мне Максимка, увидев скользнувшую за бархан сизоворонку. — Расскажи об этой птице.

Молча грожу ему пальцем, чтобы не перебивал. Тогда он, широко шагая, придерживая на боку планшет и бинокль на груди, подходит к Володе и потихоньку делится своими впечатлениями. Потом останавливается и, подражая нам, пишет что-то в своей записной книжке. Глаза от белизны ярко освещенной бумаги прищурены. На окрапленном веснушками носу мелкими, как мак, светлеют капельки пота. Вижу в нем и представителя нового времени. Может, он тоже будет натуралистом, тоже Максимом, но уже от четвертого поколения, если считать от старого Максима Зверева... Мне приятно думать, и я представляю, что Максимка

когда-нибудь вспомнит об этой поездке. Вспомнит, конечно, разговор Максима Дмитриевича — известного натуралиста и писателя. Трудно сказать, кем будет сын. Но эта поездка, кем бы он ни стал, останется в памяти его навсегда. За далью прошедших лет она вспомнится чудной, как сказка, как красивая легенда. И обязательно вспомнит этот путь, которым идем. О подобных детских встречах и впечатлениях рассказывал и писатель: еще мальчишкой он видел знаменитого путешественника, русского исследователя Центральной Азии и Сибири, ботаника Григория Николаевича Потанина. Делился воспоминаниями, как участвовал в экспедиции с путешественником и ботаником Василием Васильевичем Сапожниковым. В это нашему поколению натуралистов уже трудно поверить. Имена этих исследователей стали легендой. Такова жизнь. Как эстафеты, встречи, воспоминания передаются от поколения поколению, сближая нас с корнями нашей истории.

Тропа прижалась к реке. Под берегом, на плоской песчаной косе, одиноко темнела фигура рыбака. Узнаем «кормильца» нашего, настойчивого промышленника сомов — Семена Давыдовича. С рассветом еще он ушел на рыбалку.

Подвернули...

— Клев, уду вам! — громко приветствует Максим Дмитриевич. Семен Давыдович повернул озадаченное лицо. Не улыбочив, как обычно. Смотрит пустыми скорбящими глазами.

— Понимаете, — начал он упавшим голосом из-за неудачной рыбалки, не ответив на наши приветствия, — лягушек съел со всех крючков, а не попался. В чем дело? — сам себя спрашивает он. — Такого еще не было. Скажите, Максим Дмитриевич? — обращается, как бы оправдываясь, за поддержкой. — Еще не было такого, чтобы я без рыбы пришел.

— Что ж, будем надеяться, может, поглупеют сомы и будут вместе с крючками лягушек глотать, — подшучивает писатель.

Пожелав удачи рыбаку, уходим на тропу и продолжаем путь в сторону тугаев.

— Максим Дмитриевич! — обращается вдруг Максимка. — Вы давно первый раз были на Поющем бархане? — Он виновато поглядывает на меня, мол, извини, что я так вклинился в ваши разговоры, мне тоже хочется узнать об этом интересном месте. Я ведь тоже полноправный член коллектива и, в конце концов, имею такое же право на серьезный разговор. Я кивнул ему головой — «все в порядке».

— Вроде бы и давно и недавно. Кажется, в 57-м или 58-м году. Но вот вспомнил, что самый первый, кто писал об этом бархане, был известный исследователь, географ — Иван Васильевич Мушкетов. Он первый и снимок сделал песчаной горы. А уж потом, значительно позднее, узнал о нем я. И вот что интересно, — обращался Максим Дмитриевич уже к самому юному, тезке своему, поглядывая на него сверху. А Максимка от восторга, что наконец-то и с ним заговорили, как со взрослым, от нетерпения забегал вперед, обходил его сбоку и, придерживая болтающийся на боку планшет, внимательно слушал. — Еще позже, — продолжал писатель, — фотографировал этот бархан Павел Иустиневич Мариковский. И, представляете, за эти годы бархан заметно вырос. Больше стал.

— Вон там,— показал он на похожий на ломоть перезревшей дыни гребень сыпучего песка, ярко желтеющего в горном развале Большого и Малого Калкана.— Там, у подножия, есть небольшой ключик. Вокруг свежая травка — оазис маленький. На водопое, у ключика, ловили мы для зоопарка архаров. Они обычно спускались с гор Калкана на водопой. Впервые, это было до войны, приехал я сюда, помню, с проводником Казакпаем. Лесником он работал. Помогал мне архаров сетями ловить. Их в то время меняли на тропических животных для зоопарка. А сколько здесь,— Максим Дмитриевич обвел рукой пески,— на той и этой стороне Или было джейранов! Ну прямо как в заповеднике каком! Кстати, потом я и предлагал создать здесь заповедник. Но в это время началась война, не до этого стало.

Он остановился, прервав свой рассказ, показал на сизоватые, словно взбухшие куртинки травы у самой обочины.

— Здесь вот всюду тогда рос саксаул. А вот до сих пор доходили туранговые леса,— показал на прибрежную полосу.— Теперь песок... А сколько дичи всякой было? И что осталось? Все куда-то вроде бы помаленьку отступает, а оглянешься через десяток, другой лет — пустыня. Причем настоящая. Мертвая. Убитая человеком.

Он махнул рукой на растущую у горизонта полосу темнеющего тугая. Глядел на призрачную канву тугайного леса, и мне не верилось, что туранги росли еще сравнительно недавно у самого берега.

В голосе старого натуралиста звучали нотки досады и сожаления, безысходности. Но, видимо, не желая настраиваться на воспоминания, связанные с прошлым, по-своему прекрасным, но безвозвратно ушедшим, Максим Дмитриевич, взбивая сапогами песок, шел молча, опустив голову, но, спохватившись, словно почувствовав вину свою за прерванный рассказ, поднял голову и продолжал:

— Так вот, тогда я впервые, кажется, и опубликовал материал о Поющих песках в научной литературе. А потом пошли сюда разные туристы. По всему Союзу известным стал наш Аяккалкан. Хотя более сорока поющих барханов найдено в пустынях земного шара. Наш — наиболее крупный и самый что ни есть экзотический. И знаете, что еще интересно? — с душевным подъемом продолжил он.— Много раз я брал этот песок. Так он еще дома раз-два помаленьку прошелестит в банке, если встряхнуть, и на этом все. Становится самым обычным, молчаливым.

— Ну и как объясняет наука загадочное свойство песка? — спрашивает Володя.

— По этому поводу очень много разных гипотез. Бархан своего рода Тунгусский метеорит, и однозначного конкретного ответа пока нет. Например, я считаю, песчинки Поющей горы под действием постоянных здесь ветров заряжаются одноименными электрическими зарядами и при движении во время ветра, отталкиваясь, издают звук. Если ветер сильный, песок приходит в движение, тогда и слышим, как гудит или поет гора. Как хотите называйте. Так ли это? Все еще явление остается загадкой. И думаю, всегда хорошо, что есть на свете хоть маленькие, но загадки. Я часто вспоминаю слова Эйнштейна. У него там сказано было, что самое интересное, что мы можем испытать — это ощущение тайны. Она — источник искусства и науки. А тот, кто не испытал этого чувства, не умеет

остановиться,— подобен человеку, глаза которого закрыты... Считаю про-
спал всю жизнь.

Максим Дмитриевич остановился, сделал в карточке короткую запись карандашом, как и полагается в полевых условиях. Пока он писал, Володя шелкнул несколько раз фотоаппаратом. Глядя на старого натуралиста, Максимка тоже достал свой дневник и принялся усердно рисовать каракули. «Где велика сила примера, там преемственность»,— думал я, глядя на двух Максимов.

— Максим Дмитриевич! — вдруг возник перед нами Максимка, запи-
хивающий дневник в полевую сумку,— а как ваш проводник, когда
услышал первый раз, как гора гудит?

— Ой! Беда с ним, с этим Казакпаем! Понимаете,— Максим Дмит-
риевич с присущей ему тихой улыбкой уже рассказывает всем,— он так
испугался, когда зашел на бархан и услышал жуткий рев под собой.
Я же говорил, что мы около бархана стояли, у родника. Так он не сбежал
вниз, а как попало, кубарем скатился, не помня себя. А растревоженный
песок еще сильнее гудит. Гору буквально лихорадить стало. Испуганный
Казакпай бросил ружье. На лице ужас. «Шайтан! Шайтан!» — кричит.
Сам готов в песок с головой закопаться, как страус,— смеется Максим
Дмитриевич, вспоминая,— кое-как успокоил его, уговорил остаться со
мною у родника. Ну, думаю, как его убедить, что это не опасно.— Смот-
ри,— говорю,— Казакпай. Я сейчас пойду на гору. Ты тут сиди. Ты
своими глазами увидишь, что со мною ничего такого не случится. Не
бойся! Никакого шайтана там нет,— и сам отправился на бархан. С его
вершины я бросился вниз, покатился, и бархан загудел. Тогда я еще и
еще, чтобы расшевелить и усилить рев. А Казакпай, перепуганный уже
на смерть, решил, что я тоже бегу от страха. Не раздумывая, тотчас он
задал такого стрекача, что я только и видел его. Помню, как он проворно
махнул на лошадь и ускакал. Вот и взрослый, темный был человек, думал,
что в горе на самом деле дьявол сидит,— Максим Дмитриевич остано-
вливается, смотрит на бархан, что-то вспоминая, потом медленно разводит
руки, словно желая обнять эту желтую гору.— Господи, давно уже это
было! Пастухи и лесники в то время страшно суеверные были. Откуда им
знать, что причиной какое-то электричество или еще что. Они просто
верили в нечистую силу. Другие детали я уж и не помню.

Мы прошли более километра. Под ногами по-прежнему поскрипывал
песок, смешанный с мелкой окатанной галькой. Через некоторое время мы
оказались у зарослей туранги, у большой протоки. Сквозь деревья и
береговой тростник блестела вода. На тамарисках сиреневые шапки
цветов. На одном из них, не умолкая, приотпустив от набирающего силу
звоня свои серые крылышки, пел хохлатый жаворонок. Дальше полуза-
росшие спины барханов, облитые ярким солнцем. На другом берегу Или
дико и пустынно горбились черно-лиловые горы Калкана. Напротив, за
протокой с обрывистыми берегами рассыпались деревья туранги, созда-
ющие пейзажный колорит светлого африканского леса. Самобытность
природы Приильской пустыни удивляла скудостью красок и жизни.

В это время с громким криканьем, совершая сложные пируэты,
сверкая блестящими крыльями, сине-голубая птица вкручивалась в высоту.
С криком, штопором, она неслась к земле, шально бросаясь из стороны

в сторону. Казалось, она купалась в лазурных даях высокого чистого неба. И вот уже косо планируя, идет над сопками и легко усаживается на вершине тамариска. Еще некоторое время эта яркопопугайная птица покачивается, вскидывая подсиненные крылья. Потом успокаивается, сидит, неземная, играя ярко-лазурным оперением. Экзотическая птица и вовсе уносит воображение в саванную Африку. «Осколок вотчины старого натуралиста!» — отмечаю про себя и пытаюсь представить хотя бы приближенно картины природы этих мест недалекого прошлого, когда были так многочисленны джейраны, сайгаки, как рассказывал Максим Дмитриевич Зверев.

— Посмотри, — протягиваю бинокль Максимке. — Сизоворонка!

— Ой! Красивая! Райская! Ну как наши попугаи! — восхищается он. — Никогда не подумал бы, что у нас тоже есть такие красивые птицы. Я обязательно расскажу маме и учительнице, ребятам в школе, — в трепетном восторге говорит он, рассматривая сизоворонку в бинокль.

Свернули к протоке. Вокруг невысокие кряжистые туранги. У берега деревья сбегались, смыкая округлые кроны. Из воды торчали голые ветки погибших давно деревьев. Берег отлого спускался к воде, у самой кромки щетинились осоки и низкие злаки. Стоялая вода слепит глаза. Одиноко летали черные крачки. Их мрачноватое оперение придавало ощущение запустелости, забытости этому уголку поймы. За протокой сплошные заросли тугаев. Из них доносились плачущие стоны кольчатых горлиц. В бинокль видны их пары по голым стволам обгоревших деревьев. Вспоминаю, что в специальной научной литературе эти горлицы указываются, в основном, как синантропные птицы, то есть связанными на гнездовании с населенными пунктами. И вот те на! — как говорят, — в саванноподобном ландшафте оказались весьма многочисленны.

Пока я слушал и наблюдал их, спутники мои, присев тут же, на ствол упавшей туранги, записывали что-то. Неожиданно над головами тонко и негромко свистнула пичуга. Над нами с шевелящейся кучей насекомых в клюве сидела птица, похожая на большую синицу, но заметно светлее. «Это илийская синица», — говорит писатель. Обеспокоенная нашим появлением, она озадаченно прыгала, то и дело заглядывала, не осмеливалась нырнуть в дупло с птенцами, которое было где-то здесь.

— Давайте отойдем, — предложил Максим Дмитриевич. Стоило нам сделать лишь пяток шагов от поваленного ствола, как беззастенчиво птица нырнула в незаметное дупло, расположенное в стволе у самой земли. Сразу же послышался дружный писк. Птица улетела, в полумраке дупла — желтоклювые рты птенцов. Их было там так много, что сосчитать их — бесполезное дело. Они сидели друг на друге. И чудом каким-то в этой куче-мале не передавили друг друга. Зная, что синицы до нахальства смелые, мы вновь подошли ближе и стояли около дупла. Родители теперь будто давно знакомые, вполне нам доверяли и с кормом ныряли в дупло и кормили ненасытных желторотиков.

— Вез я такую илийскую синицу однажды в Сибирь, в Иркутск, профессору Скалону Василию Николаевичу, — наблюдая за синицей, вспомнил Максим Дмитриевич, — и, представляете, на железнодорожном вокзале в Новосибирске каким-то образом вылетела она из клетки. Что там было!!! На вокзале же тысячи людей. Ну как поймать? Просто

невозможно. А она летает, все больше и больше привлекая внимание пассажиров. И началось: полетели в нее шапки, шарфы. Она мечется, толпа подсвистывает, подкрикивает. Ничего не разобрать. Она же дикарка, а тут столько народа. Вижу, устала, клюв разинула, крылья обвисли. Жарко. Тогда я смекнул и быстренько в клетку пойтку. Воды налил. И представляете, они же смелые и сообразительные — в один момент шмыг и в клетке. Залетела! Но самое интересное, — говорит он, — во всей этой маленькой истории, знаете что? — Писатель снова сел на ствол туранги, вытер платком вспотевшее лицо. — Самое интересное: по вокзалу бегал какой-то мужчина и на весь вокзал страшно кричал, возмущался. В том числе мне досталось, и сполна, как виновнику этой истории. Так в чем же дело? Оказывается, он бросил в синицу свою пыжиковую шапку. Бросил и не поймал. Улетела! Сами знаете: черт и дьявол, все бывают на вокзалах. Кто-то и смекнул под шумок... — Максим Дмитриевич расстегнул ворот гимнастерки, снова обтер раскрасневшееся от зноя лицо. — И смех, и грех. Мужчина бегал и искал ее потом с милиционером. И мне говорил, не нарочно ли я выпустил дрессированную для этой цели птицу.

Пока мы слушали эту историю с илийской синицей, около постоянно порхали синицы. Они шаркали когтями о кору, тонкий и дружный писк птенцов, сидящих друг на друге, оживлял мертвую тишину.

По воде пробежалась мелкая волна. Она разломила на блестящие куски солнцем залитое небо. Слепя светом, отблески подрагивали на листьях кувшинок. На том берегу отдавали алюминиевой белизной заросли узколистого лоха, перемешанные с сиреневыми накипиями цветущих тамарисков и островками разморенных зарослей чингиля, они тоже горели розовым и все это смешивалось также с желтизной прошлогодних тростников. Сухостойные, выстреливающие черными стволами деревья, сформировали здесь контраст жизни и смерти, что и придавало особый цветовой колорит береговому зарослям.

Мы по-прежнему сидели в тени туранги на шершавом, струящем тепло стволе. От зноя устали, и самое время сделать записи наблюдений в полевые дневники. Для нас это обычное и привычное дело. Краем глаза слежу за выражением лица Максимки. Глядя на нас, он тоже старательно выписывал каракули. И хотя это был отнюдь не лучший вариант чистописания будущего третьеклассника, но парень старался; он хмурился, обильно потел, растирая по лицу осевшую пыль, и между делом оглядывал нас: пишут? — и снова, потея и шмыгая носом, брался за свой дневник. Откровенно говоря, я завидовал ему, представив себя на его месте. Подумать только, мне бы в детстве вот так оказаться среди увлеченных и знающих природу натуралистов и, тем более, оказаться в компании известного в стране старейшего писателя.

Быстрее всех окончил беглые записи Володя. Глядя на его руку, разделенную крупными венами, я понял: он уже что-то рисует. Почти каждый дневник его в конце походной жизни становится похожим на книжку в рукописном варианте с прекрасными иллюстрациями, которые он делает простыми или цветными карандашами, чернилами, иногда фломастером. Уже два десятилетия тому же самому — делать обстоятельные записи — учу своих юннатов. Таких дневников у меня скопилось куча. Спустя уже многие годы, я бы сказал, что рисунки в записной книжке

натуралиста так же ценны, как и записи. По зарисовкам легко и быстро можно найти нужные страницы даже многолетней давности. Они облегчают поиск нужного места, ситуации. Я видел прекрасные рисунки и Максима Дмитриевича. У него сотни великолепных набросков животных. Они не только динамичны, они точны и жизненны. Редкое сочетание, когда свои произведения автор может сам иллюстрировать. Таким качеством в совершенстве обладал известнейший наш ученый-зоолог и писатель — Николай Александрович Формозов, с которым в свое время у Зверева была теплая дружба, как с соратником и коллегой, единомышленником. Вот и теперь на одной из карточек писатель заканчивает рисунок илийской синицы над дуплом с букетом насекомых в клюве.

Володя вдруг вскочил и, как всегда, отошел, и с помощью фотоаппарата запечатлел идиллию молодых и старых натуралистов, склонившихся над записями в тени пустынного дерева — туранги.

Можно сказать тому, кто не знает, что весьма трудное дело — сидеть и писать, когда находишься в поле, лесу, у реки, когда столько вокруг интересного. И это нельзя сравнить с записями журналиста, берущего интервью. А когда среди природы, то кажется, что ничего такого нет и записать что-нибудь можно и потом, не сейчас. В таких случаях, конечно, всегда важно помнить красивую заповедь Н.М.Пржевальского, особое внимание уделявшего этому труду в продолжительных экспедициях. Николай Михайлович говорил: «У путешественника памяти нет», другими словами: все, что видишь, узнаешь, наблюдаешь, надо записывать. Максим Дмитриевич тоже любит повторять: «Незаписанная мысль — потерянный клад».

Между тем Володя, щелкнув несколько раз фотоаппаратом, сел и, положив телевик, аккуратно прикрыл светлой кепкой объектив, чтобы не падали прямые лучи палящего солнца, и снова занялся дневником.

Над протокой, не спеша, сгорбившись, вместе с тем с какой-то необычайной грацией и важностью, какой нет у других наших птиц, летела одинокая цапля. Оказавшись над тугайным островком, окруженным оголенными барханами, где было спрятано озеро, она так же плавно, с неоспоримым достоинством опустилась. Следом, взметывая светлыми крыльями, за цаплей прошелся болотный лунь. Он спугнул каких-то темных уток с не видимого для нас озера. Несобранной стайкой они стремительно летели в нашу сторону. Послышался тугой и суховатый свист крыльев. Заметив нас, они круто взяли в сторону и исчезли в посеревшей от зноя дали. Пуганые! Где-то немисливо высоко перекликались золотистые шурки. Мы подняли головы и искали остроконцие крестики их силуэтов. Приятные крики невидимых в небе птиц слетали, будто сказочные слова, навевающие ощущение простора. Они рассказывали и о том, что под небом пустыни живет своя, вечная красота, величие и покой.

Круг плотной тени от туранги, закрывающей нас, переместился, уступая солнцу. Чиркая о кору тополя коготками, синицы ныряли в дупло и кормили птенцов. Они выполняли трудную и нужную работу, для того, чтобы синичий перезвон никогда не покидал тугайных зарослей. Около наших ног, откуда ни возьмись, появилась и застыла песчаная круглоголовка. Быстрыми глазками, по-птичьи прыгающими, она внимательно

оглядывала каждого из нас, то и дело вскидывая головой вверх и вниз. Карикатурное выражение глаз ее забавляло. У нее разной жизнью, разным настроением жили распахнутый до ушей рот, выражающий надменность, и эти чувствительные, бегающие, вечно настороженные, глазки. Короткими перебежками, чертя хвостом песок, она перечеркнула сердцевидный след джейрана, выдавленный копытом когда-то на мокром песке, и стремительно и легко укатилась к седому, разметавшему иглистые листья на корявых белокостных ветвях, саксаулу.

За одинокими деревцами с ажурными кронами, сквозь которые сочился рассеянный свет, стояли, слитые воедино, сизовато-розовые заросли чингила. Непривычная для нас нежность красок приилийской пустыни подняла сердце тихой радостью, ощущением первозданности. Вот она — «вотчина» натуралиста и писателя. Обхожу взглядом по кругу даль. Останавливаюсь на мрачных, загоревших до черноты гривах Большого и Малого Калканов. Перед ними широкая и спокойная полупустыня в рыжих пятнах песка, глинистых плешинах, голубых и серых островках полыни и селитрянки. Полупустыня в седых саксаульниках, сиреневых тамарисках и чингиле, и еще каких-то крупных желтеющих злаках. Это места, где несколько лет назад выпустили, вернув им исконных обитателей — куланов. «Где и как они там? Как обживаются редкие степные животные?» Только осознание того, что они там есть и бродят вместе с быстроногими и чуткими джейранами, с сайгаками, радовало. Пустыня, по которой они бродят, облагорожена. Оправдано ее древнее предназначенье. И хотя мы не видели с этого берега животных, мы были счастливы по-своему, что пустыне, как матери, через много лет вернули ее детей, куланов, и не за горами время, когда возвратят ей и дикую лошадь Пржевальского.

Такова сегодня вотчина натуралиста. Все он знает здесь. По-прежнему любит ее и воспевает, но уже с болью в сердце за ее прошлое.

Над листком бумаги его лицо, чуть вспотевшее. От легкой сосредоточенности сомкнуты губы. Рука, словно живет своей привычной жизнью — делает торопливую запись. Рождается новый рассказ, но в отличие от тех, которые писались здесь десятки лет назад, он будет повествовать не о величии и экзотической красоте природы Приилийской пустыни, он откроет нам тревогу человека о судьбе солнечной земли.

Настенька

Наш маленький клуб с романтическим названием «У лесного костра», придуманный Максимом Дмитриевичем, в сборе. Почти неделю мы жили в доме егеря на берегу Или — урочище Аяккалкан. Полдень. Сидели за дощатым столом в небольшой кухоньке. Пол вымыт до цвета желтого лимона. Только что отведали сомовой ухи. Сома поймал Семен Давыдович. Прикрыв посуду полотенцем от налетевших мух, вели неторопливый разговор о природе, анималистической литературе. Максим Дмитриевич, как обычно, неторопливо рассказывает нам, как строить рассказы о природе на фактических наблюдениях. Приводит примеры из личного опыта. Мы слушали, расслабившись, наслаждаясь прохладой дома и покоем. У двери, распахнутой прямо в пустыню, высокое слепящее

солнце. Пески со всех сторон. Только в окно была видна сверкающая водой излучина, заросшая редким тростником. Горячее дыхание пустыни обдало наши потные тела.

Разговор пошел о прошлом. Здесь уж обязательно первое место за Максимом Дмитриевичем. Дуэт ему обязательно составлял Кустанович. Опершись руками о колени, приподняв плечи, покачиваясь, Зверев рассказывал, как четыре или пять десятков лет назад с этого самого места, — он показал в окно в сторону реки, — вместе с известным ученым-зоологом Василием Николаевичем Скалоном сплавлялись они вниз по Или.

— Все в то время, а мы были молоды еще, было интересно! — тихо, но восторженно говорил он. — Построили здесь плот и стали сплавляться. Плыли, плыли с Васей мы, плыли... У него, сами знаете, — обращается он к Семену Давыдовичу и ко мне, — у него же вот такая пышная борода — во! — крутит он руками под подбородком. — Хорошо ему — комарам места меньше... Все хорошо было, но одно не рассчитали: продукты оказались на исходе. Рыба не идет. Есть нечего. Оставалось только бросать задуманную экспедицию, ехать домой. Жалко и обидно. Решили тогда, если увидим артель рыбаков, их много было, выйдем, купим у них рыбы. Так и сделали. Как только показались рыбаки, причалили. Вышли. «Продайте нам рыбы», — говорим. И странно, отказали, говорят «нельзя, и все!» И понимаете, ни в какую! В одной ничего, в другой, третьей артели, и все попусту. Боятся. Мол, узнают, неприятности будут. Вот ведь беда какая! А есть-то охота! Ладно. Плыдем дальше, дело уж под вечер. Сидит мой Вася, приуныл. То все пел песенки Вертинского, а тут приуныл совсем. Видим, снова рыбаки. Не пошел он, «чего говорит без толку». Решился я тогда один счастье еще попытать. Вася на плоту у отмели остался, а я пошел вброд. Подхожу: «Не продадите ли рыбки? — спрашиваю. — Второй день, как продукты кончились», — разжалобить вроде бы хочу. «А че сами-то не можете, че ли? Мужики тоже мне!» — грубо эдак на меня один, видно, из главных в артели. А сам такой же, как Вася, уже лет под пятьдесят. С такой же длинной и пышной бородой. Из староверов похоже. Много их здесь в те годы было. Посмотрел подозрительно на меня маленькими быстрыми глазками, на Васю смотрит, а потом кричит: «Настенька! Поди-ка сюда!» Подходит к нему белобрысая девушка лет шестнадцати, ресницы как в молоке вымытые. Дочь, видно. Чего-то шепнул ей. Она кивнула головой и пошла ближе к берегу. На Васю смотрит чего-то. Потом снова к нему и тоже что-то на ухо ему. Тогда он говорит: «Сдается мне, у тебя на плоту батюшка сидит?» С таким, вроде уж бы, теплом в голосе. Я смекнул, что к чему. «Конечно, — говорю, — его и везу. В Баканас мы». «А че там, в Баканасе-то?» — спрашивает. «Церковь батюшка собирается там строить, вот и едем». — «Ну что же, это дело!» — говорит с миротворной ноткой бородач и смотрит на меня уже вовсе подобревшими глазками.

«Настенька!» — снова кричит.

Выходит Настенька, сарайчик у них там какой-то камышовый стоял. «Чего тебе опять?» — спрашивает.

«Поди да посмотри-ка там чего-нибудь съестного! Рыбки хорошей дай вот ему, — кивает на меня. — А то люди голодные шибко!» — Максим

Дмитриевич смеется и моргает часто повлажневшими глазами и затем, слегка вскинув плечи, продолжает:

— Для батюшки ничего не жалко! — с ударением на «о» говорит бородач. Дочь его — Настенька, тут же принесла продукты, в газету завернутые. Я в карман, хотел было рассчитаться, да где там, говорить даже не стали. Для батюшки не жалко. Церковь — нужное дело! Тут остальные рыбаки подошли, участливо кивают головами, все тоже бородастые. Целую сумку принес я на плот. Рыба, хлеб, молоко... И говорю Васе, — так, мол, и так, за попа тебя приняли. А так бы ничего не дали. Похоже, староверы-уральцы или еще какие-то.

Вася смотрит васильковыми глазами. Теревит озадаченно пышную русую бороду. Повеселел. А потом и говорит: «Ну что ж, за попа, так за попа!» Оттолкнули мы плот и только отплыли на середину Или, встал тогда Вася, да как запоет. Роста сам невысокого, а пел изумительно! Голос сочный, красивый, могучий. А столько знал разных арий, романсов, классику хорошо знал. А тут проповедь церковную затянул, над водой-то хорошо слышно. Глядим, а мужики-то на берегу — стоят все и крестятся. В тот раз продуктов на весь остальной путь хватило.

Максим Дмитриевич улыбается от нахлынувших воспоминаний одними глазами. Некоторое время помолчал. Потом говорит: «Талантливый ученый Василий Николаевич был. А вообще смог бы и вправду попом быть. Шутка ли обладать таким голосищем!»

Слушая Максима Дмитриевича, я представил Василия Николаевича, с которым неоднократно встречался на зоологических и педагогических конференциях, республиканских симпозиумах. Синий до пронзительности взгляд его обладал притягательной силой. Невысокий, но степенный, он казался выше на самом деле, чем был. Строгий, сочного тембра голос придавал ему особое обаяние. Длинная, закрывающая грудь русая с проседью борода придавала ему вид древнерусского былинного героя, очень запоминающейся внешности был человек, неулыбчивый, но веяло от него скрытой добротой. И действительно, могучий басовитый голос ученого каждый раз наводил на мысль о сходстве его с попом.

— И что вы думаете? — с серьезным лицом, но еще со смеющимися глазами продолжал Максим Дмитриевич, — так и доехали до Баканаса. И представляете, что самое интересное: пока плыли к Балхашу, а плыли не торопясь, останавливались, где хотели, собирали зоологический материал, а нам все эти дни подносили провизию рыбаки нижестоящих по реке артелей. Как они узнавали, что едет «батюшка»? Получается, как говорят казахи «узун-кулак» — «длинное ухо» сработало, обгоняя нас. Не знаю почему, — продолжал он, — но мне запомнилась дочь бородастого артельщика, такая уж белобрысая, блее некуда: волосы — лен, такие же брови и ресницы. Лицо в пушке, как в серебре. Вот такая Настенька, дочь у него была.

Не успел писатель окончить свой рассказ, как Володя вдруг резко подскакивает со скамейки, на ходу сдергивает со стены у двери бинокль и ничего не говоря, выскакивает на крыльцо и смотрит в бинокль в сторону реки. С крыльца, как на ладони, просматривается небольшая тихая протока. Ее спокойная, темная, в тени тростниковых стен вода, заляпанная округлыми лепешками листьев лилий и кувшинок.

— Смотрите! — показывает Володя, — ондатра белая!

Мы тоже встали и вышли на крыльцо. Бинобль пошел по рукам. Водную гладь стоялой протоки резала плывущая белая ондатра. Длинными усами за ней тянулся зыбкий след побеспокоенной воды. Чувствительные к колыханию, полувставали, приподнимаясь на изгибах легкой волны, листья кувшинок. Зверь продвигался вдоль протоки в нашу сторону. Он останавливался накоротко, чтобы перевести дух.

Охваченный азартом, Максим Дмитриевич высказал досаду: «Не мешало бы иметь такой великолепный экземпляр. У меня же есть целая коллекция разной необычной расцветки шкур диких пушных зверей. А вот ондатры такой нет. Таковую вижу впервые. Альбинос!» — восклицает он.

Я видел у него коллекцию удивительных с нетипичной для видов окраской меха шкур. Зверев собрал ее более чем за пятьдесят лет, за время своих бесчисленных поездок. Некоторые он получил от охотников. Это были шкурки кидусов, черных хомяков и хорьков и многих других зверьков с неестественной для них белой, коричневой, пестрой и желтой окраской. Естественно, что трудно было определить, какому виду животных эти шкурки принадлежат.

Тем временем ондатра, словно заученным маршрутом, уверенно продвигалась вверх по протоке, значительно приблизившись к нам. И вскоре выплыла на чистый плес. Высокое небо в светлых пятнах облаков, отраженное, гнулось и лениво покачивалось на сломанной волнами глади.

Володя, как прекрасный фотоохотник, первым выскакивает за ограду кордона и, прижимая к груди телеобъектив, согнувшись, как кенгуру, обнажив худую поясницу, белеющую из-под защитной рубашки, не бежит, а прыгает к протоке. Тоже залетаю в избу. Хватаю телевик и следую за ним, в уверенности заполучить редкий кадр.

Чтобы не испугать осторожного зверька, срываю и бросаю на песок издали заметную белую кепку. Моему примеру следует Володя. Из обленившихся собеседников после сытного обеда в один миг мы обратились в страстных охотников: стоит ондатре остановиться для короткого отдыха, как мы мгновенно застываем в странных позах, часто с неестественно поднятыми ногами. Мы знаем, что одно-единственное движение с нашей стороны, и она исчезнет, лишь шлепнув плоским хвостом о воду. Тогда все — пропало. Наш азарт передается и всем остальным: они разговаривали тихо и восторженно, удивляясь необычайному зверьку. Во время скрадывания диковинной окраски зверька, от охватившего волнения, у меня, кажется, под самым горлом громко стучит сердце. Когда следишь за каждым шагом, чтобы не хрустнула под ногой травина, и подобным выстрелу кажется щелчок фотоаппарата. «А что, если ей вдруг придет в голову идиотская мысль нырнуть и скрыться?» — думаю и на всякий случай поспешно навожу резкость в телевике и наспех щелкаю. «Хотя бы какой-нибудь, но получить снимок». Одержимый этой мыслью, как и Володя, щелкаю теперь после каждого шага, зная, что каждый кадр может оказаться последним. В кассете у меня только половина цветной пленки. Краем глаза наблюдаю за Володей. Согнувшись пуце прежнего и, едва не касаясь подбородком острых коленей, он выставил перед глазом телевик, чинно и даже грациозно, по-страусиному шагает. Сам же ста-

рается быть ниже чахлой травы, которая ему до колен. Со стороны он походил на доселе не известное зоологам высокое, на ногах, носатое существо с острыми, как у богомола, коленями. И странное существо, которое он, не подозревая, инсценировал, чутко и устремленно ступало и время от времени каменело со смешно поднятой ногой.

Ондатра останавливается и пристально следит, оставаясь на плаву совершенно неподвижной, будто крупный цветок лилии. Я не исключаю, что наша липовая конспирация на голом берегу, возня, и подшагивания вызвали обоснованное подозрение. Зверек насторожился. Скосив до косяглия, как эпилептик, стоит окаменевший Володя. Похоже, не в лучшей позе и я. И потому вдруг теряю равновесие и, зацепившись ногой за куст полыни, едва удерживаюсь на ногах. Проклинаю себя за случившуюся оплошность. Однако, вопреки ожиданию провала операции, ондатра, к великому счастью, хладнокровно высунув из воды розоватый нос, замерла, пристально следит за нами. «Природная близорукость ее спасла меня», — торжествую про себя. Володю потрясывает не то от смеха, не то от напряжения. Его острые плечи вздрагивают. Максим Дмитриевич и Семен Давыдович хихикают, стоя на крыльце. Мы с Володей терпеливо, в странных позах, и со стороны, как два танцующих Шивы, в неподвижных позах, ждем трудной удачи фотоохотников. Что ни говори, а у фотоохотников в отличие от обычного охотника с ружьем, есть свои, и немалые трудности. Будь в руках ружье, мы давно бы, при желании, заполучили этот необычный экземпляр. А тут совсем другое — жди, когда подплывет ближе; надейся, что не помешает тростинка, не закроет облаком солнце. Вот и приходится корчиться, выждать, чтобы помогла удачливая случайность. Она же, случайность, в любой миг могла все испортить. Мне и сейчас мешает торчащая камышинка, вставший боком лист кувшинки, и свет, отражаясь, бьет по глазам. Выбрать, поймать нужный момент, когда все: и свет, и расстояние, — удача. Но такова судьба человека с фотоаппаратом, что его даже точный «выстрел» еще не удача. Он всегда сомневается, не доверившись секундной радости. Он снова крутит пленку, и в подобных ситуациях делает это почти истерически. Потом вновь терпеливо ждет и ловит тот единственный случай, чтобы и получить редкий кадр.

Ондатра, пока мы стояли в странных позах, доплыла до редкого тростника у противоположного берега, и теперь полосато белеет, перечеркнутая стеблями. Она подгрызает их, вытаскивает на кормовой столик и, собравшись в белоснежный ком, съедает. Снимать невозможно. Мы досадуем от беспомощности. И уже осмелев, ходим, вполголоса перекидываясь фразами, с надеждой, что она оставит тростник и подплывет ближе. После томительных минут ондатра чистит шубку, распаляя желание наше на хороший редкий снимок.

— Надо бы к столику ее доплыть, отсюда его хорошо видно, — кричит Семен Давыдович. — Жаль, что лодки у нас нет!

Насытившись, без всплеска, словно в масло, она соскальзывает с кормового столика и уходит в воду. И вдруг совершенно неожиданно появляется вновь на середине протоки, всего в десяти-пятнадцати шагах от берега. Не сговариваясь с Володей, падаем перед ней на колени и юзом, на животах, ближе к воде. Появилась возможность снять крупным

планом. Медленно приподнимаемся, растущим тростником встаем из прибрежной травы, целимся, щелкаем фотоснайперами. Потом так же медленно опускаемся и ползем. И вот, наконец-то, ондатра, как на ладони: отчетливо видны красноватые, будто воспаленные от собственной белизны, глаза и толстые белые усы. Еще несколько щелчков, но, как бывает, в самые прекрасные, ответственные мгновения, пленка у меня кончается. Это, кстати говоря, тоже один из тех случаев, подчас играющих не менее важную роль в трудном счастье фотоохотника. С досадой опускаю телевик. С завистью наблюдаю за Володей. Он добивает последние кадры. Но вскоре тоже теряет интерес к отстрелявшейся «стеклянной дальнобойной пушке». Ондатра по-прежнему невозмутима. Она плывет совсем близко вдоль нашего берега. И более того, вскоре же вылезает на берег. Словами не выразить нашей досады. Нечем снимать! Как было бы здорово!

И вот, оказавшись около небольшого дощатого настила, напротив кордона, где обычно жена егеря стирает белье, садится у берега и, сгорбившись, по-хозяйски, что-то вышаривает в воде лапами. Не подходим, а просто наблюдаем со стороны. Зверек то и дело погружает в воду передние лапы, нащупывая что-то, подносит к зубам и усердно жует добытое из собственных кулачков. Но странно, что никакого внимания к нам и ни малейшего страха. Осмелев, помаленьку приближаемся. Хочется поближе рассмотреть белое чудо ондатрино рода.

Володя позади жестикулирует мне так, словно боксует невидимого противника, и вот, уже проигравший, строит кислую гримасу. Мне кажется, он вот-вот заплачет, выражая досаду, вот, мол, беда: пленки нет. Мы увлеклись зверьком, а он увлеченно кормится и совершенно игнорирует наше присутствие. Отрезвил нас звон пустого ведра: от дома, крупными шагами, к настилу, где кормилась ондатра, шла жена егеря. Она стучала ладонью по ведру и ласково приговаривала: «Ой, ты моя хорошая, ой, ты моя умница! Настенька моя! Проголодалась, милая! Сейчас, сейчас, я тебя угощу!»

Она смело подошла к нашей ондатре. Услышав ее голос, сгорбленный зверек поднялся на задние лапы, близоруко таращась и дергая красноватым носом. Щупала воздух веером белых усов, серебристо разлетающихся в разные стороны. Нетерпение, охватившее зверька, очевидно. Мы опешили. Подходим еще ближе. И вот ондатра поворачивается к нам. Только теперь мы видим могучие ржавые резцы и плоский хвост. «Тьфу ты! Нутрия!» — с досадой говорю Володе. Он саркастически усмехается. Теперь меня удивляет только одно: почему сама «ондатра» не смеется, ведь мы сделали все, чтобы рассмешить ее. Прихожу к выводу, что плохо у нее с юмором...

Тем временем жена егеря бросает и высыпает из чашки прямо в воду ей под нос ячмень, постоянно приговаривая ласково: «Ешь, моя хорошая». Вероятно, удивившись, видя наши растерянные физиономии, она говорила: «Она у нас с прошлой осени свободно живет. Мы их шесть штук выпустили. Это вот белая — Настенька. Остальные бурые и черные».

— Ой, ты моя хорошая, Настюшечка! — говорит она и угощает нутрию прямо из рук сухарями. Мы собрались вокруг «нашей ондатры» — Настеньки. И куда деваться — вынуждены были коллективно при-

знать, что здорово оплошали, признав молодую белую нутрию за ондатру-альбиноса.

— Вот так зоологи! — смеется Максим Дмитриевич.

— Крепко надула, подлая! — иронизирует Семен Давыдович.

Мы же с Володей, показав класс приемов мастерства крадущихся фотоохотников, чувствовали себя одураченными больше всех.

— Алкоголичка красноногая! — бросает по ее адресу Володя.

— А ну-ка, Максимка! — обращаюсь я. — Принеси-ка ей ванильных сухарей. Они ей самый раз — стеклянные! Пусть хоть ржавчину с зубов сдерет.

— Вы знаете, — говорит Максим Дмитриевич, — неудобно говорить, но эта «ондатра», то бишь — нутрия, до нелепости напоминает мне ту самую Настеньку, которая разглядывала нас со Скалоном Василием Николаевичем в бинокль — дочь рыбака. И не только из-за клички и беловолосости, а наверное потому, что у нее такие же белые ресницы.

— Теперь я основательно представляю ту вашу Настеньку, — смеется Семен Давыдович.

— А мне теперь все Настеньки будут казаться похожими, как эта, — встрял Максимка.

— Правильно — Васька — кот, Борька — поросенок, а Настенька — нутрия, — говорит Володя и боязливо гладит «ондатру».

Белая, желтозубая Настенька сидела на задних красноватых, с перепонками между пальцев, лапах, напоминающих гусиные. Расставив их широко, беззастенчиво, с тупым усердием, она хрумкала сухари, которые подталкивал Максимка. Крупные, ржавые резцы ее почти шутя расправлялись с остекленевшими ломтями хлеба, которые мы купили в сельском магазинчике по дороге из Алма-Аты.

У нутрии действительно были белые ресницы, воспаленно-красноватые глаза, словно систематически недосыпала. Шерсть, мокрая от купания, подсыхала. Спина напоминала обсыхающую голову белобрысого деревенского мальчишки, днями пропадающего на реке.

Поразительно быстро эта особа беззастенчиво съела пригоршню сухарей и взялась за ячменные зерна: она снова шарил в воде, оставившись бессмысленно куда-то в пространство. Найдет, поднесет в красноватых кулачках к зубам и, пока жует, сама снова шарит и, подобно пианисту, поглощенному игрой, с безучастным невидящим взглядом смотрит в пространство.

— Ешь, милая! — ласково приговаривала хозяйка.

— А почему именно Настенька, а не какая-нибудь там Жанна? — ядовитенько спросил Семен Давыдович.

— Ну как же! — пояснила она. — Сами же видите, такая белая. Как только увидела ее, так мне показалось — она похожа на знакомую, которая жила в нашей деревне. Настей звали тоже. От пят до макушки белобрысая. Поэтому и называли ее так, — уверенная в своей правоте, ответила молодая хозяйка.

— Ну что ж, получается, все Настеньки прямо-таки и есть все такие белые и бесцветные, — резюмировал Семен Давыдович. — Чудно даже как-то!

— Слишком много совпадений, не правда ли? — поглаживая осто-

рожно пальцем по спине Настеньку, чтобы не тянула, добавил Володя.

Солнце осушило шерсть. Как соломенная, от легкого движения воздуха, она шевелилась на боках и спине. Серебряные струи усов чутко резали воздух. Нутрия, не останавливаясь, уминала все, что ей предлагали. Ела будто на неделю. Потом с невероятно раздутыми боками вышла из воды на берег, слеповато поглядела на все четыре стороны, подергала воспаленным носом, доверяясь ветру, который нес нужные запахи, и пошлепала обратно в воду, смело плюхнулась в зеленоватую толщу, сквозь которую, как через бутылочное стекло, виднелись сплетения водорослей. Окунувшись, нутрия вынырнула и, увлекая за собой розоватый, похожий на резиновый жгут хвост, поплыла восвояси — в сторону камышей.

— Прекрасный сюжет для рассказа! — проводив Настеньку взглядом, говорит Максим Дмитриевич, обратившись к Семену Давыдовичу. Они стоят рядом, и мне, сидящему на корточках у воды, кажутся прямо-таки великанами. Над их головами высокое небо. В мутных разводах слоистых облаков маячил ширококрылый силуэт орла.

— А мы выпустили их шесть штук, — повторяет хозяйка, — белую, бурых и черных. — Обтянув подолом загоревшие сильные ноги, она сидит на дощатом подмостке в цветистом сарафане и темными глазами с маслянистым отблеском отраженной ленивой воды, провожает белобрысую Настеньку.

— А мы их шесть штук выпустили: бурых, черных и белую — Настеньку...

Ночные голоса

Время за полночь. Мы у костра на берегу Или. Пустыня в лунных тенях тонких облаков. Время от времени между ними прорывался бледный диск, разливая призрачный свет. Черным шатром над нами старая, кривоствололая туранга. Желтые языки пламени привстают и опадают над обломками саксаула. Костер словно устал и неохотно спорит с ночью. Раскаленными железными болванками, обметанными сизыми перьями пепла, шаит древесина. Пахучий дым газовым шарфом ползет к береговому обрыву, в пяти-шести шагах от нас закручивается сизыми обручами, мягко обнимая каждого. Максимка первым, по-детски, морщит нос, до слез трет глаза и, открыв от удушья рот, отворачивается от костра. Не выдерживает Володя: закрывает дневник, резко встает, отходит и шумно отдувается, словно только что вышел из парной. У Семена Давыдовича тактика другая: он стоит с закрытыми глазами, пыхтит, будто одолевает последние метры горного перевала. Ради свежего глотка воздуха тоже отхожу, но тут же сталкиваюсь с развеселыми песнями комаров. Приходится выбирать одно из двух... Максим Дмитриевич глубже натягивает егерскую фуражку, словно это спасает от горького дыма, достает платок и вытирает слезящиеся глаза и часто кашляет. К нашему счастью, дым отступает, мы тут же поудобнее усаживаемся на поваленную лесину, чтобы продолжить разговор, беспрестанно отбиваясь от осаждающих насекомых.

— Хорошо, если бы вообще не было комаров, — говорит Максимка. Он вопросительно смотрит на нас, ожидая поддержки своему желанию, и с отчаянием шлепает себя по щеке.

Беседа на время прерывается. Вслушиваемся в звуки ночи, ослепленные светом огня, вглядываемся в сизую пустоту ночи и слушаем рассказ Семена Давыдовича. Он неоднократно бывал на Дальнем Востоке. Герои его опусов — люди, природа тайги, птицы и разное зверье. Кустановичу за шестьдесят. Лицо моложавое. Чисты и по-детски внимательны глаза, и потому, наверное, он производит впечатление более молодого. Он орнитолог-любитель, доктор медицинских наук и страстный обожатель пернатых. Орнитологию он считает одной из красивейших зоологических наук. «Заниматься ей можно лишь в свое удовольствие и, естественно, бесплатно». Он часто ссылается на отечественных орнитологов прошлого века, когда изучением птиц занимались состоятельные люди. Это они многое сделали для орнитологии на первых этапах фаунистических исследований разных регионов России и даже за ее пределами. Семен Давыдович и сам личным примером доказывал правоту своих суждений. Что называется, от края до края извездил страну. За время поездок собрал интересные материалы наблюдений о малоизученных, редких птицах и опубликовал множество научных работ. Но больше всего он любит писать о природе. Это его слабость, сила и страсть, которые сблизили уже много лет назад со Зверевым как писателем, натуралистом и человеком. Для того, чтобы вот так, как и сейчас, безразлично где — в пустыне, горах, тайге посидеть у ночного костра, поговорить с единомышленником, каждое лето почти на месяц приезжает к писателю, и они вместе совершают экспедиционные поездки.

Мы сидим, отдуваясь от дыма, отбиваясь от комаров. Максимка собирает остатки растительного мусора, подбрасывает их в огонь. Пламя каждый раз оживает и в тот же миг встает, озаряя лица. И тогда на мгновение мрак пятится, вместе с ним отступают полчища воинствующего комарья. Довольный игрой огня и света, победой над крылатыми кровопийцами, мальчишка смахивает капельки пота с раскрасневшегося носа и принимается за удачливое дело истопника.

— Ну вот и состоялся наш очередной разговор «У лесного костра!» — Максим Дмитриевич каждый раз так называет наши беседы, на которых присутствуют молодые и опытные писатели-натуралисты. И неважно, где это происходит — на берегу речки, в горах или даже у него дома, но обязательно у костра. Сегодня в полном смысле его назначения, со всеми полевыми атрибутами он состоялся.

Положив ногу на ногу, писатель устремил отрешенный взгляд на огонь. На нем егерская форма. Он не расстается с ней десятилетиями, когда выезжает в экспедиции, на кордоны и другие полевые поездки. Слабые всплески огня тусклыми звездами зажигают металл петлиц. Пламя на время оседает. В призрачном сиянии небес писатель стал таким, как и представлялся мне в детские годы. Слово сейчас только мои давние представления переплавлялись в действительность — ночной костер и старый, в егерской одежде, писатель-натуралист. Согнувшись над листками дневника и поворачивая его к свету, Володя набрасывает рисунок, поглядывая на чешуйчатые блики реки. Иногда терпение его покидает и он резко хлопает страницами, стремительно встает, чертыхается и отмахивается от комаров, отворачивается от дыма. Потом снова садится, мечтательно глядит на ночную воду и, склонившись, что-то пишет и

рисует. И если бы он открыл свой фотоаппарат, с которым не расстается, и стал снимать, я б не удивился, а напротив — счел бы это нормальным. Володя всегда находит для себя то, что достойно внимания натуралиста.

На некоторое время у костра повисает тишина. Огонь умиряет пляску. Неспokoйна береговая волна. Будто хлопает и шлепает хвостом, стараясь выбраться из черной воды, громадная рыбина. Поэтому она натужно сопит и тяжело дышит. На середине реки раздался всплеск. Еще и еще. Трудно даже представить, что в этот полуночный час, в смоляной реке можно резвиться. Но рыбины доказывают — можно. И нам никогда не понять их тайной радости, как не понять северного тюленя или моржа, избравших студень арктические моря. После каждого всплеска Семен Давыдович, как истинный рыбак, резко поворачивается к нам худой спиной и смотрит в сторону реки: «Во! Вот это сом! Здоровенный зверюга!» — говорит он и некоторое время слушает реку, не ухнет ли? Теперь мне кажется, что именно тот самый «здоровенный зверюга» с плоской глянцевитой головой, губастый, вылепленный словно из серой глины, жадно подсасывает берег. Он тупо и довольно чавкает, крутит, взбуривая глубину хвостом. На время затихает и снова пыхтит и шумно дышит. Желание увидеть — кто же? — велико, хочется подойти и тайно взглянуть на латимерное существо, стремящееся на берег. А оно не успокаивается и без устали возится, громко глотает воду под крутым берегом. С уханьем в стороне обваливается берег, хорошо слышно, как шлепают комья. Даже тот, кто подглядывает наш обрыв, тоже затаился и рад, что вода побеждает, глотая комья глины и песка. И снова подсасывает берег, чтобы обвалить и насытить свое безмерное чрево.

— А знаете,— говорит Максим Дмитриевич, не меняя позы,— слушаю реку и все привычное, близкое, но с Сибирью все сравниваю,— обхватив руками собственные плечи и вслушиваясь в таинственный ритм ночной волны и, нацелив взгляд на костер, покачиваясь, продолжает: — Пятьдесят лет без малого, здесь я. Не представляю себя без пустыни и тугаев Тянь-Шаня. А мысли нет-нет и воскрешают в памяти Обь. И всегда так. Даже, знаете, помоложе был, ездил, и не раз, на Родину. День-два побуду и все! Тянет домой. Ей-богу, не знаю, где теперь она у меня — Родина-то. Живу здесь, а все сравниваю с природой Сибири. Прямо до навязчивости... Не зря же друзья говорят, что я на сто процентов сибиряк, и на пятьдесят — казахстанец.

Подтянув поглубже, до глаз, чтобы не лезли комары, козырек, писатель замолкает, глядя на пляску огня, потом продолжает: — Вот гудят, проклятые, кусаются, а мне привычно. Больше скажу — уютно и спокойно. За их песнями шорох балхашских тростников. Их же гибель в балхашских джунглях! Слона сожрут! Хлопает водичка, или рыбина хвостом бьет, а у меня ширь обская перед глазами, и кажется, сырость и холод береговой чувствую. По утрам свежо, туманы, роса. А вот костер из саксаула — это здешнее. И где ни был, только приилийские пески вспомнил бы...

В это время сквозь слоистую прядь облаков пролился свет. Воздух стал прозрачным. Зажглась на реке полоса жидкого огня. Маслянисто бродили огненные круги. Река плескалась светом, застрявшей в обрывистых берегах рыбиной. Облака поднялись, словно стали выше. Тускло

светилась одинокая звезда. Ощущение первозданности усилилось. Потянуло сыростью. Дыхание песков уступило свежести реки.

«Ули-и-и-и-и-и! Ули-ли-ли-ли-ли-и-и-и» — понеслось из глубины пустыни. Казалось, заплакала ночь или сама тишина. Это была самая печальная песня, какие я знаю, какие бывают на земле. Пространство от реки, барханов, до звезд заполнилось тоской и отчаянием.

— Ну вот, наконец-то! — Встал Максим Дмитриевич. Он слушал тягучие звуки, как самую сладкую и понятную ему только музыку. Насладившись, он сел, удовлетворенно и тепло заговорил: — «Думал, больше не услышу. Полагал, совсем исчезла. В наше время уже ничему такому удивляться не приходится».

— Пап, а кто это? — спросил Максимка.

— Авдотья Никитична! — ответил с ухмылкой Володя, прижимая под мышкой дневник.

— Это таинственная птица среднеазиатских пустынь, — высокопарно объяснял Семен Давыдович, — авдоткой называется сия прекрасная и оригинальная птица. А вообще это кулик...

Неутешные вопли пернатой плакальщицы плыли над сумрачными просторами. Горечь безысходности разливалась над черными песками, серой рекой, над черными шатрами кривостволых туранговых роц. С этими звуками и небо, и облака, и редкие звезды обрели новое, ранее никогда не переживаемое мной очарование и непостижимое таинство. И все в этот миг под небом пустыни было исполнено словно накопленной безмолвными веками невыразимой скорбью. Это был голос самой пустыни. Лица собеседников вытянулись, выражали тревогу и печаль. Растерянно озирался Максимка, забыв про костер.

— Редкая стала авдотка. А у зоологов интерес к ней всегда большой. До сих пор мало что знаем о ее жизни. Всерьез никто не изучал. А я без их голосов не представляю прилийских песков. Грустно перекликаются, и тоскливо становится, особенно, когда один у костра. А у меня сейчас, как ни странно, на душе просветлело: счастлив, что снова в пустыне. Как в отчете доме после долгой разлуки.

— Пап, какая она, эта авдотка? — шепчет Максимка.

— Серая. Похожая на кулика. С куличиными длинными ногами, совиными глазами — большими и желтыми. Прекрасно бегают. Умеет затаиваться. Рядом пройдешь — не заметишь.

— А еще, — подключился Максим Дмитриевич, — знаете, что авдотка — маленький страус?

— Ну да! — робко возразил Володя, все это время слушая голоса куликов.

— А между прочим, самое интересное, так это то, что у нее когти есть на крыльях. Больше ни у одной нашей птицы. Это о чем говорит? Что в ней сохранились атавистические детали строения, — произнес короткую речь Семен Давыдович.

— Да вот, например, наш крупный зоолог, основатель советской школы, профессор Московского университета Михаил Александрович Мензбир, избравший в жизни Амбилис сциента — как приятную науку орнитологию, так вот, он нашел ряд систематических признаков у авдотки, которые имеются и у страуса.

— Я тоже читал где-то у него об этом, — перебил Семен Давыдов. Он прекрасно знает литературу прошлых лет, и всякие орнитологические тонкости не прошли мимо его внимания. — А коготь на крыле — интересно! Авдотка в этом смысле, что и гаоцин. Ее можно называть илийским гаоцином. Как и ее далекий экзотический кузин, она тоже единственный вид в своем семействе. И южноамериканский гаоцин тоже в своем отряде единственный. По анатомическому сложению, внешнему строению он представляет нечто промежуточное между куриными птенцами и кукушками. И заметьте: авдотку зоологи относили к журавлям, потом она попала в списки куликов. Похожие судьбы — ничего не скажешь. Но почему я вспомнил о гаоцине? У его птенцов на крыльях по два когтя. Подобно археоптериксам они лазают по веткам. И не менее удивительно, что способны плавать, если вдруг падают в воду. Деревья стоят над водой, где живут гаоцины. Потом у них когти исчезают — редуцируются, у нашей авдотки коготь остается на всю жизнь.

Пока Семен Давыдович рассуждал о систематических ступенях гаоцина и авдотки, крики, исполненные тоски, разливались над спящими барханами.

У меня же — свои воспоминания — перед глазами встали иные картины. Я вспомнил Приаральские пустыни Каракалпакии по берегам низкой могучей Амударьи. В школьные годы мне часто приходилось проводить ночи у подобных костров и слушать тоскливые голоса авдоток. И всегда, как и сейчас, крики их наводили ощущение безлюдья, покинутости и глубокой скорби. Всегда казалось, жалуется сама пустыня, грустью наливались черные ленты среднеазиатских джунглей-туга. О чем они «плачут»? — спрашивал я себя. Сознывая нелепость вопроса, жадно лишь вслушивался в их голоса. Прошли десятилетия. И снова оказался в краях Амударьинских пустынь. Мне стала понятной и близкой их громкая печаль: куда ни глянешь, где были травы, кусты и тугаи, все распаханно. Начисто, до единого дерева вырублены гигантские туранги. На их месте рисовые чеки, пустили амударьинскую воду, чтобы поила посеянный рис. Вода пришла на жаждущую землю, пьющую, как загнанная лошадь. Но не пошел рис. Засеяли поля джугарой. Не пошла. Бахчи? Просо? Бросили землю. И теперь нет на ней того, что принадлежало ей в прошлом. А плуг и топор дальше пошли. С победной яростью новые земли осваивают. И опять более, чем Аралу оказалась вода нужной землям, не знающим предела жажды. Стоял, помню, и сокрушался над белизной и безжизненностью обнищавшей разоренной земли. Нет кустарников, тугаев. Только сухая и белесая, как березовый пепел, земля. От легкого ветра, колес машины, поднимаются тучи непроглядной пыли. Становится темно. Что вынуждает остановиться и переждать экологический бунт земли, чтобы снова увидеть солнце, дорогу. Ни птица, ни зверь, ни человек не живут теперь на ограбленной и брошенной земле. Некому оплакивать по ночам оскальпированные пространства. Вот почему «плакали» когда-то авдотки, знали, что настанет конец земли их обетованной. О чем же плачут сегодня авдотки приилийских пространств? — наверное, о том же. Только со слов Максима Дмитриевича под натиском вырубок отступили и поредели нивы туранги. Капчагайское водохранилище погло-

тило навечно припойменные земли. Что еще будет — никому не известно. Только известно, что станет хуже и птице, и зверю, и человеку.

Авдотки внезапно умолкли. Тишина сгустилась и окончательно завладела настроением. В ушах стоял пёрезвон далеких ночных куликов. Говорить не хотелось.

Вскоре же, за барханами, неподалеку, будто включился будильник. Ровная, урчащая цепь звуков тянулась непрерывно. Тоже птица, и трудно представить, что вот так, без передышки, без глотка воздуха можно бесконечно урчать.

— Козодой! — говорит Максимка.

— Молодец! — одобряет Максим Дмитриевич. — В нашем кругу растет натуралист.

Максимка сдержанно улыбается, довольно шмыгает носом, трет глаза и подбрасывает в костер веток.

— Да-а,— будто сам с собой соглашается Максим Дмитриевич,— сегодня перед школой, работниками культуры, литературы время и жизнь поставили важную задачу — охрана природы или, как говорим мы,— охрана окружающей среды. Нужно многое сделать, чтобы изменить отношение к природе у детей. Беда ведь: утрачена духовность у поколения. Отсюда и проблемы, связанные с формированием сознания. И не дай бог, если новое поколение, особенно в деле охраны природы, пойдет нашими дорогами. Страшно! Опасны стали технократы! Писателям-натуралистам нужно создавать хорошие и добрые, человеческие одним словом, книжки для мальчишек и девчонок. Значение литературы в этих вопросах неизмеримо возросло. Все потому, что мы утратили уважение к живому и вообще ко всему прекрасному, окружающему нас. А ведь отношение к природе у ребятшек сегодня формируется только через загородные поездки за грибами, на рыбалку, да еще когда находятся в пионерских лагерях. Словом, они бывают там, где масса людей и автомашин. Потому и, естественно, не испытывают стремления к духовному общению с природой. Все сводится к тому, чтобы что-то привезти, добыть, набрать, и все это имеет у нас привычно-положительную номенклатуру и именуется как отдых на природе. А ведь для них, подростков, нужны, хотя бы маленькие, тайны, удивление, открытия и главное — понимание естественной красоты и ощущение в живом древности. Если говорить о древности со взглядом на растения, животных, на горы, реки и так далее, мне кажется, это одно из важных звеньев средств воспитания ответственности за все прекрасное. Понимание этого должно порождать ответственность и долг сохранения родной земли. Ну, а если мы так и будем считать, что природа только источник материальных богатств, то катастрофа земли и человечества, именуемая сегодня экологической, неотвратима. Посудите сами, ребятшки в таком вот возрасте, как Максимка, не только зайца в глаза не видели, они лошадь, корову не знают, козленка от овцы не отличают. Это недопустимо! Страшно! Если у ребенка нет узнавания первородного на родной земле. Вот вспомнил сейчас,— с этими словами Максим Дмитриевич некоторое время сосредоточенно молчит, потом показывает пальцем за плечо: — Послушайте, как козодой-то поет. Чудесная музыка моих детских ночей! Не было бы козодоя, мы многое бы

потеряли. Вспомнил сейчас, как в рассказе Юрия Казакова «Долгие крики», кажется там, слова, что в детстве ему здорово не повезло: не было бабушки и родных в деревне. Он даже каникулы проводил на арбатских дворах. А природы, как он писал, в глаза не видел. Даже не думал о ней. А какой человек стал! Великий мастер рассказов. И знаете, чья заслуга? Писателей. Помогли ему в образовании книжки о природе. Вот и пример влияния натуралистской литературы на сознание, если хотите, влияние на общечеловеческую культуру. Вот поэтому литература о природе важнейшая необходимость сегодня в воспитании молодежи. К сожалению, еще дети и внуки наши больше пока танцуют, поют, соревнуются и просто болтаются по городским дворам да на проспектах. И винить их полностью нельзя. Это мы — взрослые, не создаем нужного комфорта для их гармоничного развития. Поэтому их сознание формируется в большей степени в атмосфере серого вещиизма. Пока мы больше говорим о заботах, связанных с подрастающим поколением. Больше слез крокодильих льем об их будущем. Дисгармония человека и природы — катастрофа, расплзается подобно амебе, захватывает и глотает она людские души. Я бы сказал, она набирает скорость, вошла в жизнь прочно и видится уже не только в деградации природной среды, но и в массовом психозе людей. Ею сегодня обусловлена культура, экономика и тенденции развития пропитанного бюрократизмом общества. Книжки о природе очень нужны! Они должны лечить детские души. Вы же сами знаете, что не читают дети книжки по этике, эстетике. Это же противоречит самому духу их природы, их фантазии и желаниям. А вот книжки о природе, которые так или иначе связаны с приключениями, открытиями, я говорил — читают. Да еще как! Поэтому стоит перед нами благородная задача — писать только хорошие книжки.

Писатель вздохнул.

— Что-то я не в меру разговорился. Давайте-ка лучше послушаем песню полуночника.

Все это время, пока говорил он, козодой не умолкал. Из-за освещенных луной барханов к звездам и редким облакам рвалось его стремительное, бесконечное «уэrrrrrrrrrr.....». Нехитрая песня козодоя всегда узнаваема. Мелодичная трель, подобно зримой перламутровой цепи, тонула в темноте туранговых рощ, таяла над песками и доставала до самых далеких звезд.

Потрескивал костер. Саксауловые головешки обметывал хлопьями пепел. Седая тучка внезапно закрыла луну. Темной кошкой она бесшумно шла и ширилась. Свет небес теперь выливался за ее обрезом, воздух стал серебристым, и золотая стежка на реке налилась холодным сиянием. Огнистыми кольцами взбучивалась и ходила вода, снова кто-то, чавкая и хлюпая, подсасывал берег. Луна же, то глазом разыгравшейся кошки, то засыпающей совы, глядела между полосами светлого дыма облаков. То обретала выражение свирепости, закатываясь под козырек плывущего облака, становилась ликом божественной невинности и печали. И так бесконечно, сколько ни смотришь, оказывалась проглоченной пастью, украденной, похищенной, то сияла глазом знакомых и вовсе неизвестных зверей, птиц, небесных великанов, всевозможных чудищ. Или вовсе, весело, золотым яблоком выкатывалась она на серебро тучки. Смотреть на

К поющей горе

Тишину, застоявшуюся над рекой, в легком, розовеющем тумане, вспорол отдаленный рокот моторной лодки. Нас четверо. Мы ее ждали. Должен был подъехать егерь и отвезти нас, как было условлено, к Поющему бархану. Вскоре из-за поворота показался опрокинутый вверх основанием треугольник. Он гнал и взбуривал перед собой кружевную волну. «Казанка» причалила к дощатому настилу прямо у кордона.

— Ну, как, едем? — обратился к нам молодой егерь.

— А как же. Без лодки туда никак. Бархан же на той стороне Или, — ответил и схватил за крюк лодку Максим Дмитриевич. Он чуть подтянул ее и показал нам глазами, чтобы садились.

Гремя дюралевыми бортами, лодка кренилась, хлопая дном, и медленно погружалась под нашей тяжестью. Чуть навалившись, Максим Дмитриевич толкнул ее от причала и в легком прыжке оказался на носу. На четвереньках он перебрался в трюм, сел на переднюю деревянную лавку, пропахшую рыбой и солнцем. Зарываясь в рыжую воду, натужно гудя, «Казанка» пошла против течения, содрогаясь от ударов встречной волны. Поэтому и казалось, что ехали на телеге по разухабистой, разбитой дороге. До места высадки от кордона чуть более десяти километров, и мы рассчитывали еще по холодку добраться до Поющего бархана.

Потянулись обрывистые берега, словно набранные кем-то из желтых, голубоватых и серых пластов и прослоек глины. Из них змеились над водой ржавые и серые корни, их обрывки и спутанные в колтуны тонкие, как белесые нити, корешки. По трещинам и нишам ютился еще мрак. Оттуда доносилось глухое воркование проснувшихся голубей. Обогнув высокий мыс, лодка резко взяла влево. Показались плоские заиленные острова с темными зарослями тугаев. Время от времени над нами пролетали черные крачки. Их медленный полет, безмолвность только усугубляли уныние берегового ландшафта.

Каждый раз, как только мы оказывались у излучины, оживала и бугрилась вода, тяжелая от смеси песка и глины. Схлестываясь, тугие струи водоворота рождали вихрастые волны, вскипали кружевной пеной и белозубо скалились, пытаясь достать и лизнуть гудящие борта лодки.

— Во-он до той сопки, — стараясь перекричать гул мотора, показывал Максим Дмитриевич на плоскую горushку за очередным поворотом. По левому берегу встали тугаи. Теперь сплошной лентой они тянулись вдоль берега, по островам. Сквозь гул и рокот пробивались печальные голоса кольчатых горлиц и взрывное щелканье соловьев. Голоса их еще больше оживляли повеселевшие заросли. Вскоре совершенно внезапно из-за очередного поворота поднялся могучий бархан. Острый, как у петуха, гребень его начинался от берега и уходил к северу, к горам. Расступившись, они стояли, будто угрожая мощью черно-лиловых скал. В лучах встающего солнца бархан казался сотканным из тонкой, розоватой дымки. На склонах голубовато-сизые тени плоских западин. Над его горбами плескалась беспокойная грива из песка и солнца. Игра утреннего света, теней и легкого мрака гор создавали свою гамму красок. Дикость, запустение, неразбуженность, что стало своего рода реликтовой экзотикой, обвораживали.

Егерь заглушил мотор, равнодушно глянул из-под козырька зеленой фуражки на нас. «Приехали вроде бы!»

Лодка мягко ткнулась в илистый берег.

— Когда за вами назад-то? — не дожидаясь ответа, спросил он, извлек из-под сиденья скомканную жестяную банку и стал вычерпывать сверкающую бензиновой радугой воду.

Максим Дмитриевич первым прыгнул на берег и подтянул «Казанку». Мы дружно выбрались из лодки на мокрый песок. Писатель достал платок, протер слезившиеся от встречного ветерка глаза. Глянув на загоревшие, жилистые руки егеря, сказал: — Вижу, часов у вас нет. У наших тоже ни у кого. Давайте, Володя, так. Мы делали так раньше еще, когда стояли здесь экспедициями. Как только солнце во-он на ту вершину горы подойдет, — показал он на горы Чулака, черные, как смоль, северные отроги Тянь-Шаня. — На той вершине, как закон, на закате тэки-рогачи, как сторожа, стоят. Посмотришь в бинокль: стоит, и солнце на рога ему садится. Бывало, все бросали, и к лагерю. Вот и вы приезжайте в это время. Мы будем тоже здесь.

Егерь перестал скрести банкой дно лодки. Разговор о тэках ему показался интересным.

— Это точно, — подхватил он, — чего-чего, а козлов там навалом, — пуская дым через темно-каштановые усы с обгоревшими от солнца концами, говорил он. — Нигде не видел столько, сколько их у нас. Поставили кордоны, зверем забогатели горы. Давно бы так охранять следовало, а не на бумаге. — Он еще нахваливал и горы, и козлов, щуря синие, как лепестки ириса, глаза, пока не докурил сигарету.

— А знаете, — продолжал Максим Дмитриевич, — в те годы, как я говорил уже, часов у нас не было, а возвращаться к лагерю надо было вовремя, так мы каждый раз поглядывали — высоко ли солнышко? Скоро ли на ужин? И представляете, в час заката обязательно, часовой будто, объявляется козел на горе. Незабываемые минуты! Солнце тихо и прямо на рога — как в сказке восточной! Кажется, изжарится. А он гордый, неподвижный, как из камня, стоит Властелин настоящий! Больше никак не скажешь. Как сейчас перед глазами черный силуэт. Годы прошли, а все вижу, не могу забыть. Красиво! Сядет за гору солнце, а фигура его, освещенная снизу, медленно тает в наступающих сумерках. Фотографировал — не получилось. Рисунки есть. Рисовал даже. Приходили, бывало, в лагерь и как раз успевали ужин сготовить, и на отдых. Трудные, но интересные времена были. И что еще — в последующие годы бывал здесь, а тэк, как и прежде, в этот час обязательно на вершине появлялся. Тот или другой — не знаю. Но выходил, чтобы проводить день. Надеюсь, и сегодня увидим. Вот тогда и придем к берегу.

— Подтолкнем, — попросил Максим Дмитриевич стоящего рядом Володю.

Они оба налегли на лодку. Нехотя, с шипением, она подалась с засосавшего днище берега и, словно почувствовав свободу, легко осела, вскинулась и, покачиваясь, закружилась на волнах. Взорвался мотор, взбурив у винта рыжую волну, и накренившись на бок, оставляя кипучий белый след, она помчалась вниз, потом скрылась за ближним обрывом.

— Ну вот и приехали, — оглядываясь, сказал Максим Дмитриевич. — А теперь, пока не очень жарко, пойдёмте.

Прижимая к груди бинокль, он поднялся на ближнюю грядку. Глазам открылась красота и величие пустыни. На поющем бархане четко видны складки ветра. Одолевая скрипучий песок, идем к легендарной горе.

В литературе, которая мне попадалась, говорилось, что это «бархан». Но сейчас, когда, возвышаясь, он закрывал от нас весь южный горизонт, то этот переросток никак иначе и не назовешь, как гора. Огромная песчаная гора! И прав писатель Зверев, когда один из сборников своих рассказов назвал «На зов таинственной горы».

Длина горы не менее километра, ширина — метров в двести. Но по привычке мы называем его барханом, что отвечает форме и природе его.

Плывет и шипит под ногами песок. Зной усиливается. Поглядываем на худосочную тень под ажурными саксаульниками. Выходим на бугры, ископанные, в темных провалах нор — колония полуденных песчанок. Ноги погружаются по щиколотку. Поселения их давние. Об этом красноречиво говорят обгрызенные до вершин саксаульники. Сразу и не подумаешь, что паслись шустрые, величиной с крысу, и энергичные зверьки, а не, по крайней мере, семейство верблюдов. Только им доступны макушки двух-и трехметровых деревьев.

Останавливаемся, чтобы успокоить дыхание, как следом наваливается тишина. Мир кажется оглохшим. И слышно, как в висках бушует кровь, стучит расхоловшееся сердце, и прерывистое, жаркое дыхание спутников. Саксаульники, и похожие на пауков коричнево-зеленые кусты жузгуна, победно восседающие на вершинах барханов, и открывшиеся глазам холмы, дюны, — все кажется впаянным в янтарный свет, в гнетущее безмолвие и затаенность. Пески изрисованы следами ящериц, тушканчиков, песчанок и насекомых. Все они неизменно уводили в заросли белостволых саксаульников, сливаясь с их тенями.

На нашем пути время от времени встречались деревья — патриархи. Толстые, корявые, они приковывали взгляд. К одному из них и подошел Максим Дмитриевич. Потрогал, похлопал как старого приятеля, чему-то улыбнулся. Сел, привалившись к стволу спиной. Мы охотно последовали его примеру. Я тоже ощущал приятную прохладу древнего ствола. Тем временем старый натуралист, измерив карточкой поперечник саксаула, что-то записывал. Что привлекло его? Ствол, как натруженная нога неизвестного чудища, искалеченная ревматическими наплывами, в сгустках окаменевших мышц и вздувшихся вен? Старческие узлы, задубевшая костяная кора, отбеленная солнцем, закаленная зноем и морозами, кажется, бросает вызов самому времени? На стволе закодированные записи ушедших веков, вечность живого, слитого с прахом неотстраняемой глетворности, прошлого, молодости писателя? И он видит и находит следы минувшего, осознавая вечность красоты и уродливости, слитых в неотторжимое единство. Разве можно теперь найти и освежить в памяти прошлое? Все бесследно. Годы перемели, пересыпали, унесли следы его молодости, оставленные более полувека назад. Мне так захотелось хотя бы на мгновение пережить эти ощущения, которыми жил писатель, оказавшись на творческом полигоне.

— Тяжело? Жарко? — обращаюсь к писателю.

— Что вы! — он поднял задумчивые глаза. — Напротив даже. Я дома. Кажется, узнаю эти деревья. Сколько красоты приросло на них за эти

Егерь заглушил мотор, равнодушно глянул из-под козырька зеленой фуражки на нас. «Приехали вроде бы!»

Лодка мягко ткнулась в илистый берег.

— Когда за вами назад-то? — не дожидаясь ответа, спросил он, извлек из-под сиденья скомканную жестяную банку и стал вычерпывать сверкающую бензиновой радугой воду.

Максим Дмитриевич первым спрыгнул на берег и подтянул «Казанку». Мы дружно выбрались из лодки на мокрый песок. Писатель достал платок, протер слезившиеся от встречного ветерка глаза. Глянув на загоревшие, жилистые руки егеря, сказал: — Вижу, часов у вас нет. У наших тоже ни у кого. Давайте, Володя, так. Мы делали так раньше еще, когда стояли здесь экспедициями. Как только солнце во-он на ту вершину горы подойдет, — показал он на горы Чулака, черные, как смоль, северные отроги Тянь-Шаня. — На той вершине, как закон, на закате тэки-рогачи, как сторожа, стоят. Посмотришь в бинокль: стоит, и солнце на рога ему садится. Бывало, все бросали, и к лагерю. Вот и вы приезжайте в это время. Мы будем тоже здесь.

Егерь перестал скрести банкой дно лодки. Разговор о тэках ему показался интересным.

— Это точно, — подхватил он, — чего-чего, а козлов там навалом, — пуская дым через темно-каштановые усы с обгоревшими от солнца концами, говорил он. — Нигде не видел столько, сколько их у нас. Поставили кордоны, зверем заботатели горы. Давно бы так охранять следовало, а не на бумаге. — Он еще нахваливал и горы, и козлов, щуря синие, как лепестки ириса, глаза, пока не докурил сигарету.

— А знаете, — продолжал Максим Дмитриевич, — в те годы, как я говорил уже, часов у нас не было, а возвращаться к лагерю надо было вовремя, так мы каждый раз поглядывали — высоко ли солнышко? Скоро ли на ужин? И представляете, в час заката обязательно, часовой будто, объявляется козел на горе. Незабываемые минуты! Солнце тихо и прямо на рога — как в сказке восточной! Кажется, изжарится. А он гордый, неподвижный, как из камня, стоит Властелин настоящий! Больше никак не скажешь. Как сейчас перед глазами черный силуэт. Годы прошли, а все вижу, не могу забыть. Красиво! Сядет за гору солнце, а фигура его, освещенная снизу, медленно тает в наступающих сумерках. Фотографировал — не получилось. Рисунки есть. Рисовал даже. Приходили, бывало, в лагерь и как раз успевали ужин приготовить, и на отдых. Трудные, но интересные времена были. И что еще — в последующие годы бывал здесь, а так, как и прежде, в этот час обязательно на вершине появлялся. Тот или другой — не знаю. Но выходил, чтобы проводить день. Надеюсь, и сегодня увидим. Вот тогда и придем к берегу.

— Подтолкнем, — попросил Максим Дмитриевич стоящего рядом Володю.

Они оба налегли на лодку. Нехотя, с шипением, она подалась с засосавшего днище берега и, словно почувствовав свободу, легко осела, вскинулась и, покачиваясь, закружилась на волнах. Взорвался мотор, взбурив у винта рыжую волну, и накренившись на бок, оставляя кипучий белый след, она помчалась вниз, потом скрылась за ближним обрывом.

— Ну вот и приехали, — оглядываясь, сказал Максим Дмитриевич. — А теперь, пока не очень жарко, пойдете.

Прижимая к груди бинокль, он поднялся на ближнюю гряду. Глазам открылась красота и величие пустыни. На поющем бархане четко видны складки ветра. Одолевая скрипучий песок, идем к легендарной горе.

В литературе, которая мне попадалась, говорилось, что это «бархан». Но сейчас, когда, возвышаясь, он закрывал от нас весь южный горизонт, то этот переросток никак иначе и не назовешь, как гора. Огромная песчаная гора! И прав писатель Зверев, когда один из сборников своих рассказов назвал «На зов таинственной горы».

Длина горы не менее километра, ширина — метров в двести. Но по привычке мы называем его барханом, что отвечает форме и природе его.

Плывет и шипит под ногами песок. Зной усиливается. Поглядываем на худосочную тень под ажурными саксаульниками. Выходим на бугры, ископанные, в темных провалах нор — колония полуденных песчанок. Ноги погружаются по щиколотку. Поселения их давние. Об этом красноречиво говорят обгрызенные до вершин саксаульники. Сразу и не подумаешь, что паслись шустрые, величиной с крысу, и энергичные зверьки, а не, по крайней мере, семейство верблюдов. Только им доступны макушки двух-и трехметровых деревьев.

Останавливаемся, чтобы успокоить дыхание, как следом наваливается тишина. Мир кажется оглохшим. И слышно, как в висках бушует кровь, стучит расхолодившееся сердце, и прерывистое, жаркое дыхание спутников. Саксаульники, и похожие на пауков коричнево-зеленые кусты жузуна, победно восседающие на вершинах барханов, и открывшиеся глазам холмы, дюны, — все кажется впаянным в янтарный свет, в гнетущее безмолвие и затаенность. Пески изрисованы следами ящериц, тушканчиков, песчанок и насекомых. Все они неизменно уводили в заросли белостволых саксаульников, сливаясь с их тенями.

На нашем пути время от времени встречались деревья — патриархи. Толстые, корявые, они приковывали взгляд. К одному из них и подошел Максим Дмитриевич. Потрогал, похлопал как старого приятеля, чему-то улыбнулся. Сел, привалившись к стволу спиной. Мы охотно последовали его примеру. Я тоже ощущал приятную прохладу древнего ствола. Тем временем старый натуралист, измерив карточкой поперечник саксаула, что-то записывал. Что привлекло его? Ствол, как натруженная нога неизвестного чудища, искалеченная ревматическими наплывами, в сгустках окаменевших мышц и вздувшихся вен? Старческие узлы, задубевшая костяная кора, отбеленная солнцем, закаленная зноем и морозами, кажется, бросает вызов самому времени? На стволе закодированные записи ушедших веков, вечность живого, слитого с прахом неотстранимой тлетворности, прошлого, молодости писателя? И он видит и находит следы минувшего, осознавая вечность красоты и уродливости, слитых в неотторжимое единство. Разве можно теперь найти и освежить в памяти прошлое? Все бесследно. Годы перемели, пересыпали, унесли следы его молодости, оставленные более полувека назад. Мне так захотелось хотя бы на мгновение пережить эти ощущения, которыми жил писатель, оказавшись на творческом полигоне.

— Тяжело? Жарко? — обращаюсь к писателю.

— Что вы! — он поднял задумчивые глаза. — Напротив даже. Я дома. Кажется, узнаю эти деревья. Сколько красоты приросло на них за эти

годы! У человека прибывает мудрости, у деревьев — красоты. Люблю старые деревья, старинные парки. В молодости это не ценится, как и многое прекрасное, истинное. В том и роскошь юности, к сожалению, скоро проходящая. Вот смотрю на саксаул и невольно сравниваю с кедром сибирским. У него прекрасный рисунок жизни! Свой! Особый! А знаете, сколько грибов в сибирской тайге? И самый замечательный — мухомор! А сколько пенечков и сочных мхов. Красивые пни, особенно старые! А если говорить вообще, то каждый уголок земли прекрасен. И я предлагаю еще несколько минут повременить со штурмом бархана.— С этими словами он снимает фуражку, бинокль и вешает их на ветку дерева, и продолжает очередную запись. Знаю, что на протяжении всей творческой жизни старый натуралист не изменяет классическому принципу Н.М.Пржевальского, что у путешественника памяти нет.

Наслаждаясь соломенно-желтой чистотой песка, отдыхаем в светлой тени, расстеленной в саксаульнике. В знойной дреме серебрятся песчаные акации. Стоит, одетый в светлую волокнистую рубашку, кустик козельца. Спутанными нитками и прядями, свитыми ветром, от него отходят тончайшие и длинные корешки в разные стороны. Над песками серые и коричневые, подобные шпагату и веревкам, корни жузгуна, натянuty, как струны. Трость — и зазвучат, забасят арфами Зола.

Володя вытащил из рюкзака фляжку и пустил по кругу. Восторженно щурясь, Максимка вытирал вспотевшее лицо, жадновато косился на фляжку и от нетерпения скреб густую шевелюру, неделю не знавшую ни воды, ни расчески.

Раскрыв дневник, Володя набрасывал контуры бархана. Он вскидывал подбородок, щурясь, вглядывался в линии песчаного колосса. Из-под его карандаша возникали черты двугорбой горы, похожей на верблюда, дремлющего под кругом солнца. Все для нас — жителей Алтая, было здесь непривычное. И что-нибудь постоянно удивляло. Поражали вороха полуистлевших, ржавых стволов. Перекрученные, завязанные в узлы, похожие на обрывки окаменевших удавов, застрявших среди пней, как среди морщинистых слоновьих ног.

— На этот посмотрите, — показывает Максим Дмитриевич. — Какой старый! Символом природы Средней Азии можно считать только саксаул. Он знаменитость, создает многовековое пространство солнечных широт. Я, например, равнодушен к нему. Пустыни, и без саксаула, представить трудно. Гляжу и прикасаюсь к своему прошлому. Экспедиционные неудобства, дикость, ветры и жажды этой земли помню. Главное — обилие жизни. Сколько птиц и зверей было! Мне кажется, это большую роль сыграло в становлении нашей, русской, литературы, связанной с природой. Сегодня мы обращаем внимание, в основном, на примеры негативного порядка. И это печально. Уже и представить трудно очаровательные леса черного и белого саксаула, которые покрывали огромные пространства пустынь Средней Азии и Казахстана. Ландшафты древности — торжество для натуралиста или охотника. Да, трудно было, — вздохнул он, — но интересно!

Настроившись на волну воспоминаний, прошлого этой земли, писатель сдвинул брови, резко обозначив складки губ. Склонился над листком.

Я же прильнул спиной к стволу. Он, словно железный, отдавал

прохладой. Твердые, каменные наплывы были тоже холодными. Кругом зной, а ствол прохладный, накачанный влагой.

Все здесь деревья со дня появления вынуждены сражаться насмерть с атакующими песками, изнурительным безводьем и самим, не знающим пощады, светилом. Вынуждены противостоять избытку всего, что его вскармливает. Будь в чем-то уступчивее деревце саксаула, и пустыня безжалостно поглотит, испепелит. Но оно выстаивает. Год от года мужает и выигрывает, поражая воображение даже тех, кто умеет прекрасное не видеть. Каждое дерево — пример поразительной приспособленности. Железный характер, условия, в которых растение живет, переплавились в крепкую и тяжелую, как свинец, древесину. На его уродливых стволах следы шершавых языков песчаных вихрей. Точат они его, как неизлечимая болезнь. Даже скалы Калканов изъедены до дыр, обсосаны до причудливых грибов, сталагмитов. Саксаул оказался живее, крепче и сильнее самого времени и поэтому удивителен. Деревья здесь выстояли и потому, что не бывает здесь людей. Поэтому и сохранились вороха лежалых стволов и столетних пней. И слава богу, что не жгут костров кочующие чабаны, не бывает и тех, кто смотрит на все через призму хозяйственника и рациональных действий.

Золотой верблюд

Солнце на взлете. Раскалены шелковистые пески. Быстро передвигаются светлые тени деревьев. Двухцветны в зебристой росписи бесчисленные барханы и дюны. И куда ни глянешь — сотни, тысячи, несметные полчища рифленых змеек теней и света. Они застыли, словно в летаргическом сне, но чутки и подвижны. Поднимется солнце над меридианом, и они растворяются в потоках слепящего света. Вечером снова выползут и будут дожидаться следующего дня.

Могучим, золотым верблюдом между черными скалами Больших и Малых Калканов прилег Поющий бархан: худая острая хребтина, бока обтянуты золотистой шкурой с бронзовыми вмятинами и складками. На брюхе, словно клочки свалывшейся шерсти от чахлых, испитых жаждой травы и жидкой саксауловой поросли. И тем не менее Верблюд великолепен в своем величии и гордом покое. Остропинный, горбатый, исполнен южной красоты, как в воротах первозданности, вытянул шею между скалистых отрогов. Вокруг тишина и безветрие, но над спиной, подобно нимбу, сверкают шлейфы песка. Таким я увидел в это утро песчаного монстра — виновника гипотез и толкований, легенд и домыслов.

— Ну что, штурмовать будем? — встает Максим Дмитриевич. Он внимательно всматривается в бархан, словно оценивая мощь его и красоту. Разморенные наступившим зноем, уже нехотя, следом и мы плетемся, стравивая из складок одежды струйки песка. Вдруг рядом слышим залиvistый голосок. Остановились. На полуразвалившемся саксауле пестрая длиннохвостая, похожая на маленькую сороку, птица.

— Пустынная форма большого серого сорокопута, — поясняет нам натуралист, разглядывая в бинокль солиста, который в одиночестве изливал нежную трель, оживляя могильную тишину песков.

— Обратите внимание, — говорит Максим Дмитриевич, шумно пере-

вода дыхание и наблюдая его в бинокль.— Видите, на брюшке налет желтизны. Хроматические оттенки свойственны почти всем животным-пустынникам,— что называем покровительственной окраской. А вот у нас, в Сибири, у этого же вида сорокопуга оперение и спины и груди чисто белое. Как снег! Он и остается там на зиму. Естественно, окраска помогает успешно охотиться. Это мелкий хищник, и ловит он птичек. А здесь, в пустыне, возьмите песчанку, зайца-толая, сайгака, джейрана, кулана, дрофу, сажду или еще кого — у всех в окраске охристые тона.— Писатель отнимает бинокль и, улыбаясь глазами, говорит: только с годами я не пожелтел, а побелел. Аксакалом называюсь. А кровь-то сибирская играет во мне.

Идем невысокими бугристыми грядами. На большой скорости проносятся стремительные ящурки линейчатые. Названные так за тонкий полосатый рисунок из темных и светлых линий вдоль тела. Выскакивали и, сломя голову, мчались прочь ушастые круглоголовки. От них заметный след вмятин. Ящерицы останавливались на вершине холма, как делают зайцы, поворачивали крупные головы и пристально смотрели. «Кто такие? Не догонят ли?» Серые, собранные в пучки складки, свисая по бокам головы, делали похожими их на песчаных зайцев — серых и ушастых, но крошечных, будто ты в стране лилипутов.

Одолев несколько подъемов, мы остановились перед Поющей горой. Волнистый гребень в полнеба. Шапку уронишь. Гора высокая и крутобокая. Золотым монстром лежит, усталым и отрешенным.

— А можно, я первый? — обратился к нам Максимка. Смотрел он вопросительно и озорно. Ведь стоило сделать один-три шага, и окажешься на песчаной горе.

— Чего ж, давай! Молодым у нас дорога! — ласково глядя на него, в пригласительном жесте развел руки Максим Дмитриевич. Смахнув с лица пот, счастливый Максимка шагнул и стал карабкаться, одолевая сползающие песчаные ползуну. Вскоре уже на четвереньках, погружая в песок руки, ползет он по-собачьи, пыхтит, обливаясь потом. Пошли и мы. Буксуя и теряя равновесие, опираясь на ладони, отталкиваясь от стекающей массы. Наконец-то, расперенные, мы на острой хребтине. Перед глазами ширь. Желтые и золотистые равнины и пески, лиловые и черные скалы Калканов. Всюду пшенично-желтые разливы усохшего злака костра, расклинивающие сизые берега полыневой дали. За синей лентой реки в плоских берегах кудрявились тугаи. Ничто не говорило о присутствии человека, и это придавало пространству особое очарование. Нетронутость, безлюдье и дикость стали экзотикой времени, осознавая это, мы были счастливы.

Раскинув по-птичьи руки, чтобы не свалиться, мы шли по узкому коньку. Казалось, сорвешься и, как с крутой крыши, кубарем полетишь вниз. Робость одолевала, и мы вынуждены были часто опускаться на четвереньки и, подобно паукам-бокоходам, продвигались с помощью рук или же ступали, как по лезвию, оставляя елочный след. Однако, чем выше, тем сильнее чувство опасности. Словно находились не на песчаной горе, а на головокружительной высоте крыши готического собора. И хотя осознавали, что гора-то не ледяная, можно не бояться, крутизна рождала страх. Добрались до середины. Вершина тонула в беснующихся над ней

вихрях. Смешанный с песком воздух, казалось, кипел, забивая уши, глаза и легкие. На зубах захрустело. Мы на одном из самых высоких горбов Золотого верблюда, уже покоренные безответственным страхом. Ни сесть, ни согнуться — ослепляют фонтаны песка. Уши моментально нагружаются. Приходится склонять набок голову и выливать сухие шуршащие струи. Здесь, на высоте, наблюдаем движение песка. Ручьями течет он снизу вверх, поднимаемый текущими из-под горы ветрами. Оттачивая гору с двух сторон, они схлестываются над ней, вытягивая вверх сыпучее острие. Не выдерживая постоянно под силой тяжести и крутизны, оно оплывает. И так без конца: сколько стояли, столько и длился Сизифов труд ветра. Теперь природа поющего песка показалась мне простой, даже прозаичной. Исчез смысл мудрствовать, изощряясь в построении гипотез о «тайне» Поющей горы.

Почему именно «Золотой верблюд» улегся и покоится здесь — между клыкастых гор Калканов, расположенных от него с обеих сторон? Почему здесь, не где-нибудь в стороне? Ответ только один: он детище их. Они породили гудящее веками чудо. Даже в штилевую погоду за счет различной прогреваемости воздуха в горной и равнинной части, у реки, согласно законам физики, перемещаются пласты горячего и более прохладного воздуха. Обтекая горы, они «фокусируются», порождая аэродинамическую тягу на острых отрогах Больших и Малых Калканов, направленных друг против друга. Встречные струи возрожденного ветра гонят вверх песок и, сшибаясь, как две ладони, сгребают песок в бархан — гору. Сила этих ветров в штилевую погоду незначительна, но постоянна, ежечасна и ежедневна. Оказавшись в непрерывном движении, песчинки заряжаются от трения. Песок наэлектризован. Оплывая, он вибрирует, рождая низкочастотный звук — мощный и таинственный рев. Благодаря «дующим» Калканам, он отточен до восхитительной остроты. Он не дает возможности укрепиться росту. Чистый и молодой вечно! Несомненно, что бархан многие тысячелетия существует. С тех самых пор, как появились пески и горы. А как давно это случилось, знают лучше геологи.

Поющий бархан — порождение любви или напротив — вражды Калканов. Взаимодействие, как и противодействие, — сила созидаящая. В этом одна из тайн жизни и «жутких» завываний Поющей горы. Солировать, как известно, он способен только в сухую погоду. После дождя песок слипается, и бархан молчит. Тогда он словно обман серой глиной — тяжелой и плотной. Он ждет солнца и ветра, своего часа.

— Давайте за руки возьмемся, — предлагает Максим Дмитриевич, — и прыгнем с вершины. Надо постараться побольше столкнуть перед собой песка. Он обязательно загудит.

Так и поступаем: беремся за руки, дружно прыгаем, сталкивая как можно большую массу. Тотчас в тишине возрождается низкий и тягучий, как медовая струя, звук. Гора загудела! Будто отходящий от далекой пристани пароход. Не в меньшей степени мы потрясены и тем, что бархан стало лихорадить. И кажется, встанет, расправит ноги спящий гигантский верблюд и поднимет свои горбы вместе с нами под самые облака. Трудно передать ощущение непривычного. И как бы ни была раскрыта его безобидная тайна, возобладают возбуждение и восторг. Под нами чудо, и мы слышим его таинственный зов.

Скатившись, мы продолжаем сидеть у вершины, засыпанные горячим песком. Нам ничего не стоит заставить гудеть саму гору.

Максим Дмитриевич набирает горсть песка, как воду льет его между пальцев.

— А знаете,— говорит он,— гляжу и, не поверите, представляю зиму и метель. Нелепо, казалось бы, сидеть на горячем бархане и вспоминать сибирскую зиму, метели с воем и свистом. Детство, страхи и переживания, когда неделями бушевала вьюга. У нас в Сибири, как если уж зарядят, то надолго. И представляете, такие барханы наметет за ночь, что не только двор, дом родной не узнаешь. Теперь что-то изменилось. Не стало таких снегов. Теряется своеобразие края.

Еще и еще говорил писатель о своих неуместных переживаниях, сопоставляя противоположные состояния природы. Слушая его, все-таки трудно представить зимы и метельные снега. Казалось, сейчас весь белый свет страдает от зноя и жажды. И голос горы есть не что иное, как отчаяние Золотого верблюда.

— А знаете,— заговорил вновь Максим Дмитриевич после недолгого молчания,— мы с Максимкой неординарные посетители сей чудной горы. Максимка самый молодой из тех, кто здесь когда-то бывал. Сколько тебе, десять? — спросил он у него.

— Нет еще, будет только. Пока девять, десятый,— отвечает юный землепроходец, запустив руки в шелковистую гриву умолкшей горы.

— Правильно, мне тоже десятый пошел. Самый древний, значит, из аксакалов. Хотя мы с Максимкой ровесники,— лукаво глянул он на своего «сверстника». Мы с ним сегодня именинники. Два Максима — старый да малый. И это прекрасно,— добавил он, вставая.— Пока вы здесь фотографируете, изучаете,— говорил он нам,— я спущусь в саксальники. Прилягу в тенечке, запишу кое-что.

Скользя, как на лыжах, он легко спускался по оплывающему песку. Следом, чуть слышно, плыл слабый и тревожный гул. Бархан напевал ему о чем-то таком, что уже было в прошлом, нам не понятном.

Травы памяти

Шестой день живем в егерском домике на берегу Или. Все эти дни над пустыней нестерпимый зной. Растревоженный, загустевший от жары воздух трясся над песчаными холмами, туманил лиловые тугаи северного горизонта. И, казалось, растекались, обретая расплывчатость и размытость, берега. На деревьях у кордона листья лишились влаги, обвисли и обмякли. Глинистая земля пересохла, растрескалась. Из ее угольно-темных трещин ближе к вечеру вылезали черные толстобрюхие сверчки. Еще день-два без дождя — деревца не вынесут, засохнут. Пузатый от постоянного переедания с нашего стола, покрытый свалывшейся в колтуны шерстью, рыжий щенок целыми днями в изнеможении лежал в тени у порога, раскинув белоконые лапки. Он много спал, и с языка его стекала прозрачная сонная слюна. Мехаи вздымались и опадали бока, и казалось, что он вот-вот испустит дух, не выдержав убийственного зноя. Осмелевшие вовсе мухи осаждали его, они лезли в глаза и мокрую пасть.

Щенок вставал, но тут же мягко валился на бок, вздрагивал, повизгивал в скоротечном тяжком забытьи.

Максимка в который раз выносит ему в помятой алюминиевой миске воду. И тогда щенок встает сонно, с полузакрытыми глазами, жадно шлепает языком, захлебываясь и фыркая. Сильнее раздуваются рыжие бока от выпитой воды и он походит на толстый бурдюк на четырех тонких лапках. Напившись, некоторое время с кроткой благодарностью он смотрит на мальчугана, и, вяло вильнув хвостом, падает и еще тяжелее двигает раздувшимися боками, испытывая большее неудобство.

Мы тоже предельно устали. Отяжелели. Только с утра, по холодку бродили в песках вокруг кордона, а в полдень валились на чистые простыни на деревянных кроватях комнаты, наслаждаясь прохладой и покоем.

— Ну что, скоро будем сомов есть? — шутивым тоном говорит Володя, обращаясь к Семену Давыдовичу, развалившемуся на кровати у окна. Семен Давыдович сдергивает белую с длинным козырьком кепку, потирает кремовую от загара лысину, уверенно, но пряча улыбку, отвечает:

— Завтра утром обязательно! Не зря же купили пять бутылок масла постного, более трех кг лука, да почти пуд картофеля, а специй сколько! Не пропадать же! Пальчики облизывать завтра будете. Такого еще не было, чтобы Кустанович и рыбы не поймал.

Рыбак наш крутится в постели и, загнав ладони под подушку, где попрохладнее, вскоре засыпает, посвистывая бронхами.

Володя уже устал лежать, он садится на брошенный в угол спальник, раскрывает полевой дневник и что-то пишет.

Володя по профессии художник. Прекрасно рисует и вот уже несколько лет, где бы с ним ни были, аккуратно и тщательно записывает события каждого дня.

С кровати вижу, как старательно на страничке он выводит: «17 июля 1984 года, Аяккалкан!..»

Тем временем Семен Давыдович, раскинув ноги и подложив белые еще до локтей руки под голову, наслаждается отдыхом.

— Утром забросили удочку с лягушонком, — говорит он, глядя в потолок. — Это считай все: сом обязательно будет! В прошлом году, — продолжал он, как бы сам с собой, — здесь же с Максимом Дмитриевичем ловил эдак по пять-семь кило. Во каких! — Он привстал, растянул во всю ширину руки и сделал бы их еще шире, был бы больше ростом. Потом с некоторой досадой на то, что проклятые сомы в этом году не ловятся, пускается в долгие пояснения рыболовных неудач.

— Такого еще не было, чтобы я не поймал сома, Максим Дмитриевич? — обращается он к писателю, появившемуся из-за марлевого занавеса на дверях прихожей. — Было когда-нибудь, чтобы я не накормил вас в подобных поездках?

— Да-а, — подключается Максим Дмитриевич, вспоминая рыбалку, — вот таких ловили, — и тоже на рыбацкий манер разводит руки. В одной у него карандаш, в другой желтоватая картонная карточка. Он только что делал записи, сидя на крыльце, в тени навеса. Он садится на свою постель, из-под подушки достает наподобие узбекской тюбетейки сетку в черном ободке, надевает на голову. Поправляет выбившиеся пепельные волосы

и, как обычно, низким голосом с легкой хрипотцой, поглядывая через стекла очков, которые не успел снять, ведет разговор. Надевает он очки редко и только во время работы. Глаза через стекла непривычно маленькие. В них воспаленность и усталость. Перед поездкой он говорил, что последние месяцы упорно работал над подготовкой трехтомника, который должен выйти из печати к его 90-летию.

— Попалась сейчас карточка,— говорит он,— которая давно отлеживается в моей картотеке.— Писатель поудобнее умащивается на краю кровати.— А дело вот в чем,— поправив очки, он вчитывается, шевеля губами. Затем снимает очки, откладывает в сторону.— Так вот, давно уже егерь один рассказывал, как с кошкой, а кошка была гибридом домашней и дикой, с ней здесь, на Или, в тугаях, он охотился на фазанов и зайцев. И что странно: кот успешно ловил фазанов, если это были подранки. Зайцев он скрадывал сам и догонял. Вот ведь удивительно! Приучить к охоте кошку — невероятно! — Писатель снова надевает очки и опять читает свою карточку.— И вот чем кончилась вся эта охота. Кто-то из его компаньонов-охотников подстрелил однажды в тугаях дрозда-дерябу. Ну и что же? — как бы сам себя спрашивает,— кот, конечно, поймал его и, пока хозяин шел, он съел дрозда. Наелся, понимаете ли, и ушел.— Максим Дмитриевич, восторгаясь инстинктом животного, или от легкой досады шлепает себя по коленям.— Вот ведь животное, наелся и сразу ушел! Вот уж поистине, сколько волка ни корми...

— Так и не нашел кота егерь? — спрашиваю.

— Нет, с концом! Дикарство и независимость оказались сильнее всякой выучки. Этого ожидать и следовало. Но факт, что кот на охоте!.. Больно интересно, такое независимое животное и в помощниках человека.

— А чего хозяина-дармоеда кормить? Понял, что может прокормить-ся сам, и правильно сделал, что ушел,— добавляю к сказанному.

— Ага, так и получилось. Будто, и правда, понял, что хозяин ему обуза,— смеется Максим Дмитриевич.— Вот ведь видите, и кошку, оказывается, можно к охоте приучить. Очень интересный это и очень редкий случай,— добавляет он.— А когда еще жил в Сибири, так однажды тоже встретил мальчишку. Так он, знаете, с кошкой на бурундуков и тоже успешно охотился.— Максим Дмитриевич бегло оглядывает нас.— Вот ведь какие факты интересные! Кстати, есть старинная история, которая тоже лишний раз доказывает силу инстинкта кошки. Старики ее рассказывали мне. Русские цари содержали при дворе шутов. Они были их любимцами. И «государь» многое шуту позволял. Так вот, жил при царе шут Балакирев. А у царя был любимый сибирский кот, который часто отлеживался у него в рабочем кабинете. Ну раз уж кот при самом «государе», то это тоже было особенное существо — царское, и его обучали разному и, главное, чтобы он был управляем и не реагировал хотя бы на мышей. Разве можно дворцовому коту на мерзких мышей размениваться? Царь гордился своим любимцем. Он уверен был, что коту его и в голову не придет мышей гонять. И вот однажды, когда самодержец подписывал бумаги на смертный приговор какого-то Тараса Плещеева, любимого народом, в это время в кабинет вошел шут и говорит: «Государь, Ваше величество, вы изволите утверждать, что наука сильнее инстинкта. Я много думал об этом и не согласен. Могу доказать, что это не всегда

так». «Что ты хочешь сделать? — строго глянул царь на своего шута. — У тебя есть доказательства?»

— «Да, государь, и хочу сейчас, не сходя с места, показать, что это именно так. Вот кот, ваше величество, ученый, но низменные кошачьи инстинкты в нем сильнее всякого воспитания. Как и всякая бедняцкая кошка, он обожает мышей и предпочитает их всем другим угощениям и дворцовым этикетам». «Что ты говоришь? Этого быть не может! К нему же приставлен слуга и мой кот...» Царь глянул на дремлющего около чернильного прибора любимца. Кот, сощуриив глаза, тихо и безмятежно мурлыкал, не реагируя на необычный спор. И тогда шут вынул из кармана сюртука мышь, привязанную за лапку ниткой. Пустил ее на пол. Кот услышал шорох, открыл глаза и в мгновение бросился на мышь. Прыгая, он опрокинул чернильный прибор, бумаги оказались залитыми. По этой причине в назначенное время казнь не состоялась. И по существующим в то время законам, приговор был отменен.

Удивляет, как это старый натуралист, знавший-перезнавший на своем веку, видевший-перевидевший разного, сейчас, в этот зной, когда говорить-то лень, не отлеживается, работает и вынашивает какие-то мысли. Вспоминает давно пережитое, удивляется. И вот, найдя у себя старую запись, возвращается к факту, который давно стал историей. И снова его переосмысливает для рассказа. Откуда черпает он силы, чтобы удивляться? Где источник неиссякаемого вдохновения?

В комнату заходит Максимка, вытирает вспотевший нос, по-мальчишески скребет густую кудрявую шевелюру.

— Папа,— обращается он ко мне,— наконец-то!

— Что случилось? — спрашиваю.

— Во-он там, на горизонте,— показывает он за дверь,— тучки появились. Наверное, наконец-то дождь будет, хоть маленько жара спадет.

— Ну да? — не верит Володя, отложив рисунок.

— Дождь с самого утра собирается,— поддержал Максим Дмитриевич и, увидев на наших лицах недоумение: «такая жара и вдруг так просто дождь?!..» — ничего удивительного,— добавляет он и смеется.

— Кошка утром у егеря спала, свернувшись и уткнувшись носом в живот. Вот и все. Чутьочку внимательнее нужно быть, господа натуралисты, тогда природа,— с иронией декламирует он,— откроет вам все свои тайны!

— И еще один есть верный признак, что будет дождь.— Он лукаво смотрит, что мы скажем на это. И не дождавшись ни ответа, ни вопроса, говорит: — Кости мои старые со вчерашнего вечера побаливают. Вот видите, как все просто и все за то, что дождь будет.

Он стягивает кирзовые сапоги, ставит их около порога и тоже валится на кровать. Достает из-под подушки маленький, выдавший виды портативный, стянутый изолентой радиоприемник, включает и настраивает на «Последние известия».

Я вышел на крыльцо. «Неужели и вправду дождь в прокаленной пустыне?» Сухой и горячий воздух пахнул в лицо. У окрайка неба, на западе, полоска черных туч ширилась и росла над отрогами Джунгарского Алатау. Громадной лиловой грядой они врезались в желтую приилийскую равнину. Ветер тянул с гор. Тучи, заметно глазу, седали, ворочались,

обретая причудливые формы. Закрыв вскоре полнеба, наливались дымными оттенками, тяжелели, неуклюже толкаясь. Окрайки их зажглись золотисто-огненным сиянием. Сквозь дыры темного небесного полога прорывались и косо ложились на притихшие барханы полосы света. Налилась краснотой вечерних далей пустыня. Росла гнетущая настороженность. Пески и далекие горы исполнены ожидания тревожных перемен. Сверкнула молния, будто, взметнув огонь, кто-то пальнул по стаду серо-темных зверей. Гром затих и на короткое время наступила гнетущая тишина. По крыше внезапно, приступом застучали первые капли. Дождь набрал бешеную силу. Дробно заговорила черепичная крыша. С карниза повисли струйки воды. Воздух вскипал от парящих песков. Влажно, удушливо задышала опаленная солнцем земля.

Мы стояли на крыльце, наслаждаясь музыкой нежданного, но желанного дождя. Ровный блеск воды в протоке среди тростников потемнел, и от падающего дождя она бурлила серебром. Максим Дмитриевич сел на опрокинутое ведро и с тихой тревогой смотрел в помутневшее небо. Руки его, чуть вспухшие, недвижно лежали на коленях.

— Редкость-то какая, дождь в пустыне! — говорил Семен Давыдович, глубоко запустив в карманы брюк руки, покачиваясь телом.

— У нас на Алтае другая редкость — ясные дни. Особенно этот год дождливым выдался, — говорил Володя.

Смотрю на Максима Дмитриевича. «О чем думает в эти минуты? Сколько им пройдено в жизни дождливых дорог? Может, шум падающей воды напомнил о сибирских дождях или тех, под которыми он мок на Алтае, когда еще студентом ездил в экспедиции с известным отечественным ботаником Василием Васильевичем Сапожниковым? А может, наоборот? Мысли его не о горных дорогах юности, а о знойных пустынях Прибалхашья и Приаралья, которые он изучал уже в зрелые годы, или вспоминает о песках Поющей горы тех лет, когда впервые бывал здесь». Всматриваюсь в задумчивое лицо старого натуралиста. По-доброму завидую его по-своему трудной и красивой жизни, которая прошла горными дорогами, опасными крутяками, лесами, через топи, пески, сквозь зной и стужу, сквозь десятилетия писательских исканий и годы напряженной работы. Чтобы пройти все это, удивиться и поделиться радостью собственных открытий, надо обладать неистребимой силой, страстью, надо родиться под счастливой звездой романтических скитаний и утвердиться в творческом подвиге.

Дождь, не переставая, стрекотал на крыше, хлестал по перилам, обдавал брызгами. Максим Дмитриевич по-прежнему сидел, не шелохнувшись, будто был один, и только ему понятна эта изначальная музыка дождя и лета.

Прижавшись щекой к косяку навеса, полуобняв его, Максимка тоже молча вслушивался, открыто и безучастно смотрел. Лишь на короткое время взгляд его оживал: в глазах появлялся скрытый восторг, и тут же, по-взрослому, наполнился легкой грустью. Для него все здесь впервые: и пустыня, и дождь, и гроза тоже. Он открывал для себя пески в другом, индивидуальном измерении, качестве и, наверное, он тоже запомнит эту музыку буйного дождя на всю жизнь. В который раз невольно сравнивал

я их: один стоит у истоков жизни, незаметным ручейком начинается, другой — полноводная река, одолевшая кручи и водопады, опасные прижимы, испытавшая сполна радость свободы равнин, а теперь устало и могуче несущая себя в море удивительной человеческой зрелости.

Мы молча утирали лица от разметавшихся брызг. Дождь загустел до ливня и, казалось, резвился под брюхом громадной черной тучи, раскаты еще гремели в скалах где-то на Большом Калкане, а со стороны Джунгарского Алатау небо быстро светлело, наливалось бирюзой. Пустыня ждала солнца.

Подобрав перо, медленно переставляя будто надломленные посередке тонкие лапы, на протоку из тростников вышла серая цапля. Сколько здесь живем, столько она здесь и кормится. Мы привыкли к ней и не удивлялись, когда часами, неподвижно, она стояла на протоке, выслеживая мальков и лягушек. Цапля на редкость свето-сизая. Порой казалось, что она не серая, а белая.

— Не гибрид ли? — глядя на нее, говорю.

— Может, и нет. Просто она такая же старая, как и я, — шутит Максим Дмитриевич, прилаживая к глазам бинокль, чтобы получше рассмотреть.

— Ничего подобного! Это светлая вариация вида, — подрезает сухо Семен Давыдович.

Как на параде, цапля делает несколько осторожных, даже пружинистых шагов, забавно поднимая ноги, вытянув вперед голову. Она напряжена и сосредоточенно вглядывается куда-то вперед. Всем понятно: кого-то заметила и стоит в позе рыбака, вся во внимании. Вдруг птица замерла, застыла, окаменела с поднятой лапой, отчего походила на искореженную кем-то и заброшенную в воду кочергу. Цапля смотрит вправо, влево, сбитая с толку шлепками дождевых капель.

— Пап, может, она думает, что это рыбы вокруг всплескиваются? — спрашивает Максимка, но я не успеваю ответить ему, как рыбачка, шагнув еще, замерла и тут же ударила под собой. В расщепе клюва слабо блеснула рыбка; грациозно подбросив ее, она ловко ловит добычу и глотает.

— Вот так, Семен Давыдович, нужно рыбачить. Раз — и есть! — говорит Володя. Он подходит к краю крыльца, наводит телевик на удачливую рыбачку.

Семен Давыдович невозмутимо хмыкает и тоже, шагнув к Володе, говорит:

— Каждому свое, дорогой! — Он по-прежнему держит в карманах брюк руки. Рукава гимнастерки у него засучены по локти, покачиваясь взад-вперед, рассказывает о том, сколько водоплавающей дичи видел он на Кургальджинских озерах. И как он специально ездил туда, чтобы собрать материалы о жизни розового фламинго для очередной книги.

— Теперь я, честно говоря, самый лучший специалист по фламинго, — улыбаясь как бы самому себе, говорит он. — Во-первых, я перевернул всю доступную литературу. В Кургальджинском заповеднике пересмотрел все отчеты орнитологов. Ну и, естественно, много времени сам наблюдал их в разных местах, где только они гнездятся у нас в стране.

Семен Давыдович бывал в очень многих местах нашей страны. Об

этом красноречиво говорят расклеенные красные кружки на географической карте СССР у него в московской квартире. Кружков-указателей было больше ста от центральных географических уголков до окраин на севере, юге, западе и востоке.

Вспоминая фламинговые озера, он щурит темные глаза, отчего на бледном лице его они кажутся еще темнее, взгляд пронзительнее. «Из-за них, фламинго, ездил специально и в Ленкорань. Массу времени убил... И вот, понимаете,— обращается он к Максиму Дмитриевичу,— написал о них книжку — четыре печатных листа для цикла о редких и исчезающих животных, но ее в редакции безбожно сократили. Честно говоря, жаль, столько сил, времени, средств на сборы материала истратил, факты есть очень интересные. Но, увы,— он слегка кривит сухие губы в скорбной улыбке,— ничего не напишешь. Как скажет редактор... А каждый редактор считает себя в таких вопросах всегда абсолютным специалистом. Он знает,— с иронией уже говорит Семен Давыдович,— что надо и что не надо читателю. Видите ли, он знает, что интересно будет даже для специалистов, а что не нужно. Жалко: от таких редакторов проигрывает накопленный таким трудом материал и, в конце концов, остается только информация, сухая и не каждому читателю нужная.

— Беда прямо! — подключается к разговору Максим Дмитриевич. — Работашь, работашь. По крупнице, как говорят, собираешь и какой-нибудь молодой редактор, который сам еще ни строчки не написал, или совсем молодая девушка, только что из стен университета вышла, а туда же: начинает — то не так, да это не так... Беда и только! Не знаешь, что и делать. Главное, материал, представляющий историческую и биологическую ценность, гибнет.— Максим Дмитриевич по-прежнему сидит, сложив руки на коленях. Лицо его становится озадаченным, взгляд тревожным.

— В результате выйдет не книга, а общипанная курица. Автор, фактический материал, читатель — все проигрывает, и все из-за такого редактора. Годы ведь собираешь, уничтожают одним росчерком. И самое обидное — никому ничего не докажешь. Редакция не боится за такой материал. К тому же рассказы наших натуралистов в глазах читателя нередко проигрывают от того, что написаны совершенно одинаково, одним языком, нет личного восприятия, отношения к фактам. Будто все наши книжки писал один автор. Вот причина низкой популярности наших авторов в отличие от зарубежных. И посмотрите, как гоняются за Гржимеком, Даррелом и другими. Редактор должен помогать, а не мешать писателю.

— Я же, помните, рассказывал,— обращается он к нам,— в рассказе написано было, как зубр копытом рыл землю, а редактор — помню, была — переправила на лапу. Я доказывал, что неправильно: «У копытных не лапа...» До главного редактора дошел. Тот пообещал выправить курьез. И представляете,— Максим Дмитриевич, выражая досаду, хлопает себя по коленям, снисходительно смеется краешками губ,— все равно так и осталось «Зубр рыл землю лапой!» — Писатель что-то еще вспоминает из судьбы своих рассказов,— вот ведь беда! Ну что ты поделаешь с ними!

— Цапля опять рыбу поймала! — перебил разговор Максимка. Шагнув раз-другой, птица снова застыла, как сжатая пружина, в любое

мгновение готовая ударить перед собой высмотренную рыбешку.

Дождь отступал к горам. Грохотали вдали раскаты уходящего грома. Пустыня притихла и потемнела, казалась плоской, отяжелевшей от мокрой, загустевшей рыжины. Воздух теплый и влажный. Сквозь изодранные закрайки уходящих туч пробилось солнце, и небо стало оранжевым. И опять, как перед дождем, порозовели макушки барханов. Вспыхнула ртутным блеском дорожка реки. Рядом, на кусту саксаула, скороговоркой, трепетно, гортанно заворковала рыжая, как песок, бормотушка. Она экзальтированно трясла отсыревшими крылышками, пузырила светлое горлышко. На омытых дождем кинжальных листьях тростника подрагивали глянцевитые блики. Громко и трескуче заскрежетала дроздовидная камышовка. Почти каждый вечер она показывалась на несколько секунд на макушках тростника — длинноклювая, плотная, она легко перепархивала, скрежетала беспрестанно, до надоедливости и так же каждый раз внезапно ныряла в заросли и умолкала. Не слышно ее было перед дождем, и вот она снова скрежещет и квакает на все голоса.

— Легко-то как, — говорит Максим Дмитриевич, обмахивая ладонями лицо. — А какой аромат! Слышите? — Он сощурил глаза. Ноздри его шевельнулись. Лицо, казалось, помолодело. Он с шумом набрал воздуха. — Ах, как хорошо пахнет после дождя пустыня! Какой прелестный аромат!

Над пустыней нежнейший душистый запах. Будто кто-то рядом разрезал чарджоускую дыню. Дух ее смешивался с легкой горечью подморенной полыни южных каменистых степей.

— Какая трава так пахнет? — спрашиваю у Максима Дмитриевича.

— Не знаю. Всегда так пустыни после дождя пахнут. И в Сары-Ишик Отрау, в Кызыл-Кумах такой же аромат после дождей. Нет, вы только понюхайте, какой прелестный! — говорил он, подняв лицо и шумно вдыхая текущие волны, насыщенные чудными запахами.

Я же впервые столкнулся с нежным дыханием пустыни. Она будто раскрыла таинственные кладовые. Ее благоухание приводило в восторг. Трудно было поверить, что полуголые прокаленные беспощадным солнцем пески, сухие и сыпучие, способны обладать чудесным ароматом. Прямотаки волшебство!

— Поищу, какая трава так чудесно пахнет, — говорю, впервые за все эти дни снимаю с себя кепку с длинным козырьком, защищающим от солнца, и направляюсь в пески, чтобы найти виновницу неповторимого благоухания.

— Зря затеваете это, — говорит вслед Максим Дмитриевич, — это сама пустыня такими ароматами после дождей насыщается.

Выхожу за ограду егерского кордона. Песок под ногами мокро шепчет, покорно и глухо. Аромат приливает волной, ловлю направление, но тут же он отступает, и я теряю, откуда исходит он. Попробуй, поймай невидимое. Но вскоре же, через несколько шагов, вновь возрождается и тогда, подобно ишейке, ловлю носом ветерок и иду туда, откуда текут нежнейшие запахи. Поиск только разжигает интерес. И так волна за волной. Чудные приливы витают над мокрыми песками. И тогда представилось, что прошла прекрасная дама, и тонкий шлейф тонких духов следует за ней. Робкий и невесомый, как всколыхнувшийся крылом летучей мыши

воздух. Что порой возрождает желание идти следом, вдыхать еще и еще, чтобы вдосталь надышаться. Так и сейчас я шел навстречу волнам аромата, усиленно вдыхая, боясь сбиться с найденного пути. Нашел! Тонкие запахи источала куртинка курчавых кустиков неизвестного мне растения, похожего очень на перекасти-поле. Из-за ажурных веточек оно напоминало паутинистый шар. В этот час, когда солнце скрывалось за Калканами и косыми лучами едва освещало землю, кусты травы светились нежно-розовым цветом в голубоватых полутенях. Я сорвал пучок этой травки.

Максим Дмитриевич все еще сидел на крыльце, отмахивался от налетевших после дождя комаров, которые легионами летели из тростников. Алчные и ненасытные. Я протянул ему пучок.

Приложив его к лицу, натуралист некоторое время молча и восторженно вдыхал, прикрывая блаженно глаза.

— Вот беда, — смежая веки, сказал он, — хорошо, оказывается, знаком этот запах, а самой травки не видел. Досадно даже. Я почему-то всегда думал, что это после дождей так пахнут все здешние растения. И никак не предполагал, что именно вот эта травка. Какая прелесть! — восторгался он, причмокивая губами. Ахал. — Я возьму его домой. — И он снова прижал пучок к губам, шумно вдохнув и наслаждаясь, прикрыл глаза.

Не знаю, почему именно сейчас, в этот миг, я по-новому взглянул на одинокий егерский домик, потемневшую пустыню, ощутил по-новому запахи и, главное, запомнил выражение его лица. Мне вдруг живо вспомнился состоявшийся однажды разговор и просьба, с которой Максим Дмитриевич обратился.

В тот раз, как только я прилетел в Алма-Ату, сразу же с вокзала позвонил. Максим Дмитриевич пригласил к себе и, как водится, встретил меня у порога. Он стоял, приветливо улыбаясь, и, слегка сутулясь, протянул руку в знак приветствия. Через веранду вошли в кабинет, где мне все привычно и знакомо. Обсудив некоторые волнующие нас вопросы, мы перешли к частностям, связанным с интересными наблюдениями в природе. На пороге появилась Галя. Не перебивая беседы, она всегда терпеливо ждет паузы, и только потом, улыбаясь, предлагает. «Идемте пить чай. Уже все готово, а то остынет».

— Идемте и там продолжим, — приглашает Максим Дмитриевич. Он встает и ведет меня в зал. Знаю, что, как обычно, он сядет напротив окна у края стола. Но на этот раз он останавливается и, оперевшись на спинку стула, говорит: — Вот вы хорошо знаете Алтай. А знакомо ли вам это место? — он показывает глазами позади меня. Во всю стену гостиницы великолепное цветное бумажное полотно. На переднем плане кедровый лес. Вдали могучий островерхий хребет в темных пятнах тайги. По вершинам скалы и цирки. По щелям белеют снега. С картины повеяло родной мне природой гор Казахстанского Алтая. Присмотревшись, уверенно отвечаю, что таких вершин не знаю.

— Это там у вас снимал Володя, — говорит он о сыне, — когда он ездил на Алтай.

Я знал, что Володя с семьей ездил на Алтай и не понаслышке. Когда возвращался из поездки в Зайсанскую котловину, встретил их на Казанковской переправе через Бухтарминское водохранилище. Естественно

что меня еще больше озадачила отснятая панорама. Но вспомнить не мог, где. Нет, это не у нас. Максим Дмитриевич наслаждался моим замешательством.

— Вспоминайте, вспоминайте! — настаивал он.

— Да ладно тебе, деда, голову морочить. Давайте-ка, лучше садитесь за стол, все остынет.— Галя вытирала стаканы, расставляла их против стульев и наполняла горячим чаем.

— Это где-то в Болгарии снимали, но, правда, на Алтай походит? — говорит Максим Дмитриевич, усаживаясь за стол и поглядывая на картину и меня.

— А почему бы вам не приехать к нам,— предложил я.— Насколько я понимаю, вас очень тянет на родину. А это наши края. Вот и приезжайте.

— Все правильно. Но беда вот в чем,— отпивая короткими глотками чай, говорил он.— Последний раз я, кажется, в 64-м году поехал на совещание писателей в Москву. И представляете, почти полмесяца потом пролежал в больнице. Оказывается, мне в этом возрасте уже нельзя резко менять климат. С тех пор боюсь далеко ездить. Поэтому здесь, по нашему югу только, путешествую теперь.— Он повернулся к стене и, глядя на репродукцию, продолжал.— А знаете, как иногда тянет в родные края? Вот поэтому и поместил эту фотостенку. Очень напоминает о сибирской природе. Родина там, в Сибири. Детство и юность там прошли. Нет-нет, и затоскую о травах детства. И знаете, порой ностальгия просто-таки одолевает, и очень сильно.— Он что-то еще вспомнил и себе уже сказал,— нет, не проходит. Часто вспоминаю запах лугов, леса, мои первые встречи с животными, отца, конечно, который всегда брал меня с собой на охоту...— Обняв стакан ладонями, он смотрел в окно и тихо говорил: — Мне понятны и близки запахи трав Тянь-Шаня. Пустыни родными стали. Почти 50 лет живу в Алма-Ате. А вот забыть запах цветущей медуницы не могу, или, скажем, обжигающие глаза огоньки сибирские, тоже, как сейчас, вижу. Вы знаете, как у нас в Сибири фиалки пахнут? А здесь почему-то нет. И камышевки в Сибири лучше поют. Знаете, если можете, привезите хотя бы семян или самих цветов медуницы и огоньков. Я был бы вам за это очень признателен. А еще,— оживился он, отставив стакан,— больше всего запомнились прострелы или сон-трава,— и, подняв палец, добавил,— пульзатила патенс! Все еще по-латыни помню.— Он довольно засмеялся.— Не зря же я был в ботанической экспедиции Василия Васильевича Сапожникова. По Алтаю ездили. С тех самых пор и помню.

Следующий приезд мой в Алма-Ату совпал с цветением сон-травы на Алтае. Я выполнил его просьбу. Привез с землей заказанные цветы и две мохнатенькие пихточки сибирские, да еще две или три высадки сон-травы, огоньков и кандыка сибирского, несколько кустиков примулы весенней, медуницы, корней родиолы розовой — золотого корня. Максим Дмитриевич сразу же, не откладывая ни на минуту, травы посадил у порога веранды, по бокам дорожки, ведущей в глубь сада. Все принялось, взялось на земле яблоневых садов. Странное соседство: яблони и огоньки, груши и сон-трава, старая орешина и сибирские пихты. И тут же возвышается зеленым скипетром — гигантский эремурус из Таджикистана.

С тех пор, как только я приезжаю в Алма-Ату, Максим Дмитриевич после традиционных вопросов первым делом рассказывает, как чувствуют себя алтайские переселенцы.

— Знаете, говорит он, — пихточка прижилась. Чувствует себя хорошо. Весной огоньки цвели. Родиола только вот почему-то вытянулась. А вообще все сибиряки чувствуют себя хорошо. Медуница всюду цветет. А вот прострел до одного корня выкопал волк. — Он повел меня в сад и, сокрушаясь, показывал на пустые ямки, где росли милые его сердцу, скромные цветки с темно-синими венчиками и желтыми сердцевинками, похожие на совиные глаза.

— Чего ему они понадобились? — ей-богу, не знаю, — недоумевал он. — Хотя это и интересно, но досадно. Все остальные не тронул, а их выкопал. Может, лечится. Они же ядовитые — лютиковые, — высказал догадку он.

В это время цвели огоньки, оранжевые, рядком вдоль обочины полыхали.

— Погляжу на них и вот оно — мое детство! Посмотрите, как медуница цветет! — радуется Максим Дмитриевич. — Ну прямо кусочек природы давней родины! Все это травы моей памяти. — И опять спокойным голосом сокрушается, упрекая волка. — Вот же чертяка, — выкопал всю до одной сон-траву.

Запали мне в душу тогда слова: «Травы моей памяти». У каждого из нас есть на земле уголок — своя малая родина, как принято говорить. Память о ней способна щемить сердце, как об утраченном уже дорогом, заветном, безвозвратном. И вот эти травы — медуница, огоньки, как корни, в детстве пущенные. И сколько бы ни поила и ни кормила нас другая земля, память цепко удерживает чувство той первой родины, детства.

Поездка на Или, к Поюшему бархану, вскоре же стала нашим общим прошлым. И вот в очередной раз, по приезде, я появился у Зверевых. Писатель сидел в кабинете за столом, на котором разложены исписанные листки, карточки. На краю стола возвышалась стопка рукописей молодых авторов. При всей своей занятости Максим Дмитриевич умудряется выкроить время для прочтения их, никогда не откладывая в «долгий ящик». И каждому автору дает свое заключение, пожелание. Он успевает ответить на груды присылаемых писем с разных концов страны от школьников и ученых, охотников, молодых и пожилых читателей, из-за рубежа. Под руками всегда изрядно потертый картонный листок со столбиками телефонов друзей и знакомых, издательств, редакций. Сколько бываю в его кабинете и всегда люблюсь миниатюрным пенечком, густо облепленным мелкими опятами. Из середины в разные стороны ручки и карандаши. На окне, на ровной отструганной дощечке коллекция идеально круглых разноцветных окатышей, величиной от голубиного до куриного яйца. Собраны они Максимом Дмитриевичем, его друзьями, которые подбирают их во время экспедиций и других поездок. У него их целая вереница, один другого меньше, как птенцов в гнезде болотной совы.

Во время разговора Максим Дмитриевич встает, тянется через стол к подоконнику и берет неприметный пучок травы.

— Узнаете?

— Да,— киваю головой,— я уже позабыл, удивлен, что не выбросили полусухой клочок травы.

Максим Дмитриевич, как и в первый раз, там, в Приильийских песках после дождя, прижимает его к лицу и вдыхает.

— Вы не представляете, как нравится эта ароматная травка. В ней собран весь букет запахов пустыни. Вдыхаю, а перед глазами зной и пески, темные ночи в густых звездах и все-все, что видел и слышал когда-то. Вот беда! — говорит он.— Не знаю, как называется,— смеется сам над собой, удивляясь своему незнанию.

Я понял, что ему самому интересно, что не знает. Он тут же подтверждает мою догадку:

— Эйнштейн, создатель общей теории относительности, писал: «Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека — это ощущение таинственности». И вот я встретился на этот раз со знакомой мне таинственностью.

В конце концов все мы знаем, что не в названиях дело, а в чувственности восприятия. И надо отметить, что не так уж плохо, когда что-то да остается неизвестным или оказывается новым. И тем более интересно, что для такого опытного натуралиста, как Максим Зверев, нашлось что-то незнакомое...

— Травка эта,— он охватил ее мягко ладонями, словно держал стакан с горячим чаем,— тоже память экспедиций, поездок моих за пятьдесят лет.— Он грустно чуть улыбается, качает головой.— Вот ведь получается как, о чем ни заговори, все было,— десятки лет позади. Так стремительно время и коротка жизнь, хотя считаю себя ну прямо-таки пращуром каким-то! — сам смеется. И снова вдыхает аромат неприглядной травы, зажатой в руке. А я думаю: «Может, он сравнивает запах этой чахлой травы с дыханием яркой и нежной медуницы, незаметно для себя наслаждается воскрешенным в памяти далеким детством на берегах Оби, среди тенистых лесов, пестрых гусиных лугов и нетронутых еще человеком степных просторов. Может, вспоминает первые встречи с далекими проселками, первые охоты и годы, когда почувствовал, что прорастает в нем страстная любовь к удивительному и таинственному миру живой природы, к земле, на которой родился, которой посвятил себя. А может, за этими воспоминаниями первые счастливые минуты, ощущение, что проклюнулся росток тяги к литературному творчеству и того желания, которому суждено, спустя полвека, окрепнуть и вырасти в большое дело всей его жизни».

— Видите,— он поворачивается в кресле ко мне,— так уж получается, толком не знаю, где у меня родина — Сибирь или Казахстан? — и снова набрал грудью воздух, вдохнул и сказал:

— «И все-таки Казахстан!»

Росная чаша

Над мутным, текущим среди обрывистых берегов Чарыном вставало чистое, росное утро. Не спеша идем пойменными тугайными коридорами между ажурными серебролистыми деревьями лоха. Впереди с посохом

Максим Дмитриевич. Время от времени он раздвигает им пряди высоких сочных трав, словно грибок. Около, в зарослях, с фырканьем и шумом снует беспокойный Тузик. Лохматый, черной масти с подпалинами пес то и дело поднимает из трав счастливую морду и, убедившись, что идем следом, вновь пускается в охотничьи поиски.

— Посмотрите, какие прекрасные орхидеи,— отогнув зеленые, путанные космы осок, показывает Максим Дмитриевич на сиреневый факел цветка среди сочной зелени.

— Жаль, что растение исчезающее!

— А вот след секача-одинца. Туда и обратно, пить к Чарыну, видимо, ходил.

— Как вы узнали, что секач прошел?

— Чего же проще: след-то как у телка. Здоровенный вебрь, видите, на каком расстоянии отпечатались задние пальцы копыт. Вес-то у него приличный. Здоровенные здесь секачи!

Разглядываю врезанный в землю след, оставленный зверем, и с тайной опаской оглядываюсь.

— Да нет его здесь. Иначе Тузик бы давно поднял,— подбадривает Максим Дмитриевич.

Тропа уводит под колочие навесы тугайных зарослей. Сгибаемся так, что подбородок достает коленей. Вышли на прогалину, затянутую колосистой вуалью рослых злаков. Расправляем исколотые спины, вытряхиваем из-за воротников набившийся растительный мусор.

— Воц,— бросает мне через плечо Максим Дмитриевич,— гнездо черного дрозда. Пустое. Птенцы уже вылетели...

Оглядываюсь и удивляюсь, как так сразу цепкий взгляд его выхватил в густом заломе ветвей едва заметные скрещенные, словно спины, ветхие соломины и травинки? Как узнал, что птенцы его уже оставили? Приотстал чуть и украдкой заглянул. На гнездовой выстилке прозрачная роговая перхоть, от чехликов перьев уже вылетевших птенцов.

Следуя тропой, огибаем шаровидные кусты шиповника, украшенные розовыми нежными цветками, и попадаем в лоховый хоровод, играющий серебром листьев около самого берега беспокойного бурлящего Чарына.

— Вот сколько света! Пока еще чистая, в полдень помутнеет,— говорит Максим Дмитриевич, глядя на воду.

— А почему обязательно помутнеет?

— Во-о-он, тучки над Кунгей-Алатау собираются,— показывает он своим посохом.— Дождем прольются часа через два-три. От дождя и помутнеет. Да и вообще в полдень Чарын всегда мутнеет. Солнце в том виновато: снежники подтаивают. Ночами там холодно. Все на реке и отражается.

Подошли к берегу. Под обрывом, где мы стояли, змеились тонкие жгуты перепутанных корней. Под ними вихрилось стремительное течение, упруго вспучивались схлестнувшиеся подводные потоки. В глубине изредка вспыхивали искрометные стайки голого османа.

Выбираю подходящее место, чтобы спуститься к воде. Набираю пригоршню воды, чтобы напиться.

— Так же неудобно! — замечает Максим Дмитриевич и подходит к широколистному кусту коровяка. Срывает густо опущенный с нижней

стороны лист. Сворачивает зеленую конусовидную чашу так, что опушенная сторона оказывается изнутри и, как кружкой, черпает воду. В зеленой чаше в тот же миг она обращается в большую серебряную каплю и тяжелой ртутью качается в светлых ладонях листа.

— Я всегда так пью.— Запрокинув голову, прикрыв линзы бинокля, висящего на груди, ладонью, чтобы в них не попала вода, Максим Дмитриевич пьет. На его загоревшем лице, притененном почти наполовину козырьком зеленой егерской фуражки, оживают веселые пружинистые извивы света, отраженного от колыхающейся воды.

Смотрю на старого натуралиста, и мне кажется, что вот такие росные чаши и есть удивительный источник неиссякаемого вдохновения, неуемной жажды и любви к природе, к вечным скитаниям и странствиям. Может, такие серебряные капли вдохновляют на чувства, на нужные слова, которые в строках рождают рассказы, повести и целые книги. Подобно полноводным рекам, они растекаются по земле, на которой живем, которой посвящаются. К ним, вот так же, как к источнику, припадают миллионы читателей. Некоторые, так и не утолив жажды, но испив вдохновения, стремятся сами к познанию, чтобы осознать в себе человеческое на тропах натуралиста, которыми потом идут всю свою жизнь.

Кто измерит длину пройденных писателем по земле дорог? Кто бы мог подсчитать, сколько испито таких же росных чаш в горах, лесах, пустынях за его девяносто лет? Никто! Он и сам не знает. И сколько на веку его радостных встреч, сколько изведено грусти на больших и малых дорогах и житейских перекрестках.

Наблюдаю, как он пьет из искусно сделанной чаши, и уверился, что у Максима Дмитриевича это и есть своя, Джемшидова чаша, подобная его «Кладовой чудес» с неожиданными историями, случаями, фактами, приключениями. Но главное, что в ней источник его любви к земле, редкой душевности и доброты к людям. И не как персидский царь Джемшид он созерцает чашу, чтобы потом взяться за искусное перо. Как ведется и должно быть, он сам общается с природой, которая постепенно и скупой и щедро открывает таким, как он, извечные тайны. Писатель бережно несет чашу, полную тайных сокровищ. Несет, чтобы не расплескать по пустякам, а дать испить из нее каждому, кого хоть немножко волнует шелест крыльев летящей стрекозы, кого зовет дымка лиловая далее и тревожит голос первой кукушки. Чаша обладает волшебной силой, она может исцелять безнадежно «больных», тех, кто не понимает своей земли. Она делает еще сильнее и красивее тех, кто приобщается к ней. В детстве я тоже испил из его волшебной чаши. Я тоже выбрал тропу натуралиста. И теперь, как и прежде, все эти долгие годы нашей близкой дружбы с Максимом Дмитриевичем, иду за старым натуралистом, известным писателем, как и сейчас, по росной тугайной тропе, которая, как и всякий путь, бесконечна.

ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК

ПОВЕСТЬ

Ни одного выстрела

— Года четыре подряд от старого приятеля, охотника-любителя на пернатую дичь — Петровича, часто слышал о Воробьеве Иване Степановиче, который живет в небольшой южноалтайской деревушке Сергеевке около Нарымских гор. Почти тридцать лет охраняет он лесной участок, раскинувшийся в «красивых очень» каменистых сопках.

— Добраться к нему просто, — советовал он, — доехать до Курчума и оттуда на автобусе до села. Там все его знают. — Тебе обязательно надо побывать и познакомиться с Воробьевым. У него постоянно живут беркуты. Живут они почти свободно. А сам Иван Степанович не только знаток, но и прекрасный рассказчик, он столько знает всякого о жизни зверей и птиц, но особенно о жизни орлов. Слушать будешь — не переслушаешь.

Приятель мой — Петрович — стар. Заядлый курильщик. И во все время разговора он мокро кашляет, глубоко втягивая папиросный дым. Зеленые глаза его смотрят строго. В них живет пронизательность и притягательная сила.

— Правда, — говорил Петрович, — трудно дома Воробьева застать. Каждый день на обходе. Сельчане называют его «лесным человеком». Обязательно побывай, не пожалеешь, — убеждал он меня.

В словах и интонации Петровича слышался восторг и почтительное удивление всякий раз, когда он начинал:

— Есть в Восточно-Казахстанской области человек, который держит у себя беркутов. Прекрасно знает тонкости их повадок. Самое главное — он охраняет участок лесничества у Сергеевки, где гнездится несколько пар редких теперь орлов. Беркуты у него не улетают с участка на зиму: живут почти оседло.

Меня очень интересовал «лесной человек». И я уже не первый год собирался как-нибудь при удобном случае заехать в Сергеевку.

Привлекало в леснике и то, что, как говорил Петрович, он каким-то непонятным, звериным чутьем узнает людей: поглянется человек — гостеприимства Воробьеву не занимать. А если нет, тогда все просто: как говорят «от ворот поворот».

Так я узнал, что Иван Степанович обладает еще и интуицией, и не исключено, что благодаря этому находит путь к сердцу беркутов.

— Характером крутоват, порой излишне категоричен, — кашляя, говорил Петрович, — ерепенистый мужик! Серединки в дружбе с ним нет: или все, или ничего! Друзей у него навалом, врагов — хоть отбавляй. Последних он находит сам, работа у него такая. Проник браконьер на его

участок, считай все — обязательно с Иваном Степановичем свидится. Места-то у него хорошие. Дичи много...

Разные примеры из жизни Воробьева приводил Петрович, знакомый с ним уже более двадцати лет. Мне порой поэтому казалось, что я тоже хорошо знаю этого человека.

— Что за любовь у него к этим хищникам? — удивлялся Петрович. — А свойство обостренного восприятия сущности встреченного впервые человека? Волшебник или черт какой? — недоумевал Петрович, рассказывая о леснике. — Вероятно, специфика службы таким сделала, — продолжал он рассуждать, — постоянные стычки с местными жителями, которые не прочь порубить втихаря лес. Конфликты при встрече с любителями пострелять в его угодьях. Трудно еще, да и не безопасно бороться с хищниками в облике «благообразных типов», они активны, нередко влиятельны. Противостоять им «лесному человеку», безусловно, трудно. Они ведь достаточно грамотны, отлично знают букву закона, горазды на лжегуманную тактику. Вот тут-то, видимо, — рассуждал он, — и срабатывает в леснике внутреннее чутье. Мимикрия деловых хапуг при встрече с ним не проходит. Поэтому у Воробьева есть не только друзья, но и заклятые враги. А он черт упрямый и непреклонный. Не взирает ни на чины, ни на авторитеты. Всяких историй много связано с ним. Только благодаря его непримиримому отношению к хапугам, крутому нраву цивилизованного «дикаря» и удалось отстоять красоту охраняемого им уголка. Бывая в природе, он постигает тайны беркутиной жизни, которые и являются источником его любви и счастья. Обязательно побывай, не пожалейшь! — говорил Петрович, уверенный, что я поеду.

И вот, к удивлению, я получил коротенькое письмо на школьном, в клеточку, листочке. Воробьев писал, что хочет познакомиться со мной. Рассказал, что на его обходе в настоящее время много промысловых птиц и зверей: сотенные стаи тетерева и серой куропатки. Много редких и занесенных в Красную книгу пернатых хищников — беркутов, могильников и соколов — балобанов, «бывают и сапсаны». В урожайные на сурка годы гнездится по десятку и более беркутов. Писал Воробьев, что на его участке гнездится орел-змееяд. А это уже интересно мне как орнитологу. Ведь это было единственное известное место гнездования для всего Востока Казахстана. Иван Степанович писал, что гнездятся у него на обходе — он так всегда называет свое лесничество — большие подорлики, филины, черные аисты и многие, многие другие виды птиц. Из зверей, писал он, много марала, лося, есть косуля, кабан, медведь, рысь, россомаха, заяц-беляк, лиса. Изредка встречаются очень редкие в республике каменная куница и выдра. И все это на совсем небольшой территории около села Сергеевки. Здесь же с обученными беркутами или капканами Иван Степанович отлавливает волков, охотится за рысью.

В письме он коротко рассказывал о себе и о своих удачах и печалях, связанных с судьбой орлов в лесничестве. Так и получилось, что мы познакомились и подружились, не видев в глаза друг друга. В последующих письмах Иван Степанович приглашал к себе. По-дружески настаивал и все время сожалел, что я так долго не еду.

«А главное, — писал он в одном из писем, — надеюсь оставить людям и сыновьям этот дорогой мне с детства уголок, где я вырос, где осознал себя и нашел большую любовь ко всему живому. И если бы ее не было,

моей любви, может, и я давно бы зачах, как полынь-трава у дороги. Так я думаю. Теперь хочу, чтобы и сыновьям, и таким же, как я, осталось это все, чтобы и они испытали счастье, которое узнал я,— счастливый человек!»

Вскоре путем переписки он открыл главный свой «секрет» о том, как ему удалось поднять численность таких редких ныне птиц, как беркут. Их сегодня так мало, что лишь на многие сотни километров наблюдателям удается встретить пару или две. К примеру: в Красной книге СССР — в первом ее выпуске, сообщается, что на территории Центра Европейской части Союза ССР гнездится всего десять-двенадцать пар. Комментарии, как говорят, излишни — не густо. А тут, в лесничестве немногим более пятидесяти квадратных километров гнездится восемь, в некоторые годы число их достигает двенадцати и пятнадцати пар. «Секрет», тайну по современным критериям такой высокой плотности Иван Степанович назвал сразу: «Я их регулярно зимой кормлю, чтоб не разлетались и не становились добычей браконьеров. Летом постоянно гнезда стерегу. Охраняю и территорию, чтобы ни одного выстрела не прогремело — вот и все». Казалось бы действительно «Вот и все» — так просто. Предельно просто и так немного... «Ни одного выстрела». Нам, городским жителям, особенно трудно представить, что стоит за всем этим. Представить, чтобы осознать, какая сила страсти движет им? Ведь он все свое время, испытывая лишения, убивает на охрану «каких-то там» орлов, которые «летают и пусть себе летают» — так мы их воспринимаем. Денег за эту опасную работу не платят, напротив — стычки с вооруженными браконьерами, угрозы с их стороны. Много разного чего такого рассказывал он в письмах. И обязательно писал о своих наблюдениях за любимыми пернатыми хищниками. Наблюдения эти вовсе не безынтересны, даже — специалистам. Особенно ценны они сегодня, когда речь идет о том, жить или не жить на планете с человеком сотням видов, занесенных в списки исчезающих. Он писал о животных, сведения о которых зоологи скрупулезно собирают для того, чтобы высветить факты не только отрицательно, но и положительно влияющие на их жизнь, на их численность, распространение.

«Балобан, оказывается,— писал Иван Степанович,— привязан к месту только из-за тетерева. Если косача много — то сокол остается зимовать».

Поэтому Иван Степанович охраняет не только деревья от порубок, но равно — и тетеревов, хорошо понимая экологические взаимосвязи в природе. Так, по-человечески, по-научному, решает он вопрос не только охраны, но и воспроизводства хищных птиц на местах гнездования. Надо заметить, к нашей общей досаде, нередко считается, что для сохранения вида достаточно запретить отстрел. Иван Степанович этот вопрос решает как и требует наше время,— оберегает местообитание животного вместе с кормовой базой, защитными условиями. Так оно и должно быть. Мы все сегодня хорошо знаем: каждое существо приспособлено к обстановке, где оно может успешно жить и размножаться. Об этом давно говорят специалисты. Путем заповедников, заказников и прочих территорий такого рода можно добиться сохранения тех или иных популяций животных и целых ландшафтных комплексов. Участок Ивана Степановича — редкий для республики и даже для Союза образец территории, на которой имеются все условия для жизни редких и исчезающих пернатых хищников. Опыт Воробьева, направленный на воспроизводство редких птиц,

безусловно, уникален, и на данном этапе состояния природоохранных мероприятий следует его считать своевременным, значительным. О важности его дела красноречиво сегодня говорят санкции, которые стали внушительными: за отстрел беркута — штраф в 1000 рублей, сокола — 500. Начатое Воробьевым заслуживает не только пристального внимания, но и дальнейшего совершенствования. Мне, например, жителю Восточного Казахстана, воробьевские новации добавляют не только гордости, как земляку, но чувства некоторого покоя от сознания, что есть человек, который делает все возможное, и успешно, чтобы не дать исчезнуть владыке неба — орлу-беркуту.

В доме лесника

В Воробьеве привлекало многое. И естественно, я искал возможность одолеть служебную занятость, съездить в лесничество. Своими глазами хотелось увидеть его в деле, оценить по возможности столь не похожий на все остальное, результат его многолетнего труда.

Встреча наша состоялась в июле. Позади остались дорожные неурядицы, связанные с неоднократными автобусными пересадками. И вот очередной автобус, идущий из Курчума, одолевает последние километры подъема на подъезде к Сергеевке. Весь день не переставая шумел дождь после продолжительной засухи. Выгоревшие до желтизны холмы, почрневшие каменистые гривы отрогов Нарымского хребта подавлены хмарью темного ненастного неба и серостью дождя. Со склонов скалистых сопков, покрытых чахлыми травами, густо дышит отмокшая полынь. Терпкая горечь ее заливала салон автобуса. Привкус ее чувствовался даже во рту. Дорога в колдобинах, глинистая огибала сопки, укрытые зарослями шиповника, сизыми платками полыни; из ложков, казалось, выбегали густые карагайники, так у нас называют заросли черемухи, боярышника, растущих попеременно со спиреей, жимолостью татарской, желтой акацией и шиповниками. Наконец автобус, легко и неожиданно одолев подъем, выскочил на взгорок. Перед нами, в отлогой ложбине, среди плосковатых угоров — Сергеевка. Тускло блестели мокрые крыши. Темными пятнами взялись стены домов и сараев. Также с мокрыми, вспотевшими будто от скачек спинами стояли у прясла конного двора лошади. Опустив головы, они трясли гривами, всхрапывали. Вдоль речки, вьющейся среди сопков за селом, стояли редкие клены, тополя. Еще дальше они дружно сбегались с буйно-зеленой поймой речки Каиндинки. Автобус остановился на проселке, у первых окраинных домов. Водитель не выключал двигатель и, высадив пассажиров, последовал дальше — на Чердояк.

— Где Воробьев живет? — спросил я у первых попавшихся на дороге ребяташек. — «Лесной человек?» — переспросила одна из девочек. После чего они дружно указали на домик, что одиноко стоял на взлобке, на самом краю села. Обходя теплые лужи, я шел вдоль изгородей, построенных из жердей, зеленых палисадников, мимо парящих навозных куч и кормящихся около них многочисленных уток, гусей и кур, пока не оказался перед калиткой домика. На заборе сидел краснорылый коричневый-красный петух и победно орал во всю глотку. Во дворе у забора — тополя, живые и сухостойные ивы. На них, как на просушке, скворечники, синичники, дуплянки. Под седлом у телеги со свежей зеленой травой —

лошадь. Носком сапога стучу по калитке. Услышав меня, лениво вышли две, видимо недоспавшие, светло-серые собаки породы тазы. Узнав чужого, они глухо зарычали и подали голос. Из плоскокрышей постройки, с отсыревшими и потемневшими стенами, с одним-единственным вмазанным оконцем, вышел среднего роста в кирзовых сапогах хозяин. Он был в синей куртке, в захватанной до лоска серой кепке. Быстро подошел, толкнул ногой калитку, и я пожал его крепкую, с теплой шершавой ладонью руку. словно приветствуя нас, тот же петух вскинулся на заплот, и, шумно захлопав крыльями, восторженно прокукарекал на все село.

— Да кыш же, проклятый! — махнул на него кепкой хозяин, — чтобы ты лопнул, горластый! — Петух тяжело вспорхнул и грузно с басистым коканьем шлепнулся у навозной кучи, где копошились куры, и еще громче и победнее прокричал. Куры одобрительно косили взглядом на своего повелителя. А он, не теряя времени, тут же принялся ворошить крепкими ногами с длинными кривыми шпорами навоз, щедро созывая к «столу».

— Такой же, как я, неугомонный, — улыбнулся глазами Иван Степанович. — Здравствуйте! — не выпускал он руки, — а мы вчера ждали. Где-то задержался?

Иван Степанович непринужденно разговоривал, в упор разглядывая меня. Он улыбался, щурясь, показывая собранные в неровный ряд зубы. Казалось, что их у него больше, чем положено, и хватило б на двоих. Поэтому рот до отказа был набит ими и чуть выпирала верхняя губа.

— Дуся! — крикнул он, не поворачиваясь. — Иди, встречай, гость приехал! — Открылась дверь, из сарая неторопливо вышла слегка располневшая женщина. Неторопливо вытерла о синий передник на цветастом платье руки, и без всяких эмоций, глядя так же открыто зеленоватыми спокойными глазами, представилась:

— Евдокия Яковлевна. — И сразу же спокойно добавила: — Чего здесь стоите? Проходите! А ты, тоже мне хозяин, чего держишь у калитки гостя? — Она глянула на него с игривым упреком. Тут же, как из-под земли, появились два крепких, зеленоглазых, как мать, парня.

— Иван, — протянул руку старший. — От его комбинезона несло мазутом и машинным маслом. Из-под такой же захватанной кепки, как у Ивана Степановича, выбивалась перепутанная каштановая грива волос. Иван широко улыбнулся, и его смуглое жестковатое лицо с порыжевшими от лета усами осветилось и подобрело. Казалось, он до дна раскрыл свою душу.

— Сыновья! — представил их Иван Степанович. — Степан, — тянулся ко мне младший. Он стоял, неловко переминаясь с ноги на ногу, не зная куда девать себя. Похоже, он чувствовал, что не по годам крупный и сильный. Это сразу же бросилось в глаза. Видимо, понимание своей медлительности и силы приводило его в смущение.

— Ну и правда, чего стоим? Зайдем, чего здесь... идемте в кухню, — показал Иван Степанович на пристройку с плоской земляной крышей.

— Здоровенные сыны! — кивнул я на них.

— Ого, еще какие! Товар на лицо, как говорят.

Мы вошли в летнюю кухню. Посреди, на земляном полу, стоял длинный, как на полевом стане, стол. В углу русская печь, ведра, тазы, табуретки и скамейки, аккуратно составленные около нее. В простенке между печкой и окном деревянная полка. За ее цветастой ситцевой занавеской угадывалась кухонная посуда.

— А мы тебя вчера ждали,— пододвигая к столу скамейку, говорил Иван Степанович.

— Откуда же известно, что я еду? — спросил я.— Меня же здесь не знают? Вам не писал.

— У нас все просто. Деревня есть деревня. Что будет за день-два, наперед знаем.

Он испытующе глянул на меня и хитровато улыбнулся. Подсел поближе к столу, стянул кепку. Ладонями обдав растрепавшиеся влажные волосы.

— Вчера тебя в Курчуме видели наши люди. Они и сказали: «Чужой с рюкзаком, с бородой брал билеты на Сергеевку». К кому сюда такие? Только ко мне. Так и доложили.

Я всегда удивлялся деревенскому беспроводному телефону — «узункулаку». Простоватые с виду, неторопливые, с налетом равнодушия, сельчане обладают на редкость тонкой наблюдательностью. Они умеют подметить самую малость, если она свежа и для глаза непривычна. Особенно внимательны они к приезжим. По каким-то приметам, одним им известным, угадывают, куда и зачем едет новый нездешний человек. Вот и сейчас, слушая лесника, я вспомнил подобные деревенские удалости. Было время, когда я работал в областной госохотинспекции, и всегда поражало, где бы мы ни появлялись,— в таежной деревушке, заимке, на пасеке или райцентре, нас уже ждали. Если мы даже тайком приезжали, ночью, объездными путями, то рано утром о нашем приезде знали все, естественно, те, кто нами интересовался. Пришлось привыкнуть, что наш приезд никогда не был для сельчан неожиданным. И сейчас я слушал и не знал, удивляться или нет словам Ивана Степановича.

— Мать, распорядись там маленько. С дороги же человек. Дай-ка нам чего-нибудь...— Евдокия Яковлевна ставила на стол пышный, источающий парный дух домашний хлеб, тарелки с супом из свежей баранины.

— Вчера ждал тебя, барашка заколол. Вы городские редко свежинку там едите. Вот и решили с Дусей...

Степан тем временем стоял около стола и, видимо, уловив не то жест, не то взгляд отца, запустил руку за пеструю занавеску и извлек бутылочку.

— Ты извини,— говорил Иван Степанович.— Самому давно нельзя. Сердце барахлит. Ну а тебе с дороги поди чуток можно.— Говорил он, наливая стопочку.

Разговорились,

— Более двадцати лет охранял эту красоту. Видел, какая природа? Пойдем-ка покажу.— Он схватил меня за рукав, потащил за калитку.— Смотри,— показывал он за село, раскинувшееся на взгорье.— Сопки, сосняки, скалы, речка... А воздух! Как полынькой-то несет! А! Ничего этого у вас в городе и в помине нет. Все это с детства люблю. Берегу от хапуг. Не все только понимают это. Врагов многовато поднакопил. Теперь вынужден перейти в штатные охотники. Вместо себя Ивана хочу оформить. Подучу маленько, пусть дело мое продолжит. Если б не согласился Иван, не оставил бы ни в жисть своего участка. Боялся: не дай бог кому-то случайно все достанется.— Он посмотрел на меня, явно ожидая вопроса, почему именно сдал свой многолетний пост, продолжал,— здоровье того, малость пошатнулось. Почти каждую весну в больнице по месяцу валяюсь. А дел невпроворот. Нервы крепкие требуются.

Чувствую, уже не то, — он постучал пальцами по груди. — Вот и решил, пока жив, да смогу помочь еще Степке, он самый младший, передать лесничество и пойти в охотники.

Мы вернулись в кухню.

— Я-то сам все начинал. Поначалу трудновато было. — Иван Степанович хлопнул сына по плечу. — Ему куда легче. Да и время какое сейчас, — старайся, и тебе обязательно пойдут навстречу. Не все, конечно, но администрация сегодня на нашей стороне. Это уже большое дело! А ведь, бывало, едешь, караулишь, не даешь рубить, охотиться, и тогда все — враг номер один для каждого в селе. Если бы ты знал, сколько страдали меня, письма с угрозами подбрасывали. Ничего, пережили все, — смеется он. — Правда, мать? — кивнул он жене, молча следящей за столом, кому супу добавить, кому чай поставить.

— Пришлось повоевать тут кое с кем. Теперь порядок! Иван проработает два-три года, а там Степка заступит. Он в лесном техникуме в Лениногорске учится. Закончит, тогда и будет настоящий специалист своего дела. Не то что я. Правда, Степка?

Степка, густо покраснев, молча склонился над тарелкой.

— Он справится с работой, я совершенно в нем уверен. Рад, пока все на моих глазах, думаю, будет порядок!

Я глядел на разговаривавшего лесника. Смотрел, слушал и удивлялся: откуда его заботы? От его любви к этим сопкам, своим беркутам? Или это сыновий долг любящего свою землю?

— Хотелось бы глянуть на ваше хозяйство, Иван Степанович!

— Конечно, конечно! Пойдем, сейчас покажу своих красавцев.

Небо уже просветлело. Кое-где голубели окна умытой синевой дали. Мы подошли к большому вольеру из крупной сетки, оградившей яблони и высокую траву перед окнами дома. Перед нами в зарослях лебеды, на кочке, сидел филин. Большие красноватые глаза, торчащие в разные стороны «рога», делали взгляд его гипнотизирующим.

— Узнаешь? — спросил Иван Степанович.

— Неужели он? — удивился я.

— А какой же еще? Он самый!

Глядя на чудесную птицу, я вспомнил, как несколько месяцев назад я переслал Воробьеву насмерть замученного филина. Крылья его были обшарпаны, перо основательно перепачкано и истрепано, будто птицей мыли пол или вытирали об него грязные замасленные руки. Такой был замусоленный и жалкий. Трудно было надеяться, что птица выживет. Теперь же на кочке сидел красноглазый красавец в новом чистом перье. Филин широко расставил крылья и, будто ударяя костью о кость, глухо стучал крепким, утонувшим в перьях клювом. Раскачиваясь из стороны в сторону, он шипел, и казалось, был готов броситься на нас.

— Ну что ты, глупыш, — погладил его Иван Степанович, присев около. — Совсем заморышем был, — обратил он ко мне сияющий взгляд. — Теперь видишь? Первое время, когда привезли, боялся кормить. По ленточке через час-два мясо давал. И так дня три-четыре, потом только дал поест вдоволь. Зачем берут из гнезд? Ведь так трудно содержать такую птицу дома. А все равно зорят и тащат. Летать станет, буду учить охотиться, а уж потом отпущу, — говорил он, поглаживая круглый пестрый затылок испуганно и возмущенно глазающего филина.

— Вы, охранники природы, — обратился он с упреком, — тоже бы

помаленьку приструнивали этих горе-любителей, чтобы не брали из гнезд крупных хищников. Подержат день-два, потом ищут, кому бы столкнуть. А то и просто выбросят на растерзание пацанам. Гибнет такая красота и редкость! Когда наконец-то будут за это серьезно наказывать? Если так будет дальше, сюсюкаться будем с грабителями, то уж воистину внукам ничего не достанется. Меня злит, что жалеют и прощают разорителей. Я бы, знаешь,— повернулся он ко мне не вставая, и теперь он только смотрел из-под козырька, словно только я виноват перед ним, только теперь я почувствовал в его взгляде ту непримиримость защитника природы, о которой говорил мне Петрович,— таких людей, которые путного для общества ничего не делают, а только пользуются благами, ох как бы я серьезно наказывал. Я вот тут про себя кумекал и уяснил: эти прощельги ни гроша для общества не значат. Мало того, что ничего путного не делают, так еще и ущерб приносят огромный. Не в деньгах дело. Вот! — ткнул он пальцем в пыхтящего филина,— красоту и мудрость природы надо беречь, она еще людям ох как пригодится! Деньги выпустать можно всякие и сколько угодно. Бумага! А вот филинов людям никогда не научиться создавать, если они исчезнут. И уже сейчас, без промедления надо строго, как за государственное имущество, наказывать прохвостов и демагогов тоже, которые оправдывают это, ссылаясь на время, которое, мол, определяет наше отношение к природе. Ох как умеют прикидываться невинными овечками, когда их за руку схватят, «не знали», мол, да еще там всякое. А мы только знаем, что втолковываем, увещеваем. А он, подлец этакий, выслушает и опять за свое. Дальше нельзя так. Из-за этих людишек, я только так называю их, навсегда лишимся красоты такой,— показал он на филина.— Ну, скажем,— он встал и, пристально глядя, словно решил до конца уничтожить, как самого злостного браконьера, продолжал: — Вот что они делают, чтобы получить право на отстрел? Да ничего! А как ехать в поле, так за ружье. Выпялят глаза и лупят всех, кто бегаёт или летает. Ай! Говорить не хочется,— с досадой сказал он,— здесь столько насмотрелся на этих грамотеев. Самое страшное, что все больно умны, не знаешь, с какой стороны его наказывать. Он же потом тебя еще клеймит, отстаивая право на стрельбу. Может, ты объяснишь мне, человеку не ученому, почему, скажем, степного орла или красавку включили в Красную книгу Казахстана, а филина нет? Его у нас куда меньше, чем орлов. Этих бедолаг ведь убивают для украшения шапочек разных. От глаза, говорят, полезно. А что получается: убьют, выдерут на груди и брюхе перья, да на «штанах», выбросят потом гнить за ограду. Увидишь, сердце кровью обливается. И никому не нужно... Все в порядке вещей. Чего с филина возьмешь — ни мяса, ни шерсти, некоторые вредными их все еще считают. Получается, все, что хотят, то и делают. Что-то менять надо. Нельзя так дальше.

Иван Степанович снова присел к филину, снова погладил его крупную лохматую голову. Филин шипел, удивленно тарачился, раскачиваясь, и пятился, щелкая клювом.

От нахлынувшего негодования, тревожных мыслей, лицо лесника по-мрачнело.

— А сколько орлов, калек разных с вашей юннатской станции мне передали? Больше из гнезд, подстреленные, а потом выброшенные.

— Мало того, Иван Степанович,— поддерживаю его,— что все эти люди ненаказуемыми остаются, они считают, что юные натуралисты

должны брать ими же искалеченных животных, кормить их и содержать. Думают, что работающие в обществе охраны природы только и должны заниматься спасением несчастных животных, обязаны содержать их, кормить и так далее, и больше им вроде бы делать нечего.

— А он, сукин сын, пострелял, поразвлекался и выбросил жертву своей дикарской страсти, «словно бутылку из-под вина», — перебил меня Иван Степанович. — Сколько их я за эти годы выкормил? Учил добывать пищу, а потом уж выпускал. Беда прямо, что делается...

— Это вот молодой, — показывает он на сидящего под навесом крыши на стволе яблони крупного, с толстенными и необычно светлыми лапами беркута. — Этого я недавно — дня три назад привез. — И то уж вон какой! Отошел...

— Из гнезда что ли?

— Нет. Я никогда не беру их из гнезд. Этого толстолапного мне очень даже любезно подарили. Дорогой подарок, расплакаться был готов. Видишь? — показал он челюсть с бугрящейся припухлостью. — Сейчас еще побаливает. — Он потер ладонью щеку, сухо шумя щетиной. — Борода была такая же, как у тебя, — показал он глазами на мою. — Пришлось с ней расстаться. Примочки да припарки Дуся делала. Веришь, — глянул он исподлобья, — еле устоял, так двинули. Главное, выдержал. Хотя хорошего мало было и неизвестно, чем бы все могло кончиться. Представляешь, таких два амбала встретят: устукуют и глазом не моргнут. Но ведь как-никак деды мои и отец вольные казаки были. В обиду не давались. Кое-что и во мне осталось. — Расстегнув сжатые губы, он показал сгусток зубов, — за себя постоять пока могу. Поэтому и работал лесником, «ладил» со всеми...

В слово «ладил» он вложил смысл своей моральной и физической стойкости.

— А что же произошло? — спросил я, глядя на вздутую челюсть.

— Маленькая история произошла тут. На Карьке в обход третьеводни поехал, — рассказывал он. — Туда, на Алтай, — махнул он в сторону гор Нарымского хребта, заслонивших собой западный горизонт.

Иван Степанович и местные жители села Сергеевки Алтаем называют южную оконечность хребта. Горы хорошо видны, они горбато темнели в легкой дымке за гранитными платообразными лесистыми массивами. — Так вот стою на перевале, — продолжал он, — оглядываю местность в бинокль. Карька спокоен. Я внимательно глазами шарю по отрогам Алтая. Оттуда с вершины берег Бухтарминского водохранилища хорошо виден. Вдруг вижу человека. Кто такие? Гляжу, около него, на земле кто-то горбится. Смекнул, конечно, что кого-то поймал. Может, звереныш какой, думаю? Спустился поближе, взял бинокль и разглядел — беркутенок. Из гнезда где-то взял. Я туда. Подъехал. Из-за скалы навстречу вышел второй. Здравствуйте! — говорю. Лесник такой-то... Вы, — говорю, — нарушили правило. Объясняю, что беркут — птица из Красной книги, разорение гнезда есть браконьерство...

А он, что около птицы, лет сорока, в полевом костюме, молодцеватый такой, стоит будто глухой. Никак не реагирует. А второй, что из-за скалы вышел, крепкий, кряжистый с густой пугачевской бородой. Недобро больно смотрит. Глаза маленькие, как у хорька, такие же злые. Сильный, черт! — подумал я, — грудь колесом. Руки волосатые, кулачищи пудовые. Самоуверенный. Подходит медленно, молча ко мне и почти в ухо не гово-

рит, а шипит: «Проваливай-ка, отсюда, милый, лесник дорогой, пока я добрый». Второй уже сбоку. И то же: «Иди-ка по-хорошему, дорогой, да не вздумай оглядываться, не то я покажу те такую Красную книгу, читать ее больше не будешь, но долго помнить будешь, а то, может, и не придется...» — он сузил свои искристые глаза, до белизны сжал губы. — Злой гад! Стою на своем. «В таком случае, говорю, я забираю у вас птицу». Все равно загубят или за бутылку отдадут. А беркутенок в это время жалобно так — «ить-ить-ить». Заморенный уже, запуганный, видно, что недобро общались. Только я повернулся к нему, а бородатый как саданет по скуле. В глазах потемнело. Не знаю, как, но устоял. Не помню, как в ярости, но тоже от всего сердца влил ответную. Когда «просветлело» чуть в глазах, гляжу, а друг мой в воде плавает. Сам не ожидал такого поворота. Похоже, крепко я ему. Не плывет, а пьет. Жадно! Широко глотает, хлебает. Тебе тоже? — поворачиваюсь к другому. «Нет, — говорит, — я же ничего...» Тогда помоги ему, — показываю на бородатого, а то еще не хватало, чтобы выпил все. Пока этот выволакивал дружка, я обернул беркутенка мешком, сам к лошади. — Он ласково посмотрел на птенца. — Сейчас скула болит, зато спас. Загубили бы... — Иван Степанович подошел к беркутенку вплотную. Погладил по груди.

— Смотри, какие лапищи! — показал он на светлые лапы птенца, — как у мужика хорошего. А пальцы, — как мой большой, но толще. Лапы — столбы, а когти — сабли. Еще вот ценный признак ловчего орла — эти пятна на плечах. За все годы моей дружбы с беркутами, а я их больше сотни передержал в руках, с белыми такими вот плечами, лишьнешколько лет назад появились. Раньше их у меня на участке не попадалось... Ой, ты мой хороший, Урс! — он берет его за клюв и, как мальчишку, ласково таскает и почесывает ему головку.

— Почему такое странное имя? — спрашиваю Ивана Степановича.

— Почему? По казахски «ур» — значит, бей. Урсом и назвал, — как бы в подтверждение верности клички он потрогал осторожно снова свою разбитую челюсть.

Это был хорошо оперившийся беркутенок. Он внимательно, словно силясь понять, о чем мы говорили, глядел на нас темными, будто лакированными глазами, излучающими хищный блеск в темных провалах глазниц под козырьками надбровных дуг. То вдруг взгляд обретал по-детски наивное выражение и снова, вмиг, какую-то дикую дерзость, непонятную притягательную силу. Зоб, раздувшийся от мяса, прикрывали шоколадные, искрившиеся лоском перья. Островерхие, кинжалами лежали они на спине. Гладкие, словно намагниченные, они плотно прилегали друг к другу, вспыхивали маслянисто-лиловыми огоньками. Настроение птенца угадывалось по загривку: рыжеватыми стрелами с седыми концами перья поднимались, образуя махровый воротник, что, видимо, выражало недоумение, восторг, даже легкий испуг. Или же дружно перья оседали, как только он обретал покой и благорасположенность. Своеобразная мимика придавала ему вид юного старца, знающего великие тайны чуждых миров и мудрость бытия, который вдруг казался беззащитным, взывал к покровительству.

— Видел, как он? — показывает на поднятый загривок беркутенка Иван Степанович. — Это его те двое мучили. Еще никак не отойдет.

Доверие к человеку потеряно. Ну ничего,— и он ласково берет его за клюв,— поживет, может, и забудет. А вообще, беркут — птица очень памятьливая. Знаешь,— оживился он,— мать-то наша посмотрела на него, как только привез, и сказала, что это хороший будет охотник. Решили оставить для охоты. Все равно и растить и обучать надо. А она,— говорит он о жене,— сколько раз, бывало, глянет и сразу оценит, хороший или так себе. Представляешь, ни разу не ошиблась! Вот баба! Откуда чутье такое? Теперь я ей полностью доверяю. Наперед знает, будто яйца сорочьи пьет!

Фараон

Мы шли вдоль забора, по едва заметной в высокой траве тропке, в конец огорода, за которым стелилась холмистая суховатая степь. Углубились к кустам. Иван Степанович вытирал о траву выпачканные глиной сапоги. Остановился он около длинного вольера, заросшего по краям лебедой и крапивой.— Опять улетела. Ну да ладно...

— Как улетела,— спросил я, глядя на пустой вольер, по углам которого стояли громоздкие, облитые словно известью, толстые сучья.

— Да ладно, потом. Видишь,— показал он на корявый дуплистый тополь.— Из леса привез и поставил для птиц.

— Никогда бы не подумал, что он вырос и высох не здесь,— говорю, оглядывая уродливый ствол, источенный насекомыми и весь в дуплах. Из отверстия, на уровне глаз и у самой земли, слышался слабый птенцовый писк. Около оживленно чирикали и перепархивали полевые воробьи.

— А вон в тех,— ткнул он пальцем вверх тополя,— с весны скворцы селились. А теперь туда посмотри,— указал он вдоль забора, построенного из березовых жердей, углом выпирающих в типчаковую степь. Перед нами, метрах в двухстах, начинался каменистый взгорок. Пробившееся сквозь облака солнце щедро, с каким-то особым напором грело отмокравшую после дождя степь.— Да не туда! — сказал Иван Степанович.— Вон! — шума курткой, показал он.

Там, на толстом березовом колу, повернувшись к легкому ветру, сидел беркут. Выпятив грудь, чуть опустив просыхающие крылья, он был совершенно неподвижен. Видимо, поэтому я так не сразу его увидел. Бросался в глаза его хвост, в светлых серых штрихах и извивах. Вершину его обрамляла широкая темная лента, что является признаком молодости птицы. Цепким холодным взглядом она осмотрела меня, потом хозяина. И вдруг, шелестя сухо перьями, вскинула крылья и неуклюже перелетела на следующий столб. Теперь я видел, что хвост у него щербатый: в середине перья выпали, лишь по краям вилами торчали всего два-три рулевых пера. Поймав, видимо, мой вопросительный взгляд, Иван Степанович пояснил: «Сам первый раз вижу, чтобы вот так сразу у беркута выпал хвост. Обычно они, как и все хищники, линяют медленно.— Лесник пошел к сараю.— Сейчас покажу.— Из-под крыши сарая он вынул газетный сверток и вытряхнул на землю пучок беркутиных перьев. Широкие, как ладонь, черно-белые, все были из хвоста.— Это все с него. На днях вот обронил их»,— Иван Степанович присел на корточки и быстро, растасовал их, сложив на траве почти целый хвост. Рисунок черной ленты совпал, слился. Картина линьки на лицо, как говорят.

Я смотрел на уложенные в естественной очередности перья и думал: у лесника ценный орнитологический материал. К сожалению, специалисты сегодня еще не все знают о ходе возрастной линьки у крупных хищников. Имеются лишь разрозненные наблюдения. Линька вольных и содержащихся в неволе, видимо, имеет некоторое различие, это естественно, поэтому может проходить не совсем одинаково. Но, вероятно, у беркутов Ивана Степановича, которые живут относительно свободно,— прикидывал я, глядя на свободную птицу, линька проходит естественно, или, по крайней мере, близко к этому.

Иван Степанович подошел к могучей птице и осторожно, без резких движений, погладил по груди. Он трогал лапы, тихо, нараспев приговаривая: «Ой ты зверюга мой, хороший, Фараон!» — Потом повернулся ко мне. Продолжая гладить его, он глядел счастливыми прищуренными глазами. На задубленной коже лица они сейчас казались еще голубее.

— А этот откуда? — поинтересовался я, рассматривая крупного гордого орла, сидевшего уже неподвижно, как сфинкс.

— Фараона в прошлом году привезли ко мне совсем маленького. Экспедиция с Академии наук была. У кого-то по дороге отобрали. Едва живой был. Кое-как выходили. Теперь, видишь, какой?! — говорил он с гордостью творца, создавшего прекрасную скульптуру. И действительно беркут по кличке Фараон, словно понимал значение слова «Фараон» и старался держаться так, чтобы оправдать свою кличку: он сидел неподвижно, округло выдвинув грудь. Сильные плечи с подпалинами, как шоколадные, выпирали, что говорило о его мощи. Время от времени он рывками поворачивал голову, мгновенно останавливая взгляд с прыгающими зрачками на ком-либо из нас. В блеске их угадывались гордость и царственность.

— А почему именно Фараон? — спросил я, чтобы проверить свои впечатления. — Редкая и необычная кличка...

— Почему? А ты посмотри, как сидит. Как памятник какой. Может так часами, без движения. И вообще в осанке его сколько гордости. Как еще, если не фараон? — Иван Степанович, не отрывая взгляда своего, влюбленно смотрел на воспитанника и продолжал, — оперился когда, учил летать. Крыло одно у него немного было того, повернуто, повредили маленькому. Но ничего, все обошлось. Зимой выезжал на охоту за лисами. Все как надо: молодец! Теперь не держу в клетке. Сам видишь, захочет, может лететь на все четыре стороны. Сам себе хозяин. Не знаю, что — привычка или дружба со мной удерживают.

Раньше еще, когда получал письма от Воробьева и когда уже сам видел его орлов, с тревогой думал о том, что беркут занесен в Красную книгу СССР. Естественно, что содержание его дома может считаться как одна из разновидностей браконьерства. Вид исчезающий и должен быть только на свободе. Как же теперь рассматривать их, как поработанных человеком или как вольных? Нарушил или нет закон Иван Степанович? Нарушил: потому что беркуты должны быть на воле. У него должно быть потомство, чтобы обеспечить существование популяции. А если бы не он, Иван Степанович, птиц, которых я вижу, уже б не было и в живых. Так имеет ли право этот человек содержать у себя орла, которому грозит как виду исчезновение? Пожалуй, да, — думал я, — уже потому, что он спас его. Потому что научил самостоятельно добывать корм и, главное, что

орел не в клетке. Здоровый, сытый, свободный! Разве не пример дружбы человека и орла? Разве не пример человеческой доброты? Спасенный человеком, он стоит больше, чем пуд прокламаций и официальных бумаг, затмевающих порой практическую деятельность, направленную на спасение вида.

— Иван Степанович,— обратился я, испытывая некоторую неловкость за сомнения, которые терзали меня.— У вас были случаи, чтобы вот такие же птицы, как ваш Фараон, потом улетали и стали свободными, дикими?

— Десятки раз,— не задумываясь, ответил он.— И Фараон поживет год-другой, может, меньше, и уйдет. Воля есть воля. Сила ее почти неодолима. Я всегда первое время горюю, если улетит, все-таки привыкнешь. А в душе тихая радость, гордость даже. Ведь я же их люблю.

Видишь, повернулся! Они всегда так. Даже если ветерок неуловим, они как флюгеры. Издали глянешь и всегда узнаешь, откуда потяга. Наверное, врожденным чувством узнают неощутимые для человека потоки воздуха. Они очень чувствительны к ним, используют их во время полета. Для них это важно. Кое-что в технике полета молодых тоже соображаю. Молодого, летного, но конечно малоопытного беркута, если захочу, всегда поймаю. Были случаи, ловил даже хорошо летающих. Хитрого в этом ничего нет: стоит только спугнуть в затененные скалы или на склоны, и все... Для кольцевания всегда так и ловил молодых.

— А теперь пойдем на горку,— показал он туда, где темнели плоские, вросшие в степь скалы.— Там тоже кое-что есть...

Фараон по-прежнему сидел на облюбованном березовом колу, светил внимательными глазами, словно все отлично понимал и вместе со мной удивлялся Ивану Степановичу, знающему разные хитромудрости про его родственников.

На ходу лесник продолжал рассказывать все тонкости о том, как беркуты, особенно старые, умело используют в полете, когда кружат над щелями, теплые восходящие воздушные течения. Рассказывал и время от времени останавливался, расставив руки, как крылья, показывая, как это они искусно делают, будто и сам летал когда-то — и не во сне, а наяву. Увлеченный его рассказом, к своему удивлению, я даже и не заметил, что вскоре мы были далеко от двора, огороженного жердями с березовыми кольями. Мы шли теплой, умытой дождем степью, залитой полынным воздухом. По-прежнему сидел Фараон, почти демонстративно выпятив грудь, он казался вырубленным из кедровой древесины, светлый хвост его — из березовой коры. Может, оттого и горд, что собственной судьбой распоряжается сам.

— Куда теперь? — спрашиваю. Иван Степанович направляется прямо к скалам.

— Не спеши. Сейчас покажу тебе свою любимицу Викторию. Золотую орлицу!

Золотая орлица

Мы подошли к скальному бугру, возвышавшемуся в низкотравной степи и среди низеньких зарослей таразайника. Степь парила, дышала подвяленным типцом. Запах чабреца волнами вливался откуда-то со стороны. Под ногами мокрые плоские камни, заляпанные и обклеенные

разноцветными творожистыми лишайниками. Камни тоже парили, дымилась влагой и грибным духом. Иван Степанович остановился. — Видишь, красотища какая! — он показал на посвежевшие от дождя травы, на гранитные слоистые булки скальников, что виднелись дальше за речкой. Вокруг яркой зеленью светились березняки. Вразброс зеленели сосны. В дымке испарений тонко дрожал одетый в золотисто-зеленые травы Нарымский хребет.

— Не будет громко сказано: жить не могу без этой красоты. Ей-богу, не могу! Уеду в город и через сутки смертельно скучаю, назавтра уже ходу домой. В Усть-Каменогорске родственников у меня много. У кого-нибудь переночую и назад, другие потом обижаются. А я не могу. Понимать они не хотят: «Мол, вот какой стал. Не хочет пожить у нас». — Не могу и не хочу в городе. — Он остановился, всматриваясь в каменистую горку и, вскинув кустистые брови, показал вперед: — Во-он моя хорошая сидит!

На плоской скале, чуть выступающей из мелкого таразайничка, темнела фигура орла.

— А почему там?

— Как «почему»? Захотела и улетела, — довольный моим удивлением, отвечает он с улыбкой. — Ей тоже отдохнуть от дома надо. Часто улетаёт. Либо в горы, либо здесь, у дома. — Ускорив шаг, лесник пошел напрямик через таразайник к сидящей орлице. Я следовал за ним. — И не только сюда, а вообще, куда захочет, туда и улетаёт. Вольер пустой видел? — Киваю утвердительно головой. Стараясь не отставать от лесника, спешу по мокрым кустарничкам. — Орел есть орел... Птица неба! Хочется ему полетать.

— А ночует где? Или на ночь домой забираете?

— Где хочет, там и ночует. Виктории некого бояться... Собака, лиса ей ни по чем.

— А люди?

— Это только и опасно. Нашенские-то все знают. Не трогают. Приезжие — другое дело. Посматривать приходится. Меня дома нет, — Степка или Иван... Чаще всего ночевать улетаёт во-он к той Высокой горке, — показал он на самую высокую скальную гору, похожую очень на пирамиду, далеко видную в зеленой пойме речки Каиндинки. — Там чужих у нас почти не бывает. Хотя однажды, — он подумал, вспоминая что-то, и продолжал, — лет десять-пятнадцать назад, вспомнил, был один случай. Виктория отдыхала так же на скале. Ее заметили два чужих охотника. Поняли — беркут прирученный и, похоже, знали, что мой, но решили к рукам прибрать. Виктория доверчива. Подпустила. Ловить стали — не дается. Перелетает со скалы на скалу, а совсем не улетаёт. Тогда один из балбесов камнем ее по крылу. Взлетать стала — не получилось, упала в кусты. Он и кинулся к ней. Виктория оказалась куда проворнее — лапой за руку схватила и держит. Тогда он хотел ее за шею. Но железная лапа, он и ахнуть не успел, защучила вторую руку. Сам знаешь, если обозленный беркут схватил — все! Пиши пропало! — махнул он рукой, — не только заяц или лиса, волк беспомощным становится. Тогда друзья-приятели и поняли, случилось страшное. Крепко влипли! Смелый горе-охотник мог вообще рук лишиться. Когти беркута рвут не только мышцы и крове-

носные сосуды. Дело серьезное. Что делать? Тогда напрямик ко мне. Шли и бежали с беркутом. Орлица держала своего обидчика насмерть.

— Ну, а если бы они убили ее тогда?.. — перебил я.

— И все равно бы не разжать ее когтей. У беркута есть особенные приспособления в лапах: пальцы, как на защелках, фиксируются за счет рубчатых сухожилий. А, представляешь, не когти, а крючки железные сантиметров по пять, да почти в палец толщиной. Освободил я пострадавшего, — Иван Степанович улыбается про себя, невесело кривя губы. — Крыло, вижу, повисло. И, честно говоря, от себя так хотелось ему еще добавить, но, думаю, ладно и так. На всю жизнь запомнит. Было, его инвалидом не сделала. Год крыло мы с Викторией лечили. Думал, вообще летать не будет. Обошлось...

Мы остановились. Перед нами, близко, на вершине плоской скалы, сидела крупная орлица.

— Вита. Вита! — позвал он тихим голосом. Орлица тотчас сгорбилась, будто собралась идти навстречу, и издала серию нежных, почти птенцовых звуков. Опустив голову, она, горбатясь, приподнялась неловко и, как электромонтер с «кошками» на ногах, стала переступать с лапы на лапу. Слегка подняв крылья в знак приветствия, она стала аккуратно складывать их, словно только спустилась с высоты.

— Улетит? — спрашиваю.

— Нет, — уверенно ответил он. — Ой ты моя хорошая! Ой ты моя золотая! — Иван Степанович сел около нее на корточках и обнял птицу за плечи. Доверчиво прижался к ней щекой. Орлица смотрела ясными холодными глазами, словно обдумывая — «что мне с ним делать?» Словно она только что помирилась с ним и теперь скупно и осторожно ласкает своего «блудного сына». И вдруг резко трянула головой, будто отогнав терзающие ее мысли, клювом коснулась его лица и стала нежно разговаривать: «ить-ить-ить»... Я стал свидетелем редкой и интереснейшей сцены. Раньше б сам не поверил, что могут установиться такие добрые отношения между человеком и грозной птицей. Даже в минуты нежности и кроткости орлицы меня поражало свирепое выражение ее хищных глаз. Из провала глазниц они метали сухой недоброй огонь. Изогнутый, могучий клюв, вооруженный «стальным» крючком, как только она показывала профиль, казался еще грознее. Любуясь трогательной привязанностью старых друзей, я со страхом представил: вдруг воспользуется своим оружием от природы. «Клюв страшный, лапы сильные, а голова маленькая», — думал я. Человек и орлица ласкали друг друга, обменивались нежными разговорами, каждый на своем языке, но понимали друг друга, чего, к сожалению, порой мы, люди, не можем сделать, разговаривая на одном языке. Иван Степанович обнимал ее за шею, гладил и, притянув, целовал в голову, «щеку», если так можно назвать ее суховатые скулы, в разрезе которых желтели выступающие зевки. Выпустив ее из своих объятий, лесник погладил ее, как собаку, по спине и, легонько похлопав по «плечам», подошел ко мне.

— Почему Викторией назвали? Незаурядная кличка, с претензиями на оригинальность.

— Да все просто! — пояснил Иван Степанович. — Слышал, как она ласкается — «вит-вит-вит». Отсюда и Витка, а полностью — Виктория.

Мы привыкли и не замечаем, красиво или нет — Виктория, а привычнее — Витка. Конечно, в паспорте записал бы Виктория!

Услышав кличку, орлица повернулась к нам и сухо, как древняя старуха, смотрела хрустально чистыми глазами. Иван Степанович снова подсел к ней. Взял за лапу и гладил крылья. И Виктория снова ласково пощипывала и осторожно трогала клювом лицо и кустистые брови Ивана Степановича, отмахиваясь теперь словно от всепроникающих ласковых слов, которые он ей говорил.

Наблюдая эту редкую идиллическую взаимность, я вспомнил картину эпохи Возрождения — фламандского живописца Рубенса — «Человек и орел».

— Иван Степанович, за что же вы любите орлов так преданно? — спросил я неожиданно для него, да и, пожалуй, для себя.

— За что? За все... За что мы любим родных, любимых — за все. А точно, за что, и не знаю.

Я понял, что и сам не знаю, как ответил бы на такой же вопрос, если бы вообще разговор шел о пернатых, которых тоже люблю. Иван Степанович, не раздумывая, ответил сразу — «за все» и, пожалуй, точнее не скажешь, если любовь его жизненная необходимость. В этой странной привязанности — вся его человеческая сущность, логика и рассудительность не заменят чувства сердца.

Я Викторию разглядел до перышка: могучая возрастная птица. Годы до блеска вычернили ей «щеки», обрамленные шоколадно-коричневыми перьями. Чистое, маслянистое оперение делало ее похожей на блестяще выполненную скульптуру из красного дерева в лаковой полировке. На груди и боках они отливали золотисто-кофейными отсветами. На каждом перье бился родничок солнечного огня. У молодых на крыльях и хвосте несколько лет сохраняются светлые, с мраморным рисунком перья. Виктория давно утратила ранневозрастные особенности окраски. Хвост, как поддмленный, обрел серовато-коричневый цвет, тонко испещренный темными пятнами и прожилками. Острыми клиньями на хвосту лежали накрест сложенные крылья. В целом же оперение, чистое и залитое светом, играло и сыпало лиловыми искрами. Бросались в глаза иглистая и шелковистость острых перьев зашейка, отдающие позолотой: плоскими иглами они дыбились, подвластные ее настроению, придавая ежистость и некоторую вздорность. Когда опускала она их, шея становилась ровной, гладкой, мягко и сочно золотилась. Высокий гнутый клюв, отлитый будто из чугуна, придавал не только грозное, но и вместе с тем царственное выражение. Крепкие почти медвежьи когти, словно впаяны в ребристые, цвета меди пальцы. На них опирались темно-коричневые мохнатые чулки могучих лап. Толстые, подогнутые в сторону голени придавали кривизну им дикого степняка-наездника. Все говорило о недюжинной силе орлицы. Как свойственно хищным птицам, она резко поворачивала голову, молниеносно останавливая огнеметный взгляд. В золотисто-карих глазах плясали яркие отсветы солнца. В мгновение ширился и сжимался зрачок, что придавало броскую цепкость и дерзость взгляду. Пустоватый блеск зрачков, непередаваемая оптическая проницательность, красноречиво говорили о дикой алчности их хозяйки.

О взгляде орлов можно много рассказывать, но описать то впечатление, которое он производит, трудно. В нем можно увидеть огонь безумства, жестокости, или даже это взгляд самой воображаемой нами

смерти. И, напротив, это взгляд природы — ласковый, приветливый, а порой по-детски кроткий или с искрой философского мирозерцания. Орлица воплощала древность орлиной природы. Взгляд ее в эти минуты казался без искорки мысли и всякой, хотя бы крокодильской, жалости. Это главная деталь его притягательной силы. Непостижима необычная дружба орла с человеком, как сопоставить дикую необузданность с лаской и взаимностью, которой отвечает птица давнему другу и хозяину?!

«Доброта человека, — думал я, — сильнее звериной алчности, тупого упрямства, сильнее стремления, с каким животные рвутся на свободу, оказавшись в плену».

— Сколько лет ей?

Иван Степанович, оставив Викторию, подошел ко мне. — Считай, — сосредоточившись, сощурился он. Помолчал, прикидывая на годы, — ни больше, ни меньше, а двадцать пять есть. Старушка! Сам видишь — сильная, никаких признаков дряхлости.

— Известно давно, что орлы — долгожители, — говорю.

— Так-то оно так, и все-таки годы! — Иван Степанович повернулся к Виктории. — Посмотри на ее когти. Толстые, как палец, и крепкие, а в них, приглядишь, светлые зерна. Седеют они по-своему. Это возрастной признак. Клюв тоже... — он взял ее за «зуб» крючка. — В нем седина тоже молоком будто изнутри наливается. Видишь?! — Только теперь заметил я мутную блеклость в глубине рогового вещества когтей и клюва стареющей орлицы. — Была бы железная, — иронизировал лесник, — когти и клюв уже ржавчиной бы разъело. Она у меня золотая! Сам знаешь, ржавчине оно не поддается! — Лицо его осветилось внутренней радостью, казалось, зубов прибавилось, когда улыбнулся. Он повернулся снова к орлице, словно видел ее, как и я, в первый раз. Вскинув брови, с нежностью в голосе добавил: — Умница, вот главное! Иначе бы мы с ней не были вместе.

Мы присели на подсохшие камни. Иван Степанович сдернул кепку, положил на подсыхающую траву. Поправил спутавшиеся волосы, вытянул ноги. Кирзовые сапоги, намокшие от травы, барили под солнцем. Масляно блестя по всей пойме речки Каиндинки березняки и тополя. За селом встала радуга. Где-то над головой уже звенел поднявшийся жаворонок.

— Много чего было за двадцать пять лет. Сам понимаешь, срок немалый. Много раз улетала, — стал рассказывать он о своей орлице. — И каждый раз я думал: «Ну все! Больше не увижу». Был случай, что зимой улетела. В общем-то не такая уж редкость, когда беркут своего хозяина на волю меняет. Так и я тогда думал: все, с концом. Воля все-таки взяла свое! Но, скажу честно, без обиды воспринял ее исчезновение. Беспokoило только, чтобы никто не убил. Сам знаешь, какой народ с ружьями бродит. Пусть, думаю, живет, как природа велела. Может, где и птенцов выведет. Только была бы жива. Люблю ее. Сам посуди, если любишь, можешь ли своему любимому плохого желать. Да еще такой умной орлице, как Виктория. Так вот, прошло три месяца с того дня, как она улетела. И вот, помню, однажды под вечер, в метель — всюю крутила — я с обхода возвращался. Крепко устал в тот раз. Ветром лицо нажгло. Без конца куржак со щек смахиваю. Пуржит, свист и вой со всех сторон в ушах. Ни зги не видно. Смеркалось, до ночи домой тороплюсь. И вдруг сквозь этот вой и свист ветра голос Витки.

Я же хорошо его знаю. Из сотни других узнаю. Думаю, показалось. Не может же в такую пургу, да и времени столько прошло... Иду, сам опять слышу. Ну точно она «пштак-пштак» — резко и сильно уже кричит. Остановился. Вслушался. Точно! Кричит, а не вижу, где. Вернулся тогда, обхожу горку, вижу, на скале ее фигура. Сидит, от ветра пригнулась. Про пургу забыл, к ней бросился. А ведь было прошел. Ждала, что подойду. А увидела — ухожу, звать стала. Узнала же, умница!

Иван Степанович посмотрел на Викторию, спокойно перебирающую ладно подогнанные кофейные кинжальные перья.

— На охоту идет еще или уже старая?

— Что ты, старая?! — запротестовал он. — В прошлом году восемнадцать лис поймали с ней. А были годы до пятидесяти брал за сезон.

— А если всех посчитать за время совместной охоты? — поинтересовался я.

— Ой! — махнул он рукой, — много! — И, помолчав, сказал: — Трудно сосчитать, но, полагаю, сотни три-четыре, а то и больше. Не считал же.

— Так действительно получается золотая орлица, — делаю вывод.

— Нет, не это главное в наших отношениях. Ловить лис с любым дикарем можно. Через месяц-два после отлова начинать можно. А дружить, как мы с ней, — совсем другое. Мы с ней старые друзья. Люблю ее, как лучшего друга.

Иван Степанович оборвал разговор. Подобрал ноги, навалился, как у костра, на бок, чтобы лучше видеть свою Викторию. Мы оба теперь наблюдали, как она перебирала перья.

— Знаешь, как ходит на зверя? — прервал он наше молчание. — Низом. Высоты никогда не набирает, но бьет очень сильно. Даст по зверю, словно доской оглушит. Но сама никогда не умерщвляет. Держит всегда, меня ждет. Совершенно бесстрашная. Из-за этого дважды было не потерял ее.

— А что случилось?

— Особенно-то и рассказывать нечего. Вон там, — показал он на гранитные сопки за речкой, вокруг которых густели сосняки, — в позапрошлом году рысь с двумя молодыми ходила. Только на след их стану, обязательно одну-другую задавленную косулю найду. Печень и еще что-нибудь поедят и бросят. Поехал тогда в Курчум, получил разрешение в охотсоюзе на отстрел. И вот морозный день. Еду на коне по следу. На руке Виктория. Снег убродистый. Спустился в лощинку, к березняку, и вот семья рысиная, как на ладони. Уходить стали. Машинально сорвал с Витки колпачок. Она с ходу низом за отставшим молодым. Догнала и с лету ударила. Только видел, что снег в разные стороны и оба потонули в сугробе... Я коня под бока. Вижу, как мать-рысиха разворачивается и на Витку — детеныша выручать. Ну, думаю, все: порвет! На всякий случай стреляю вверх. Мчусь во весь опор, конь на голых камнях спотыкается, вязнет. Думал, сердце у меня выскочит. Еще стреляю, отпугнуть лишь бы. Успел. Подъехал, а рысиха не отходит. Сразу двух и добыл. Но рысь, скажу, по длине с меня. Крупная!

— А еще в прошлом году, — переключился он сразу же на другой случай, — еду сопками вон там, около Высокогорки. — Он показал рукой за село, под дальние горюшки, за которыми где-то в лощине и находилась маленькая деревушка. В зелени угадывались каменистые гряды. По логам

сплошняком заросли карагайника. Иван Степанович продолжал. — Витка также на руке. Поднялся с ней на небольшой перевал. Снегу немного, надувов еще не было. Вижу, и лиса из карагайника вынырнула, хвост трубой, только снег вихрится. Сдергиваю колпачок, Витка же знает, что терять время нельзя, в воздух сразу. Сначала взяла вниз по склону, ищет, потом, чуть набрав высоту, повернула к сопкам. И скажи, как получилось, — хлопает он по голенищу сапога, — вдруг пошла на противоположный склон, не туда, куда лиса убежала. Скорость набирает. Взял бинокль, а там росомаха, сгорбилась, удирает. Витка развернулась и низом на большой скорости за этой Таней-Мотаней. Как даст ей сбоку. Ударил, когти сорвались, и Витка кувырком через голову в снег. Метра на три от росомахи упала. Сидит в снегу, на хвосте, потеряла добычу, крутит головой, видно, тоже ничего не поймет. А та как бежала, так и бежит, в кусты. Скорости не прибавила даже. Только бы, думаю, не вернулась. Тогда все, голову или лапы пережет разом Витке, у росомахи ведь не челюсти, а железные волкодавы! Доскакал я до Витки на Карьке, а она сидит с толку сбита: почему в лапах пусто? Вытащил ее, а в лапах клочки росомашьей шерсти. Ну, думаю, крепко нам повезло. Кончила бы ее росомаха. А сам себе соображаю: почему когти-то соскользнули? Это же почти невозможно. Когти у Витки железные. Одно объяснение знаю — росомаха тоже как железная — из сплошных мышц вся. Напряглась, наверное, и поэтому когти ее не взяли. Уважаю эту тварь за хитрость, силу, смекалку. Удивительный зверь! Она почти никого не боится. За себя постоять сумеет. Страшно вынослива. Охотники не любят ее. Ни от одного доброго слова о ней не слышал. А я уважаю ее. Люблю силу. Например, накануне случая с росомхой, дня за три, помню, шел волчьим следом. Вижу, три прошло. Выехал на сопку: на соседнем склоне росомаха в снегу чего-то шарится, у небольшой скалы. Чего делает — не пойму. Стал думать, как подъехать. И вдруг: глазам не верю, как из-под земли три волка. Все к ней с разных сторон. А она вот так, — показал он, сгорбившись, присев на корточки, — подобрала под себя лапы и крутится в разные стороны. Кажется, вдвое стала больше, словно резиновая надулась. Крутится, как сорока на колу, скалится. Волки с разных сторон. Метра на три подошли. А она напыжилась, хвост задрала, сама не убегает. Ну, думаю, сейчас они кончат ее. Постояли серые около, принохиваясь, струсили, пошли своей дорогой. Побоялись они или сытые были?

— Чего ей волки? Медведь не трогает! — поддерживаю его предположение, что волки на самом деле струсили.

— Поставил сам капкан на нее. Назавтра прихожу. Сидит, шипит. Бросается на меня. Говорю тогда, как тому колобку: «Извини меня, от орла, от волка ушла, а от меня нет». — Иван Степанович взглянул на меня испытующе, как бы оправдываясь, что поймал росомаху, и пояснил: — Потому капкан поставил на нее, что встреча с Викторией могла повториться. А чем она могла окончиться, я говорил.

— Ну что, домой? — обратился он.

— А ее как? — показал я на орлицу, трясущую крыльями, после того, как старательно клювом охорошила каждое перышко.

— И она пойдет. Завтра же едем с тобой на обход. Мало ли что? Много всяких наезжих бывает. Если не ружьем, камнем прибьют. Так ведь всегда наши «любители природы»: кулаком себя в грудь научились колотить, доказывая, как любят природу, а если что увидел, значит, бить

надо. Нет, чтобы полюбоваться... за камень или палку сразу. Цивилизованные дикари!

Иван Степанович достал из куртки кожаную до локтя рукавицу. Сшитая из жесткой, грубо выделанной кожи, она надежно защищала руку. Он подошел к орлице, подвел рукавицу под брюхо. Нехотя ступив на нее, орлица, как только он ее поднял, поняла, что домой, и тотчас мягко спланировала на землю. Иван Степанович подошел снова и снова усадил ее. На этот раз она слетела на землю, отвернулась и, словно демонстрируя нежелание идти домой, медленно на своих мощных кривых ногах зашагала прочь, приподняв плечи, будто брела не по степи, а по воде.

— Вита! Ты что, милая? Домой надо. Пойдем, золотая моя. Пойдем, хорошая моя, домой! — присев около, он стал уговаривать ее.

Орлица остановилась, прислушиваясь к голосу, будто пыталась понять, чего он от нее хочет. Иван Степанович снова под ее шоколадное брюхо подвел рукавицу. Шумя крыльями, балансируя, она неловко ступила. Поддерживая правую руку левой, чтобы не дрожала под ее тяжестью, лесник, ласково приговаривая, медленно нес ее в сторону дома. Тяжело переступая, чтобы не сорваться с рукавицы, помогая крыльями, Виктория повернулась грудью вперед по ходу. Чтобы не потерять равновесия, она то и дело вскидывала могучие крылья, что, казалось, взлетит и уйдет в степь. Она знала, что хозяин идет с ней в ограду и посадит в вольер. Возможно, знала и то, что снова сетка не даст ей подняться в воздух, когда она этого захочет. И тогда небо и птиц она будет видеть только через железные ее окна, как жесткой паутиной отгораживающие мир поднебесья с облаками, простором.

Иван Степанович шел медленно, бережно нес ее перед собой, поглаживая грудь и лапы свободной рукой. Все это время он ласково разговаривал. Чтобы успокоить ее, чтобы оправдать доверие. Кажется, орлица прекрасно понимала и знала, что настало время домой. Я медленно иду следом. Вдруг беркутиха раскинула крылья огромные, как два широких зонта, закрыла ими Ивана Степановича с головой, будто обняла, словно чтобы защитить от яркого солнечного света, который щедро теперь лился с высоты бирюзовых умытых дождем небес. Так по полю и шел человек с могучей птицей на руке. Со свободной орлицей, обнявшей его вольными крыльями. Нес он ее к своему человеческому жилищу, от стихии гор, скал, от дарованной ей природой свободы.

Поотстав чуть, я смотрел на них и сделал для себя еще одно открытие: я убедился, что в жизни, где для каждого самое дорогое — свобода, есть еще чувство такое же сильное, а может быть, и сильнее вечного понятия — дружба, которое обязывает ко многому, как только завладеет нашим сердцем.

Мохнатый сторож

— Давай сюда! — оглянувшись в седле, показал мне Иван Степанович на соседний, за ручьем, взгорок. Мы направили коней через небольшой овраг. Опустив головы, позванивая удилами, раздувая бока, они стали жадно пить, как только зашли в небольшой ручей. Подрагивая шкурой, усиленно отмахиваясь черными хвостами, отгоняли осаждающих оводов и слепней. Отфыркиваясь, снова и снова пили. В этот час, когда размо-

ренная зноем степь звенела кобылками, когда хотелось свалиться и лежать где-нибудь под кустом, идти дальше не хотели и кони. Наслаждаясь прохладой, стоя по колено в студеной горной воде, они долго пили, довольно отдуваясь, и махали головами, звеня удилами.

— Ну пошли! — прикрикнул на своего коня Иван Степанович. Роняя с губ капли в прибрежные осоки и лютики, его Карька, мотая головой, уже недовольно сопя, с неохотой вышел из овражка. Мой конь тоже против воли, так же безынициативно брел следом. Я предоставил ему самому право на выбор — отдыхать или идти. Он пошел, чтобы не отстать. За оврагом начиналось сизо-голубоватое овсяное поле, над ним духота и безветрие. Хотелось, чтобы задул ветер, чтобы колыхались тучные разливы овсяных посевов. Хотелось свежего глотка воздуха. Почуяв овес, кони на ходу хватали стоящие у межи незрелые метелки. Смачно и торпливо жевали их молочнистые зерна.

— Хорошие нынче овсы! — оглядывая широченное поле, говорит Иван Степанович. — Год влажный. Хлеба и картошка, похоже, будут хорошими. Беда, птиц мало. Совсем пусто! — В который раз он начинает один и тот же разговор, сетуя на минувшую зиму.

— Еще бы, зима такая! — поддержал я. — Читал как-то у Карла Риттера, — кажется, в 1840 году у нас, на Востоке Казахстана, зима такая же была. Страшный джуг был. Чего только местные казахи не делали, чтобы спасти от падежа скот: рубили и валили деревья на речке Кулуджун, чтобы скотину ветками поддержать. Но куда там! Скот почти весь погиб. В том году, как написано, почти вымерли или оказались на грани гибели многие звери и птицы. Особенно пострадали в обилии живущие здесь дрофы, фазаны и даже красные волки.

— Получается такая же картина и в этом году, восемьдесят пятом, — не поворачиваясь, покачиваясь плавно в седле, говорил лесник. Опустив повод своего коня, он давал возможность ему хватать на ходу наливающийся спелостью овес.

— Ужасная была зима: в прошлом — 84-м году, у меня на обходе зимовало около сорока беркутов, нынче осталось только три пары. Такой низкой численности их за последние десять-пятнадцать лет у меня не было.

— Во какой, смотри! — воскликнул он, ткнув пальцем под ноги коню. Вдоль кромки овсяного поля тянулась вереница огромных вмятин. Будто после дождя прошелся кто-то по грязи в больших, не меньше пятидесятого размера, валенках. Впереди вмятины, примерно в пяти сантиметрах, по четыре прокола. Словно тот кто-то шел и тыкал вилами перед следами.

— Неужели такой большой, — удивлялся я, рассматривая следы, — наверное, они уже размытые.

— Нет, — возразил Иван Степанович, — смотри по когтям. Сегодня ночью Михайло Иваныч прогуливался. На овсы приходил.

— Можно подумать, что он по-зимнему обут, как сторож, ходил, охраняя овсяное поле, — заметил я, глядя на следы.

— И так сторож, — заулыбался Иван Степанович, показав щедро нестройный ряд зубов. — Это мой личный сторож. Старый приятель. Хоть благодарность выноси...

И Иван Степанович рассказал мне одну историю, которая длится уже два года.

— Вон там, под горой, у ключика, около бывшего поселка Заря, где теперь ферма, у меня огород. Сам раскорчевал кустарник. Хорошая картошка каждый год родится. За огородом, повыше, непролазный карагайник. В позапрошлом году на огород дикие свиньи повадились. Пасутся ночью на овсах, а потом на огород. Черти проклятые, хотя бы картошку съедали, а то, как назло, возьмут перепашут десятину, другую. Приеду, а огород вскопан, клубни все наружу. Разорили, проклятые! Маралы на водопой через огород тоже ходят. Земля мягкая, истопчут, все пропало — ботва в кашу. Чего не делал: сторожил, пугала разные ставил. Ни черта не помогает. Потом вдруг непонятно почему исчезли. Нет и нет... Хорошо! Сам удивляюсь, почему. Решил, что другое место для водопоя и отдыха нашли. И вот однажды мы с Дусей и Степкой приехали на огород полоть картошку. Пололи, значит, пололи, а мне нет-нет да и почудится запах звериный густой такой и где-то рядом. Не какой-нибудь, а медвежий. Говорить о своих подозрениях своим не стал. В полдень сели у ключа пообедать да отдохнуть малость. И опять этот запах. Дай-ка, думаю, схожу в карагайник повыше огорода. Оттуда вроде бы и тянет. Обошел заросли по закрайку. Тихо и спокойно. Только пчелы да бабочки, птиц и тех не слышно. Жарко, духота. Иду по склончику, по траве. Прошел эдак метров пятьдесят. Постоял, послушал. Тихо. Только мухи зудят в нагретом воздухе, кобылки жарко стрекочут. Взял тогда и швырнул камень в карагайник. И вдруг, бог ты мой! — мохнатая башка оттуда! Вот такая, — развел руки колесом. — Стал, черт мохнатый, на задние лапы. Озирается, ничего не поймет, может, спросонья. Я присел. А он крутит по сторонам башкой. Но здоровенный! Сам же видишь следы. Постоял-постоял он, не разглядел меня и опустился в заросли. А я потихоньку-потихоньку к своим. Рассказал. Дуся в панику. Медведь же... Успокоил ее и говорю: давайте работать будем, как и работали. Только без криков, без шума. Так и закончили прополку. Тогда понял, почему кабаны пастись перестали, а маралы вытаптывать. Смекнул, конечно, пока он здесь отдыхает, свиньям не климат по соседству с таким сторожем. А сам медведь на овсах пасется, а отдыхать идет к моему огороду. Так и прокараулил все лето. В этом году то же самое. Это его следы. Такой здоровущий! Лапти, а не следы. А если б ты посмотрел, какая у него башка, — вот такая! — развел он снова вширь руки, — как подушка. — Берегу его — сторож все-таки. Да еще бесплатный. И, главное, караулит не днем, а ночью. Ну, пошел! — прикрикнул он на коня, идущего вдоль поля следами медведя, хватавшего пучки августовского овса, зреющего у обочины проселка.

Каль

— Детство голодное было, — рассказывал мне Иван Степанович. — Но все равно каждый раз, в любую погоду, я выбирал время, чтобы сюда в горы вырваться. А здесь, сам видишь, — обвел он рукой лесистые сопки, округлые, причудливо «сложенные» пирамиды гранитных останцев, широко и живописно раскиданные по горушкам, идущие до самого Нарымского хребта, заслонившего горизонт. Разве устанешь от такой красоты!

Вот и бегал сюда каждый день. Бывало, тетеревов в карагайнике подниму, рябчиков на гумне погоняю.— И пояснил тут же.— Мы так звали серых куропаток. Снег выпадет — петли на зайцев ставлю. Птицы много было. Снегирей, чечеток зимой по конопляникам ловлю. Много возился с птицами и все дома держал. Подрос, с ружьем стал бегать. Но это не все. Меня, помню, очень тогда поразила картинка.

— Может, помнишь? — повернулся он ко мне, сощуриив восторженные глаза, — там волк по степи бежит, скалится, озираясь. Над ним беркут, крылья в разные стороны. Когти вот-вот вонзят. Рассказ «Стальной коготь» называется. Это в учебнике третьего класса. Помню, сижу на уроках и часами гляжу на эту картинку. Десятки раз перечитывал, бывало, рассказ о могучем беркуте. Башку свою всякими небылицами набью, потом уснуть не могу. Так и хотелось завести себе беркута и охотиться с ним. И чего только не рисовал в своих мыслях, всякие там картины, на что только способен был. Усну, так орлы одни и снились. Откуда все это было и до сих пор не знаю. А когда подрос маленько, стал работать в поле. Увижу если канюка, коршуна, луня или сокола, а мы всех их звали тогда кобчиками. Кобчик, да кобчик. Старики и мы всех одинаково... Так вот увижу и подолгу, не отрывая глаз, слежу за кобчиками. Страшно завидовал, что летать умеют. А ведь летают как — ни одного взмаха. Час пройдет, а он кораблит только. И мечта завести себе кобчика, только крупного, не оставляла меня все эти годы.— Иван Степанович хмыкнул себе под нос, вспоминая.— Приволок однажды пустельжонка домой. Мать ругается: «Все ты не как все ребятишки. Только бы возиться тебе с какой-нибудь ерундой». Оно — и мы понимали — время трудное. Не до развлечений. А душа просит, и почем ей, матери-то, знать, что потом это будет главное в моей жизни.— «Унеси сейчас же обратно!» — ругается, бывало, она. А я со своими птицами убегу за горки, выплачусь, а сам опять за свое: подержу где-нибудь во дворе его, чтобы не видела она, а потом опять увидит и снова ругается. Но все лето так его и прятал. Выкормил все-таки и выпустил перед школой. Всю зиму потом дни считал, ждал, когда весна придет. И ждал, что он прилетит ко мне. И сейчас думаю, прилетел бы, если бы остался жив. Так мы с ним дружили.— Помыкала мать со мной горюшка, — улыбнувшись, говорит он, и весело, чуть вскинув широкие брови, ищущим взглядом смотрит куда-то вдаль.— Все увлечения мальчишек тогда, от которых пользы для дома не было, принимались как сплошное баловство. А если взрослый себе такое позволял — осуждали всем селом, да за человека не считали. За чудака какого-нибудь.— Иван Степанович по-серьезному, с тревогой добавил.— Откуда же у нас экологическое воспитание будет, если никто никогда занятия всякие и увлечения природой за дело не считал. Таких людей просто-напросто бездельниками называли. И сейчас это не у всех прошло. Меня здесь тоже за чудака считают. Втихаря посмеиваются. «Вот, мол, беркутов сторожит, делать ему нечего».

Пошел сырой сочный луг. Лесник незаметно поводящими направлял коня, искусно огибая колдобины. Неслышно совсем ступали лошади. Запах давленной травы растекался в тихом нагретом воздухе. Луг кончился, и подковы застучали на серых плоских камнях, словно обштопанных пятнами лишайников. Они гулко звенели на сухих прогалинах с пахучим чебрецом, зверобоем и тысячелистником. Мы пересекли едва

заметные тропинки, убегающие в овражки, и, пробравшись сквозь заросли таволожки, ивняков и высоченных злаков через воздушно-прозрачные речушки, объявлялись на другой стороне ложбинки. А спрятавшиеся ручейки в июльский зной, казалось, отдыхали в тенистых зарослях, не переставая утробно ворковать на каменистых порогах.

— Смотри, красота! — восклицал лесник, словно сам впервые все это видел. — Люблю, как свой дом, эту ширь, скалы, ложки, речки, осинники, да березняки. А сосняки какие... — Вот и бегал сюда каждый день. — Он обтеревил у ручейка коня. Мы опустили поводья. — Пусть попьют...

— Однажды, — снова начал он, — мне попалось гнездо большого подорлика на дереве. Взял домой на воспитание птенца. Все лето кормил. Чистый, красивый вырос. Наши аксакалы говорили, что «очень хороший орел для охоты». Вырастил, стал с ним в поле выходить. Сам решил учить. Но потом брат старший отобрал у меня его и отдал своему приятелю охотнику-беркутчи недалеко здесь, на займку Актас.

Обида страшная на него была. А чего поделаешь, старший: чуть не так, по шее схлопочешь. Достоинство мое этим унижил. Но я еще пуще ожесточился и твердо решил, что теперь только беркута заведу. И пусть попробует нос сунуть... Назавтра я прибежал и на зайца, пойманного в петлю, поставил капкан. На другой день беркут был у меня дома. Больше года держал его, надыхаться не мог. И он, надо сказать, такой умница оказался. Мы сдружились. Потом отпустил его. Хороший был. А я узнал, что такое беркут, и с тех пор вовсе покой потерял. Тогда и решил, что обязательно буду держать у себя. Тогда ведь они считались вредными. Отстреливали их. За это еще и вознаграждали. Возмутительно, — сердился Иван Степанович, — эти люди, ученые твои, — с упреком он посмотрел на меня, так что и я почувствовал вину, — эти твои ученые и сейчас живы. Пропагандируют поди тоже их охрану, а вчера им же смертельный приговор выносили. Где их дальновидность. Когда все это нам, простым людям, видно было. И семи пядей во лбу не надо, чтобы в этом разобраться. Еще знаешь, — глянул он тяжело исподлобья, — может, и нехорошо так может показаться, что я не люблю людей, но я скажу, что думаю: сам знаешь, что сегодня более четырехсот видов крупных зверей, птиц включены в число редких, исчезающих. И вот тут мы то да се, обеспокоены, встревожены, сожалеем, — жестикулировал он в охватившем его гневе. — Мне даже показалось, что он специально ждал меня, чтобы высказать все свои упреки именно мне, потому что я в какой-то мере связан с учеными-зоологами, — как мне их сохранить? А сами и сейчас позволяем господствовать охотникам. А эти охотники, да и не только они, а разные другие производственные деятели, губящие природу, — все одно — браконьеры. Так вот их убеждаем сегодня, прощая проступки, щадим их авторитет, заслуженный раньше. А страдают животные, расплачиваясь жизнью, расплачиваются реки, озера, леса, земля. И вот эти любители перестроить природу, «пострелять», так они называют свои охотничьи вылазки, я, например, много таких знал, когда ими были уничтожены тысячи уток, гусей, белок и разных других. — Иван Степанович умолк, какое-то слово застыло у него на губах, только еще уже и злее стали глаза.

— Ну и что дальше с этими «любителями пострелять»? — ожидая заключения, спросил я.

— Что?! Да то, мы ведь не вечны, а природа вечна. И человечество вечное. Так вот они поумирали и унесли с собой все прекрасное, которое должно принадлежать всем и всегда. Ведь нас сегодня так много стало. А эти люди, пользующиеся охотничьей блажью, ушли в безвестность, оставив после себя для нас списки Красной книги. Нельзя же жить судьбой одного поколения, на том стоял мир природы и человечества. Мы должны думать о будущем людей. Наука наша теперь как никогда нужна каждому человеку. И об этом мы должны думать серьезно, а не на уровне каких-нибудь начальников. Среди них много таких, которые были только авторитетными потребителями, ничего взамен не давая.

Иван Степанович замолчал, словно прислушиваясь к словам, которые висели в воздухе вместе с веселым перезвоном жаворонка. Песня утверждала, что жизнь продолжается. Иван Степанович поднял голову, пытаясь найти певца, и, глядя в небо, продолжал: — Почему мы должны из-за таких людей терять нужных всему человечеству животных. Щадим грабителей, не думая о миллионах нормальных людей, так получается. Ну да ладно об этом. О Кале я рассказывал. Так вот: следующим летом стал гнезда беркутов искать. Здесь на обходе они не гнездились. Это уж как я стал лесником, они стали селиться. Нашел все-таки гнездо там, за хребтом, — показал он на Нарымские горы. — Взял птенца. Женат уже был. Выкормил прекрасного беркутенка. Калем звал его.

— Почему Каль? — хотел для себя уяснить я.

— Когда они кричат, получается вроде как ка-ка-ка! или ках-ках-ках! Поэтому и назвал так. Каль-Каль! — зову, бывало, перед тем, как кормить. Он хорошо понимал. Распустит крылья, бежит, ковыляя на своих кривых лапах. Потом на крик подлетать стал. Учил я его сам. Как мог. Но больше скажу: не я его учил, а он меня. Честное слово, такой умница был. Это он — Каль, — преподнес мне хорошую школу беркутятника. Не птица, мечта! — Иван Степанович прервал разговор. Остановил коня. И стал всматриваться в даль, где вставали холмы, поросшие низкорослым березняком, осиною. Я тоже потянул узду и тоже стал всматриваться: высоко в небе, над слившимися вдали макушками гор большими кругами летал крупный ширококрылый хищник.

— Видишь, — показал Иван Степанович, — заслоняя глаза рукой, — беркут. У него на Балтабае в Крутой щели птенец в гнезде. Там такой здоровяк! — потряс он ладонями, словно держал его. — Ей-богу, взял бы и хорошего охотника сделал. Он — этот самец, меня знает. Уже лет десять с ним знакомы. Из года в год он гнездится на одном и том же месте, — махнул он рукой, где горы уходили к западу, — за перевалом Чортан и гнездо. Беда у него была большая — орлицу убили. С тех пор он и перестал со мной здороваться. Ладно, потом, если хочешь, расскажу о нем. — Иван Степанович резко дернул узду, чукнул на коня, хватающего траву, и направил вдоль ручья, ложбинкой, заросшей высокой осокой. За ручьем овсяное поле, наливающееся зерном. Пробил перепел. Легко скользя на длинных светлых крыльях, над полем одиноко летал луговой лунь. В медленном облете, вдали, кругами, ходил беркут. Иван Степанович в бинокль посматривал на «знакового» орла, которого каким-то образом узнавал с большого расстояния.

— Так вот, — не отрывая взгляда от беркута, продолжал он вспоминать, — как только выехал я первый раз с Калем на охоту, вон туда, —

показал он за одинокую ферму под самыми горами — за Зарю. Совхоз там когда-то был — в карагайнике сразу поднял лисицу. Возил Каль всегда без колпачка. Пустил. Он сразу же набрал высоту, ударил и держит. От счастья, которое охватило, не помню как домчался. От радости, думал, сердце выскочит, задохнусь. Но первая лиса оказалась для нас роковой: только я на коне подскочил, стал соскакивать, Каль растопырил крылья, заверещал и кинулся, волоча лису, к коню, чтобы защитить добычу. Беркут часто так ведет себя, как только возьмет добычу. Не успел я подбежать, как конь с перепугу ударил ногой, и крыло у него пополам — плечевую кость перебил. Верись, плакать был готов. Что поделаешь? Вытесал тут же две дощечки, наложил шину, связал. Крыло обвисло. До села далеко. Домой везти, думаю, разбередить рану. Посадил его на скалу. Оставил мяса, чуть не со слезами уехал. Сидит он один, смотрит мне вслед, думает, наверное, бросил в беде. Стыдно было уезжать. Целых два месяца каждый день, а то и дважды приезжал, чтобы накормить его. Дней через десять Каль стал подбирать крыло. Молодой, кость быстро срасталась. Наверное, месяц прошел, пока крыло поджило. Стали снова учиться летать. Горькая картина была! Представляешь, сидит на скале, машет, а летать боится. Посажу на руку, отъезжаю и подбираю его, чтобы хотя бы на землю сам слетал, чтобы уверился, что уже может летать. Потом выше скалы с ним зайду: долго примеривается, крыльями машет, переступает с ноги на ногу, прикидывая «лететь или нет?» Закричит иногда от досады. Тогда я сам подкину его чутко, и он летит помаленьку низко и недалеко. Так еще месяц учились мы с ним. Лето к концу, а мы тренируемся каждодневно. И все-таки Каль стал летать. Но как?! Летит с горы к какой-нибудь скале, пока вниз — чуть машет крыльями. Стоит взять выше и усилить взмах, раненое крыло тут же подламывается. А он, бедняга, перекувыркнувшись, падает. Упадёт, крикнет не то от боли, не то от досады, а у меня по сердцу наждаком будто теранули. Смотреть и слышать больно. И представляешь, снова идет на руку. Каль все понимал, что надо делать, и опять на руку. Снова везу его повыше на гору, и он бросается вниз к скале. Честное слово, это был такой умница, я несколько не сомневаюсь, что он прекрасно понимал, что мы делаем нужное дело. Наша взяла, как говорится: Каль стал летать. В эту же зиму мы взяли с ним семь лис. Я еще повторюсь, если честно говорить, не я учил его, а он меня тонкому обращению и пониманию беркутиной души. Это был рыжий сильный орел. С большими лапами, прямо-таки стальными, но в то же время очень ласковыми когтями. За годы нашей дружбы ни одной царапины на руке не оставил. Это был мой самый лучший первый пернатый друг. Все свободное время ему посвящал. Духа моя иногда ревновала и все предостерегала: доиграешься, без глаз останешься. Может, и рисковал, не знаю, но бесконечно доверял ему. И как не доверять? Как не назвать его умным и преданным. — Иван Степанович замолчал, оглядывая высокое спокойное небо. И я думал, что рассказ он свой окончил.

— В один год случилось у меня горе большое, — посаженным голосом снова заговорил он, — маленькая, хорошенькая дочка у нас умерла. Горе непередаваемое. Не знал как переживу. Помню, приехали с могилки. Ушел я во двор, лег на телегу, закрыл руками голову. Выплакаться надо было. Лежу и слышу — вроде кто-то около меня. Поднял голову: Каль.

А он клювом начал перебирать волосы мои, потом брови. И так нежно ласкает. А сам тихо и нежно постанывает. Обнял я его за плечи. На сердце еще горше стало. Выплакался. Лежу, а он не отходит. Крутится около и все ласкает меня. Ну, что можно сказать после этого? — растерянно и как-то беззащитно глядел он на меня, словно я оспаривал его слова и чувства. — Кто он мне? Конечно, друг! Любил я его до беспмятства. Считаю, что животные многое о нас понимают, не как мы их. Беда их в том, что выразить это не всегда могут. А мы в них только голые рефлексы да инстинкты видим.

Иван Степанович снова замолчал. Поддернул узду, ускорил ход коня. Я тайно поглядывал на его погрузневшее, тронутое воспоминаниями лицо. И тоже молчал, не мешая сосредоточиться на пережитом.

— Плохо, что нечего у нас с тобой закурить. Сам давно уже бросил, — обратился он ко мне, — а вот бывают такие моменты, закурил бы с удовольствием. — Я смотрел, слушал и все время удивлялся его страсти, той великой силе влюбленности, глубокой преданности пернатым избранникам. Откуда такое необычное беспокойство души, беспокойство, присущее нам в мальчишеском возрасте, изменяющее с возрастом.

— Ну, а потом Каль куда девался? — спросил я, когда мы объехали межой овсяное поле. Лошади гулко стучали тупыми копытами, несущими комья земли, бьющими по густым травам покосов.

Иван Степанович встрепенулся. Глаза оживились, в них появился обычный блеск. Сдвинутые брови разошлись на углах его широкого лба, всколыхнулись, словно крылья неизвестной серой птицы, готовой взлететь.

— В марте все беркуты, которых после Каля содержал, а у меня их не меньше сотни было, так вот все они до единого проявляли беспокойство. Это очень заметно. Беспокойство со временем подготовки к гнездованию совпадало. Каль мой тоже поддался весеннему волнению. Сидит в вольере, вроде бы и биться не собирается, а сам расставит крылья и все в небо смотрит. Вроде ждет кого-то и взлететь хочет. Посмотрел на него раз, другой. А потом думаю, будь что будет. Если друг, не улетит. Если улетит, значит, так и надо. Взял и выпустил. Жалко его стало. И что ты думаешь — улетел мой Каль. Улетел, а я и не знаю: обрадовался или огорчился. Потом сон потерял, затосковал по нему и не утерпел, искать принялся. Тут мысли разные: вдруг, думаю, убьет кто-нибудь. День, другой, неделю искал. Все горы окрест объездил. Потом понял — свобода дороже. А душа-то все равно о нем болит, особенно как на обход выведу. Еду, а сам бывало все по небу глазами. Камни, скалы, где шел, оглядываю. Надежду не теряю, ищу всюду, на случай надеюсь. Апрель прошел, май. И вот мой Каль объявился в деревне. Худой и вымотанный. Где был и как жил — не знаю. Знаю одно — не здесь, где-то в чужих краях — иначе бы встретились мы с ним. Снова жил он у меня, охотились. Прошло года два и снова в марте он улетел. Снова искал. Год прошел, а его не было. Тогда и решил, что все, больше не увидимся. И, честно говоря, поверил, что где-нибудь пару нашел и птенцы пошли. Зачем я ему. Но успокоиться не мог. Шибко любил. Поэтому надеялся на встречу. И главное, думал, неужели позабыл меня. Ну пусть бы гнезвился здесь где-нибудь. Радовался бы. Птенцов охранял и кормить помогал бы. Друг же! — говорил он с чувством преданности, словно речь шла о близком человеке. — От мыслей этих горький осадок на душе. Я же не ограничивал

его в свободе. Предал, получается. Поэтому, как вспомню, бывало обидно: лучший друг и вот на тебе. Но время показало, что и на этот раз я ошибся. Каль прилетел примерно через год. На крышу одного домика. Пришли мне сказать. Дома никого. Видно, голодный был, напал на собаку. Прибежал хозяин ее, в ярости убил орла и закопал. Года через полтора один из знакомых рассказал мне об этом. Понимаю,— приложил лесник руку к сердцу,— прошлого не вернешь, не поправишь. Но на душе горше горького было. Узнал место, где закопали и, как положено, перехоронил. Унес останки его туда, под скалу, где он когда-то вывелся. Там сейчас и лежит мой Каль.

Иван Степанович держал свою широкую жилистую ладонь у груди, будто успокаивая расхолодившееся сердце и словно пытался убедить меня в подлинности своих чувств и благодарности прошлому.

— С тех пор и навсегда считаю его лучшим другом. Первый же он был, поэтому, наверное, самый незабываемый. Горько, что не стало его. А вспомню, что прилетел, на душе легче: не предал. Помню, со слезами поехал. В каменный склеп положил своего пернатого друга. Похоронил как бы свою мечту. Тогда, помню, и дал слово беречь этих птиц. Они умеют быть друзьями.

Иван Степанович чукнул на своего коня и круто, через кусты, взял на перевал, под которым высоко-высоко в сухом сером небе маленьким крестиком висела пустельга, словно впаянная навечно.

Муромец

— Хочешь, настоящего Муромца орлиного племени покажу? — обратился ко мне лесник, когда мы возвращались из обхода в Сергеевку. — Вот это да! — восторгался лесник, видимо ясно представив себе этого самого Муромца, о котором я не имел ни малейшего представления. — Сколько здесь живу, а такого здорового не видел! Один в гнезде, может, потому такой здоровый. Да нет, — не соглашался он со своими доводами, — более сотни их у меня было. А сколько еще других в гнездах пересмотрел. Но такого богатыря не видел. Дусю свою специально возил к гнезду, чтобы взглянула. Поехала, — рассмеялся он, энергично понукая коня.

— Вон там, — показал он в сторону гор, — видел? — кружит отец этого Муромца. Сердится старик на людей. Перестал и меня приветствовать.

Меня заинтересовал Муромец и то, почему сердится «старик» на людей? Я попросил, чтобы Иван Степанович рассказал про случай с беркутом, отцом богатыря-недоросля, который сидит сейчас где-то в горах, в гнезде.

— Ладно! Завтра, если хочешь, съездим. Я уже больше недели сам не был.

Мы проехали узкую долину, заросшую карагайником, пересекли прозрачную, как стеклышко, речку Каиндинку, поднялись на каменистый взлобок. Из-за пригорка показались крайние дома.

— Знаешь, поверишь или нет, — начал рассказывать он, — мать моя — Дуся, — так называл за глаза он свою жену, и обязательно ссылался на нее, чтобы убедить меня в достоверности случая, — глянет раз на какую-нибудь птицу — она их тоже за свою жизнь насмотрелась слава

богу сколько! — Так вот, глянет и сразу, каким-то своим, бабьим чутьем, определит: «этот хороший, этот ленивый, этот еще какой-нибудь». Послушаю, возьму, бывало, на воспитание. И что ты думаешь? — как в воду смотрела. Другой раз удивляюсь прозорливости, спрашиваю: «Мать, как узнаешь?» Такой глаз у нее — точный, глубокий. Как узнает? Сам удивляюсь. Так она о Муромце сразу сказала — «редкий, сильный, для охоты хороший».

Следующим утром, пока мы оговаривали условия предстоящей поездки, Степка — сын лесника, накормил и заседлал коней.

— Ну как, сынок?! — спросил Иван Степанович — Не забыл наказ? — явно гордясь своим Степкой, улыбаясь, он похлопывал его по плечу, дружески подталкивал.

— Вон, уже готовы! — кивнул он на оседланных и привязанных к забору лошадей. — Ждут вас. Пока вы в постелях валялись, да собирались как на ярмарку, — лукаво хмурясь, с любовью упрекает Степка отца.

— Давайте к столу! — окликнула нас Евдокия Яковлевна. Она стояла, заслонив собой двери флигелька. Сели. Степка занял свое место на лавке. Положив крупные загорелые руки на стол, он расслабился и ждал, пока мать подаст завтрак. Ему лет шестнадцать, не больше. Во всем он большой и главный помощник отцу. Ему не нужно дважды говорить, наказывать, чтобы сделал какую-либо по дому работу. Делал он, как я видел, все уверенно, умело, экономный в каждом движении: колот ли дрова, ремонтировал ли старенький мотоцикл. Глядя на этого деревенского парня, я думал, что он с малых лет знает, что такое труд. Не страшится его. По-взрослому решает с отцом и матерью хозяйственные вопросы. Я поверил, что Степка без сомнений, без скидок на возраст, изберет свой путь в трудовой жизни. Его крепкие плечи, обтянутые синей в горошек рубашкой, натруженные загорелые руки с крепкими мышцами говорили не только о недюжинной уже силе, но и о здоровой уверенности в завтрашнем дне. Видимо, поэтому я противопоставил Степку знакомым мне городским ребятам, его сверстникам, изнеженным бытом, часто маявшимся от безделья. Некоторых отличала издерганность и претензии ко всему белому свету, ссылались уже на усталось. Я вспомнил способных к пространным рассуждениям подростков, не определившихся в жизни, раздираемых, разъедаемых противоречиями от избытка свободного времени. Их много сегодня, избегающих настоящего человеческого труда, даже презирающих его и тех, кто всецело поглощен отнюдь не романтическими заботами, нужных людям каждый день.

— Степк, скотину накормил? — перебила мысли мои Евдокия Яковлевна.

— Всем дал. Баранов и коз в поле выгнал. Собак привязал. Папке лошадей запряг. Кобылу свою за сеном тоже подготовил. Еще отбил и наточил косу. Папка в прошлый раз косил, наверное, по камням разок, другой двинул... Теперь в порядке, — глянул он зеленоватыми глазами на отца, покровительственно и хитровато улыбнулся.

Ел Степка, как и все делал, неторопливо и обстоятельно.

«Это тоже Муромец!» — восхищался я, глядя на его развернутые тугие плечи, мускулистую шею в золотисто-шоколадном загаре.

— Ну что, поехали! Муромца смотреть, — отодвинув чашку с недопитым чаем, встал из-за стола Иван Степанович.

— У вас свой Муромец,— показал я на Степку. А Степка, потупив глаза, уклончиво перевел взгляд в тарелку с супом и довольно засопел.

— Что здоровый, то здоровый! Ленивый, черт,— ласково поругивался Иван Степанович, когда мы шли к лошадям.— Кое-как учиться заставил. А ведь способный. Дома вся работа на его плечах. Я больше в лесу, на обходе,— пояснил он.— Чуть придержался в одном углу — в другом уже беспорядки. Сейчас потише стало. Отучил кое-кого, тех, кто хотел за государственный счет пожитья...

Верхами выехали за село. Спустились в широкий лог, заросший кривой березой, давленным снегами ивняком, густо перевитым хмелем. Коней направили в сторону Нарымских гор.

— За Чортанский перевал едем. Там они гнезятся,— махнул лесник за хребет, обрезающий темной грядой горбов горизонт.

— Иван Степанович,— обратился я,— ты обещал рассказать о беркутиной семье, к которой мы едем.

— О! Тут целая история была! — начал он, как обычно, с жаром.— Того вот самца, что вчера видели, знаю уже лет десять. В паре у него была красивая рыжая орлица. Несколько лет подряд гнездились они на одном и том же месте — по речке Мусабай, куда сейчас и едем. Там скала в щели, на ней гнездо, старое. Давно беркуты в нем живут.

— А кто такой Мусабай?

— Из местных зажиточных. Еще сейчас некоторые старожилы помнят. Бай местный был. Скота много держал. Бедноту жестоко эксплуатировал. Попил он кровушки бедняцкой,— рассказывали старики. По этой речке стан у него был. Зимовал тоже здесь. С тех пор стали речку и щель, словом, все урочище — Мусабай звать.

Кони вышли на сочную земляничную луговину, окруженную со всех сторон шиповником да таволожкой.

— Видишь? Тетеревиные выводки паслись, траву всю исполосовали. Где-нибудь в кустах и сейчас хоронятся. Только бы тетеревиный не наткнулся. До одного переловит. Тот ли еще зверюга, а красив, как черт! — покачал он головой, представив себе пернатого «зверюгу».

Я остановил коня, чтобы посмотреть, где паслись тетеревиные выводки. Во все стороны тянулись тропки примятой травы, как на разбитом ветровом стекле автомашины, побежалости. И каждая такая тропка бежала в одну сторону, к кустарнику, где тетеревиные выводки и скрылись.

— Знаешь,— повернул ко мне коня лесник, чтобы видеть меня в лицо,— когда в природе хорошо, душа ликует. Если плохо, горе камнем на сердце... Не знаю, ненормальный, может, я, но такой уж есть...

Я смотрел на Ивана Степановича и думал, как мы легко называем себя, школьников — друзьями природы. А где они такие? В отчетах наших о природоохранной работе. Друзей же истинных мало или почти нет. Поэтому я, наверное, так странно смотрю на этого истинного друга природы, как на какое-то явление.

— Беда в этом году в природе большая случилась,— разглядывая следы, говорил лесник.

— Что за беда?

— Разве не заметил? — обратился он ко мне удивленный взгляд.— Птицы-то, посмотри, нет почти.

— А куда она девалась?

— Вымерзла. Тетерев стаями замерзал. Когда так было? Не помню! Скажу, если уж тетерев мерз, остальным хуже еще было. Серая куропатка повсеместно гибла. Мелочь всякая — пеночки, славки, овсянки — и тех нет. Пусто! Охоту на год-два надо обязательно закрыть. Да разве остановишь эту компанию. Ведь никому ничего не докажешь. К примеру сурка у меня на обходе — кот заплакал. А план сто штук дали. Здесь его расселять надо, а не ловить. Говорил я об этом, убеждал в охотсоюзе.

— Не хочешь сам,— заявил главный охотовед,— другого поставим.— Сам знаешь,— говорил Иван Степанович,— придет со стороны охотник, совсем кончит. Кое-как на пятьдесят штук уговорил, и сам вынужден был согласиться добывать. Ловим со Степкой. Здесь, у меня на обходе, как нигде, во что бы то ни стало, надо беречь сурка. Беркут же им в основном кормится. Хотя бы ради редкой птицы сохранить. Сурка не станет, беркуту точно делать нечего будет. Уйдет. Веришь,— повернулся лесник, прижав жилистую пятерню к груди,— больно ловить. Последних давим. А что потом? Стараемся со Степкой, там да там ставим капканы, чтобы не омертвить норы. Ездим на мотоцикле, на лошадях: от норы к норе, за пять, а то и десять километров. Уйдет беркут, а там под мушку браконьера попадет. Вот и забота о птице из Красной книги... Беркут — хищник, не воздухом же питается. По-доброму здесь заповедничек надо бы создать. Это было бы здорово.

Иван Степанович повернул своего коня снова к тропе, подхлестнул и некоторое время ехал впереди, молча, огорченный своим же разговором. Я опустил повод, доверившись своему коню.

— Тпру, черт! Стой! — крикнул он на Карьку, накинув поводья на луку, остановился и стал в бинокль оглядывать чистое небо над горами, которые были уже рядом.

— Чего-то нет беркута-отца. Он в этом углу всегда охотится, в это самое время дня. Лет десять назад, вот там, на Мусабае, я познакомился с парой беркутов,— начал он рассказ о гнезде, где сидел Муромец.— Два птенца у них было. Во время обхода каждый раз в два-три дня приезжал и навещал их. Следил, чтобы не разорили. Беда, с той стороны Бухтарминского моря много сюда народу приезжает. Отдыхать едут, а сами с ружьями или с мелкашкой.— Он опустил бинокль.— Подраспустились, дальше некуда: чего хочу, то и делаю. Совести нет, а законы мягкие. Хоть весной, хоть летом ездят все с ружьями. Вот я и проводывал гнездо. Орлы ко мне привыкли, правда, не сразу, и потом, как своего, принимали,— не пугались. Покружат невысоко и при мне к гнезду. Такое у беркутов трудно увидеть. Увидят человека за километр-два и уже оставляют гнездо. Потом глаза проглядишь, не найдешь. Так высоко поднимаются и следят. Зрение у них отличное. Где-то читал, что божьё коровку за километр видят. У нас все иначе было. Еду, бывало, увижу и кричу им слова ласковые. А орел отвечает мне криком из поднебесья. Так и жили,— улыбается лесник, обнажив белый ступок зубов. Улыбка снимает усталость и напряженность с его лица. Лесник поднял голову, привычно обежал глазами холмы и перелески.— Вон,— показал он в небо над Нарымским хребтом, над его горами кружил едва заметный орел.— Это с Тесной щели беркут, старый знакомый... Года четыре

назад, — вдруг начал он, — еду, как обычно, сюда, к гнезду. Два птенца в нем уже оперялись. Гляжу, самец, вот так же высоко-высоко кружит. Кричу ему, руками махаю, а он как чужой. Хотя обычно либо отвечал мне криком, либо надо мной принимался виться. Ничего не пойму. Посмотрел вокруг, орлицы вообще нет. Улетела, думаю, на охоту. Когда птенцы подрастут, родители тогда вынуждены оба охотиться. И вдруг над соседней вершиной, около их гнезда, шесть-семь беркутов замечаю. Ходят кругами один за другим. Неладное заподозрил я. Доехал до ущелья, оставил у речки коня, сам чуть ли не бегом вверх. Добрался по осыпи к гнезду. Оно на уступе скалы было. Глянул, а на скале кровь. Да много! Ничего себе, думаю, кого-то большого поймали. Кровь совсем свежая. Подошел ближе, под гнездом, в щели, беркутиха. Мертвая. Сердце оборвалось. Поднял. Голова навывлет прострелена. Видно, где-то сидела, ее и пальнули с мелкашки. Раненая, а прилетела к своим птенцам. Кровь с нее ручьем по скале. Замертво упала. Заложил ее в этой же скале, в каменный склеп. Сам я его соорудил. Раньше, бывало, тоже найду мертвого беркута, обязательно в скалах похороню. Ни с одного пера не выдернул. И в этот раз заложил вход в щель камнями, и себе пообещал, что не позволю разорить осиротевших птенцов. Понятно стало, что стайка беркутов на беду сюда собралась. Покружили над этой щелью и разлетелись. Надеялся, что птенцов отец докормит. Прошло три дня, приехал, а его нет, не кормит. Через два дня снова приехал — голодные. Старший меньшому голову уже расклевал. Немного еще — и съел бы. У них это в голодные годы — норма. Взял я их и растолкал в другие гнезда, где по одному беркутенку сидело. Выросли! Теперь на моем участке живут.

Я слушал Ивана Степановича, и трудно было представить эти сложные, не традиционные отношения человека и крупных хищников и все остальное, о чем он говорил. И вот теперь едем к этому самому гнезду. Одолев сухой каменистый перевал со странным казахским названием Чортан, пошли на спуск. По глубокой щели тянуло горячим, пахучим травяным ветерком. Разморенный зноем пестрый травостой по склонам обмяк. Сварились листья шиповника. Раскаленный в каменных щелях воздух дышал сухим удушьем. Только близость Бухтарминского водохранилища, сверкающего в разломе гор, смягчала сухость; время от времени возрождались влажные течения, несущие едва уловимое облегчение. Старая тележная дорога обвивала и оплетала плавными серыми изгибами косогоры. Августовские травы уже биты зноем. Заросли карагайника по логам сменяли почерневшие скалы и коричневые словно перегоревшие осыпи. Изредка попадались выбросы глинистых бутанов сурчиных поселений.

Иван Степанович снова оглядел сизое от зноя небо.

— С тех самых пор беркут перестал уважать меня. Человек стал ему врагом. Два года не гнезвился здесь. На третий прилетел, уже с другой орлицей. Сейчас живет в своем старом гнезде. А в том теперь Муромец.

Еще пять-шесть километров извилистой полузаросшей дороги, уходящей от Сергеевки за хребет и связывающей ее с Батами и Песчанкой, которые стоят на Иртыше. Вскоре мы выехали к ущелью Мусабай. Из тесной скальной щели его, заросшей тальником, черемухой, калиной, шиповником и таволгой, вытекала небольшая речка Мусабай. Обогнув

выступ скалы над дорогой, она ныряла под ветхий бревенчатый мосток, потом такой же тесниной убежала в сторону водохранилища. Переехав мостик, по едва заметной тропе повернули направо. Лошади привычно шли заросшей кустами поймой, вверх по ключу. На первой же небольшой полянке мы остановили лошадей. И пешком пошли вверх, вдоль речки.

— Здесь недалеко гнездо,— сказал Иван Степанович, сдергивая на ходу куртку. Мне тоже посоветовал все лишнее из одежды сбросить.

— Оставь свои аппараты, бинокль, а то здесь тяжело подниматься.— Он тут же нагнулся, осмотрел тропку и с досадой хлопнул по голенищу.— Кто-то опять недавно был. Ну точно разорили. За птенцом приезжали. Надо же! — сокрушался он и еще прибавил ходу. Он чуть ли не бежал, так что я едва поспевал за ним.

На тропе в траве я с трудом заметил едва видимые рубчики следов резиновых сапог.

— Возьмут и загубят,— говорил лесник. В голосе его с каждым словом росли досада и гнев.

— Подумай сам,— обратился он ко мне.— Возьмут из гнезда, привезут птенца в город, в какую-нибудь перенаселенную коммунальную квартиру. Куда его такого? На балкон под солнцем жариться, в лучшем случае в ванную, туалет. Там и будет сидеть, впотьмах. А кормить — проблема целая: мяса надо свежего, молодому особенно. На один раз такому хищнику курицу или утку подавай. Накормишь ли в городе в наше время каждый день? Подрастет — летать надо. Летать, не летать, а крыльями хотя бы махать обязательно. И этого удовольствия он тоже лишен. Потом столько от него помета! Один раз «плюнет» после нормального завтрака — целое блюдо на полу белой жидкости. Запах! Поэтому через неделю, а то и раньше эти любители ищут возможность, как избавиться от такого птенца. И пошел по рукам. Считай, погиб. И Муромца, кажется, забрали из гнезда. Иначе зачем здесь следы человека? Всмотрели! — Иван Степанович бросил растерянный взгляд на вершины обступивших нас гор. Нервозность проявлялась в жестикуляции, резких нотках голоса.

Пригибаясь под колючими густыми кустами, мы споро поднимались вверх по ручью. Иван Степанович молча шел впереди, сосредоточенно поглядывая по сторонам, разводил колючие ветки шиповника, и в то же время успевал отмечать следы человека.

Ущелье стало еще уже, теснее. От речки горы круто вздымались к небесам. Высота их давила. Раскаленные, усыпанные сплошь острыми камнями склоны струили сухой жар. Воздух трясло и лихорадило. Щель казалась затопленной беспокойной светлой водой. Тропинка внезапно исчезла. Круто, по осыпающимся камням, мы стали подниматься к небольшой каменистой гриве. С черепичным звоном срывались, пересыпались, скатывались из-под сапог плоские камни, полня тишину глухой и знойной щели. На короткое время мы останавливаемся для передышки. Стираем рукавами обильный на лице пот. Пока стоим, становится слышным многоголосое стрекотание кобылок. В сплошном стрекоте щель казалась еще уже. Сиреневые метелки купины неопалимой дышали отвратительными эфирными маслами, отчего появлялось чувство тошноты и головной боли.

— Смотри! — сказал Иван Степанович, — он вынул и чиркнул спичку. Бледно-синее пламя мгновенно взорвалось в тот же миг, как только он поднес ее к цветам. — Вот из-за этих проклятых цветов голова болит, усталость берет, — сказал он и спрятал коробок.

И снова вытирая раскрасневшиеся лица, залитые соленым потом, поднимались по осыпи к вершине скальной гривы.

— Ну точно разорили! — возмущался Иван Степанович, глядя наверх. — Взрослых нигде не видно.

Он возмущался еще больше, когда мы остановились перед опустевшим гнездом, устроенным на уступе скалы, облитом белым, как известь пометом. — «Вот жалость-то какая!» — он растерянно озирался, словно его только что обворовали. И, казалось, искал сочувствия у меня, у раскаленных скал и сухих склонов гор.

И вдруг из-за вершины гряды выплыла огромная птица. Она плавно несла свой мощный торс на широких, черно-белых крыльях. Хвост был также светлый с широкой темной полосой, которая лентой проходила у самой вершины. Нетрудно было заметить, что это был молодой беркут: крылья у него еще кургузые, хвост короче обычного. Перья крыльев и хвоста широко расставлены, что говорило о нелегком полете, может, даже первом в его короткой жизни.

— Ну вот, это же он! Ой ты мой хороший! Ну слава богу! Живой! — как-то устало, сломанно, но удовлетворенно говорил Иван Степанович, вытирая кепкой заплывшее потом лицо. Мы присели тут же на камни.

— А может, это не он? Вы же не видели его в полете? — засомневался я.

— А вон, смотри, в левом крыле третье перышко короче остальных. Я подрезал, чтобы узнавать год-два, пока не перелиняет.

Молодой Муромец молча, но умело, используя восходящее течение горячего воздуха, кружил над щелью, набирая высоту.

— Видал, какой бутуз! Ну слава богу, жив! — ликовав лесник. Прислонив руку к глазам, молча глядел он на молодого беркута, что кружил над горами. Тень птицы легко и быстро скользила над склонами, блекла, как только падала на заросли кустов, в которых пробиралась речка Мусабай. Я следил за беркутом, за его тенью: она внезапно объявлялась, как только падала на склоны, и снова беспрепятственно летела, чертя собой моренные зноем пахучие травы, и вдруг густела, поднявшись по откосам к молодому орлу, и у самой вершины становилась четче, продолжая скользить под самым брюхом, и опять бледнела, растворялась, когда уходила в глубину, на дно разлома, или на мгновение исчезала, столкнувшись с тенями скал.

«Зачем ему эти орлы? Столько тревог, беспокойства и все из-за каких-то диких птиц?» — думал я, наблюдая за парящим над нами недорослем орлиного племени. Чем они ему дороги? Что может быть общего между человеком и птицей? Между крупным хищником — владыкой неба и земным лесником? Странно, волнуяще и необычно все это, когда человек, как за родного брата, беспокоится за обладателей и подданных неба и гор. Трудно однозначно ответить, откуда в нас проявляются странные привязанности, которые мы привыкли считать чудачеством. Но человек тем и отличается, думал я, от остальных зоологи-

ческих «братьев» на планете — он способен любить, порой он же готов рисковать собой ради спасения других, биологически чуждых ему «личностей». Видимо, такими и должны быть люди будущего, когда экологические проблемы порождают и экологические страсти, трагедии и победы.

Отплатят ли Ивану Степановичу эти нелюдимые пернатые хищники? Жаль, что они не подозревают, что есть на свете человек, который является их большим бескорыстным другом, верным защитником.

Наверное, Ивана Степановича, предполагал я, влечет их таинственность. Орлы не умеют говорить, но способны иногда совершать такое, что невольно подталкивает на размышление о присущей им некоторой разумности. Если бы они могли рассказывать о себе, фантазировал я, глядя на Муромца, то, наверное, тогда перестали бы в такой степени волновать человека. Многие же мы знаем о домашних животных, и интерес к ним, естественно, притуплен. Другое дело дикие... Орлы тем более... Возможно, была бы способность у Ивана Степановича понимать их до конца, не исключено, что пропала бы волнующая его тайна, связанная с ними. Стало бы скучнее, обеднели бы горы и небо. И, конечно, если бы мы знали все, что делается вокруг, то поскучнел бы мир. Пропало бы очарование, которое испытываем, оказавшись в мире прекрасного, название которому краткое и понятное — Природа. Хорошо, что еще не развиты в нас такие способности, которые с первого взгляда раскрывали бы все тайны. Хорошо, что во всем есть неизвестное, без этого человеку просто нельзя.

Я любовался молодым орлом, который кружил над землей. Мне вдруг самому захотелось обрести крылья, стать беркутом, самому подняться в небо и догнать отца этого закормленного увальня, на их беркутином языке сказать, чтобы он не сердился на Ивана Степановича и вообще не считал врагами нас — людей. Мы ведь сегодня уже не все такие, чтобы смотреть на птиц и зверей через прицелы мелкашек и мушки ружей. Не все сегодня хотят любоваться животными, у которых отобрана свобода. Мы хотим, чтобы люди всегда могли общаться с дикой природой, которая становится уже экзотикой на нашей дивной планете. Мы уже лишены низменных чувств и желания видеть детей ее через прутья железных клеток. И сделаем все, чтобы орлы остались вечными, как само небо, для которого они и созданы. Ряды сторонников за сохранение природы множатся и сегодня уже много истинных друзей на всех континентах, среди всех народов и они приходят на свидание с птицами и зверями прямо в их дом — дикую природу. Приходят на свидание с цветами на луга, в поля, в леса, не грабить, а чтобы обменяться взглядами: не ради букета и венка, украшающего чело, а для созерцания, чтобы согреть душу, которая нуждается в человечности. Такие люди, как Иван Степанович, обычный сельский житель, являются людьми нашего будущего. Их с каждым годом все больше в разных уголках страны и земли нашей. Мне очень захотелось, чтобы молодой беркут тоже знал это и по-сыновьи верил человеку, который все это время берег его — безобидного и беззащитного, пока он находился в гнезде. Счастье орленка я воспринял как личное. И еще подумалось, что сын лесника Степка так же смело, как и этот беркутенок войдет в большую жизнь и в труде своем достигнет значительных, орлиных высот, для этого у него есть все главное.

ГЛУХАРИНОЙ ТРОПОЙ

Повесть

С вечера прорвавшийся из-за гор ветер срывал последние листья осин, швырял их в похолодевшие ручьи и клеил к окнам небольшого домика лесного кордона. Ночью пошел мелкий дождь. Он хлестал по крыше, гудел в черных пихточках, которые начинались сразу же за дорогой, проходящей у кордона.

От ненастья не спалось старому Саватею: боль вступила в поясницу, ныло и щемило ногу — давала знать старая фронтальная рана. Лесник ворочался, вставал и, свесив ноги, сидел, оттирая колено. Подходил к окну, всматривался в ненастное небо и мутные лесистые горы. Перед рассветом резко похолодало. Окно запотело. Небо налилось белизной, и вскоре повалил густой тихий снег. Вместе с ним установилась тягучая давящая тишина. За окном стало светло.

Снег так же внезапно отступил. Небо очистилось, и выглянувший остроконечный профиль луны еще некоторое время окружала тонкая дымка уступившего ненастья. Чисто и холодно, как разлитая ртуть, ветилась расстеленная на столе скатерть. Свежесть и облегчающее очищение пришли вместе с наступающим рассветом. Тонкими оранжевыми мазками горели стенки посуды, расставленной на белоснежном припечке. Сияли мутным блеском стекла рамок, в которых были семейные фотографии. Все находилось в состоянии невесомости, некоторой строгости и пустоты. Все было привычно для Саватея в доме, где он прожил все послевоенные годы, и вместе с тем все виделось по-новому. Даже оцинкованный бачок с водой, в углу у дверей, стоял словно выпятив гордо позолотившееся брюхо.

Откинув одеяло, лесник сел, свесив худые ноги. Взгляд устремлен на помутневшие от легкого морозца стекла, сквозь которые сочился унылый бронзовый свет.

«Пришла!» — думал он о наступившей зиме.

Однако горечи не испытывал. Даже напротив, он с нетерпением ждал на ноябрьские праздники своего внука — Вовку. И тогда они пойдут в лес. Будут разбирать оставленные на снегу следы. Вовка, как всегда, станет что-то записывать в своей растрепанной книжке, будет рисовать цепочки следов — крестики и черточки. Просветлел лицом Саватей. Встал на не знавшие загара ноги. Хрустнув коленом, подошел к окну. Отскреб ногтем накипной куржак. Подышал на стекло. Согнувшись, облокотившись на холодный крашенный подоконник, приставил глаз к просветлевшему родничку. — «Все ли очистилось?» — смотрел он в небо выше засыпанных снегом вершин. За дорогой черная стена пихтачей в белых лохмотьях казалась строже и печальнее, чем до снега. Чернее казались уступы скал и щелей. Постоял, поскреб Саватей пустоватую грудь. Свободно свиса-

ющая с худых плеч рубаха выдавала его старческую щедедушность. И сам он казался вылепленным из чистого первого снега и от него самого исходил этот ранний трепетный свет.

Могильная тишина угнетала. Это особое состояние природы с первым снегопадом знакомо с детства. Привычное, казалось бы, но теперь, в свои годы тишина эта казалась тяжелее, тоскливее. Мир оглох для Саватей. Он чувствовал себя совершенно одиноким, и тишина, и белизна давили теперь с могучей силой только на него одного.

— Чего там топчешься-то? Опять на голом полу! Обуйся или ложись. Встанет ни свет, ни заря и шарится. Сам не спит, другим не дает, — по-доброму, басовито ворчала баба Ульяна, жена лесника.

«Скорее бы Вовка приехал», — придерживая ладонями поясницу, думал он, разглядывая фотографию, где он с внуком на руках стоял у речки. «Фотограф никудышный, столько черных пятен на лицах, но все равно хорошо!» — рассуждал он, рассматривая свое счастливое лицо. Не опуская рук, побрел к кровати. Лег. Мысли — нужные и ненужные, надоедливые — держали крепко. Обрывками мелькали, тянулись неуволимо тонкими нитями, мутными тенями. Ни конца, ни края им. И все от немоты и безделья, от первого снега и мертвящей белизны. Разные — тревожные и просто никчемные. Но самое главное, причина его бессонницы — разлука, и даже скорая, с этим кордоном, с лесом. Шутка ли — расстаться со всем, чем жил все эти последние тридцать лет, где каждая доска была прибита его руками. Теперь вместе с Ульяной собирался оставить обжитый годами кордон. Саватей считал, что настало время ехать в город. Дети и внуки живут там. Пустует его благоустроенная коммунальная квартира. Это, в основном по ночам, и мучило старого лесника. Наедине с собой он боролся с мыслями о скорой разлуке, тщательно все взвешивал — «не рано ли?» В душе сам не соглашался с собой, да и предсказать не мог, что потом в городе не увидит этого леса, с которым свыкся, который охранял все эти годы. Все здесь было привычным, родным. Трудно сменить привычный быт. Саватей и Ульяна привыкли постоянно трудиться, а в городе чем заниматься? И так все взвешивал за и против целый год. Все передумал на «все ряды». Сам терзался, и Ульяну то терзал своими сомнениями, то уговаривал. Настраивался, а сам не верил своим словам. Тайну и печаль, поселившиеся в растревоженной душе, Саватей скрывал от нее.

Неполная, словно надкушенная, луна сползала за самый высокий округлый ялбан. Законный полумрак густел холодной свежей синевою. Отстукивали свое «тик-так» ходики, подавленно вздыхала Ульяна, размышлявшая о своих заботах. Где-то под полом тонко пищали перессорившиеся мыши.

«Кошку давно пора заводить», — в который раз говорил себе Саватей. Однако днем, как обычно занятый более важными делами, связанными с охраной леса, забывал и думать о кошке.

— Машина вчера, к вечеру ближе, в Светлый ключ ушла. Видел или нет? — спросила Ульяна.

— Какая машина?

— Почему я знаю? Машина и машина. Зеленая, высокенькая. Сходи и узнаешь. За шишками, поди, все еще едут, — предположила она. — Снег упал, а они все не уймутся. От болезни, че ли, тайгу губят. Калечатся сами, а все лезут, — ворчала она простуженно. В голосе слышался строгий

волевой характер.— Не пойму никак — жадность или безделье толкают в даль такую, да еще в непогоду?

— Сходить надо,— ответил Саватей.— Засиделся маленько.

Он ясно представил лог у Светлого ключа: кедровник, пихтач, рябинки и березки у самого ручья. «Дымится, поди, в морозном воздухе водичка»? — И лесник ощутил на лице и шее липкое морозное дыхание. Ясно до перышка нарисовал себе спящего на кедре знакомого и старого уже глухаря, которого спас когда-то по редкой случайности.

Угадывая его мысли, Ульяна добавила:

— Сходи, сходи в Светлый ключ. Глухаря своего посмотри. А то эти любители природы из города, поди, уже застрелили. Оно и погода хорошая. Снежок первый. Промнись маленько, а то захряс уже дома.

«Погода хорошая,— думал Саватей, глядя в окно,— и то правду говорит Ульяна». И опять он глядел на этот первый жданный и неожиданный снег. А перед глазами ненастный вчерашний день: морозящий с самого утра промозглый дождь. Вспомнился вечерний набегающий с гор туман. Тихим, ватным чудовищем он шевелился в черном пихтовнике: искал будто кого-то, тихо и крадучись, будто боясь разбудить спящую тайгу. Дня словно и не было, а был сырой, бесконечный, как дурной сон, вечер. Не было неба, не вставало солнце. Ныли кости, и Саватей знал, что быть снегу. Ждал он его с каким-то мальчишеским пристрастием, с детской тихой радостью и легкой, светлой тревогой. И поэтому, наверное, в который раз вспоминал, как они, деревенские мальчишки, ходили по этой же самой тайге, выслеживали таившихся в ельниках рябчиков, тропили зайцев. Вспомнил Саватей и своего первого зайца, которого добыл из старенькой берданки с перемотанным медной проволокой ложем. Много чего еще вспоминал он, глядя на первый снег. Память переносила его в окопы войны, исковерканную взрывами землю, свою и чужую... Будто свиделся снова с давно минувшим, дорогим и тревожным.

Ульяна затопила печь. Привычно гремела в прихожей посудой, ведрами, хлопала дверью, выходила во двор, покрикивала на скотину. Она хлопотала по дому, занимаясь повседневным трудом, без которого немислима жизнь на лесном кордоне.

На остром шпиле пихты уже сидела ранняя сорока, тихая и задумчивая, как этот первый снег.

Встреча

Саватей надел служебную форму: старые солдатские галифе, бушлат и фуражку с эмблемой лесной охраны. Встал перед зеркалом. На него смотрело исхудавшее лицо. Подправил ладонью, словно промокнул, остроконечные усы, шевельнул строгими нависшими над серыми, также строгими, глазами, бровями. С гвоздя лесник сдернул полевую сумку с документами и бланками актов нарушений. Накинул ремешок потертого военного бинокля и вышел. Хлопая голенищами резиновых сапог, он пересек торную, идущую на подъем дорогу и скрылся в пихтаче.

Он шел лесовозной колеей. Она вводила через заросли поседевшего от снега кипрея и высокой полевницы.

На берегах догорали последние, не облетевшие с осени листья.

Бордовые кисти рябины, отягощенные булками снега, свисали с обочины дороги. Еще гуще краснели кусты звездолистной калины. Первые заморозки оголили только смородину. Ее рубиновые ягоды жарко светились прозрачной краснотой и, словно глаза, смотрели на каждого проходящего, зазывали, приглашали подойти и отведать кислых ягод. Кое-где на снегу пестрели кровянистые пятна раздавленной снегирями ягоды. Под васильковым, помолодевшим небом краски хвойных деревьев казались гуще и праздничней, гребни гор, покрытые снегом, стали выше и совсем близкими. Дорогу, которой шел лесник, надвое распилил маленький ручеек. Вода, стремясь со склона, падала с каменных, обнаженных ею валунов и образовывала чащины, которые затянуло сейчас тонким, пустоватым ледком. Лед усиливал басовитый говорок падающих струй. Около одной из чащин Саватей остановился. Внимание его привлек лед, расписанный мраморным рисунком. Оживляли его неправильные волновые кольца. Под стеклянной поверхностью жемчужными рыбками таился или испуганно метался плененный воздух. Саватей жил часом, когда обновленная за одну ночь природа дарила щедростью красок. Шумно, сухой грудью вдыхал он колкий морозистый воздух. Тепло от легкого подъема приятно горячило тело. Вскоре, успокоив расхолодившееся сердце, он освободился от теснящего ощущения в груди.

Любил тайгу Саватей. Жизнь свою посвятил охране ее. Берег с ее травами, птицей и зверем, с ее шумом, тайнами и тишиной. Словом, жил ее свободной и тревожной жизнью. Молчаливое торжество тайги в снежном убранстве сверкающей белизной прибавляло ему бодрости и сил. Сейчас, как в детстве, оказавшись на лесной тропе, Саватей куда-то спешил. Страсть идти и идти у него с детства. Не мог, не умел он спокойно ходить. Не привык он подолгу сидеть на одном месте. Лес манил, удивлял старого лесника известными и, казалось бы, привычными тайнами. Саватей никогда не задумывался, откуда эта страсть: идти и идти... Может, досталась она от далеких предков, но с разной силой передается каждому. Возможно, это она зовет так властно в поисках чего-то воображаемого, неизвестного. Тихую, незаметную, но страстную силу ее мы порой не замечаем, не ведаем как переходит она в неодолимый, зовущий голос, который не оставляет нас всю жизнь. Вот и Саватей знал только одно, если отнять у него эту возможность, он заболит, затоскует, лишится чего-то главного. «Небо с овчинку покажется», если бы ему нельзя было ни идти, ни ехать. И нет таких сил, что бы удержали его дома.

В такие часы он забывал о грузе своих лет, о «барахлившем» сердце. Он торжествовал. Душа его пела. Мельком оглядывая следы на снегу, он останавливался, трогал холодные сыроватые стволы деревьев, восторгался платиновыми дисками обмерзшей паутины, развешанными между кустов. На ходу, словно руки друзей, он пожимал мохнатые лапы пихт, будто нарочно протянутые ему. Солнце встало над хребтом, ослепительно сверкающим свежим снегом, когда послышался воркующий говорок Светлого ключа. Седой парок, встающий от воды, запутавшись в кустах калины и тальника, туманил окружающий его сумрачный кедр.

Саватей теперь искал следы автомашины. Их не было... Лесник хорошо знал, что дальше бездорожье, пройти не могла. Взгляд его

остановился на чистом снегу дороги, где отчетливо рисовался когтистый след крупного глухаря.

— Вот ты где! Значит, снова свидимся,— заверил себя лесник. С тихой радостью он оглядывал гибкую вязь вдавленных крестов, уходящих вверх, по дороге.

— Опять в черничник направился. Завтра, как придет Вовка, пойдем обязательно, там и свидимся,— рассуждал он, радуясь предстоящей встрече с внуком-Вовкой и со знакомым глухарем. Едва уловимый запах дыма коснулся чутких ноздрей лесника.словно напавший на след хищника, закрутился, шумно втягивая воздух, пытаясь уловить — с какой стороны? Тянуло из соседней ложины, из-за небольшой гряды кедрача. Легким и быстрым шагом лесник пошел туда. Вскоре же, как только миновал кедровник, у комля кряжистого ствола заметил человека. Как всегда, встречаясь с посторонним, он испытывал волнение и некоторую неловкость. Саватей приостановился. Поправив фуражку, глухо кашлянул в кулак и уже смело, хлопая голенищами, направился к неизвестному.

— Добрый день! Здрасте! Лесник участка,— четко, заученно представился Саватей. Перед ним в сине-красной нейлоной куртке, таких же брюках, заправленных в гибкие цветистые сапожки, стоял слегка располневший розоволицый мужчина. Темно-синие глаза незнакомца смотрели прямо и совершенно спокойно из набрякших век, отчего глаза и лицо казались приветливыми и улыбочивыми, располагающими к себе. Мужчина приветливо смотрел на лесника, словно давно, именно здесь и ждал его, как своего старого приятеля.

— Здравствуй, отец! — улыбаясь, протянул он белую пухлую руку.— С дозором обходишь владенья? — он искренне доброжелательно рассмеялся, спрятав глаза в глубине мясистых век.

— На службе я. Вчера машину вашу приметил. Вот и пришел,— не оправившись еще от неловкости, пояснил Саватей.

— Вижу, вижу, что лесник. Хорошо это, отец! Это хорошо, что есть кому заботиться о природе нашей грешной — страданице!

— А вы по какому поводу к нам, позвольте спросить? — оглядывал Саватей незнакомца в яркой одежде, с красно-синими эмблемами на синей маслянистой куртке, сапогами на толстой, гибкой подошве с крупным протектором.

Мужчина снова доверчиво улыбнулся, хохотнул:

— За шишками, отец, приехали,— поглядывая по верхам кедров, сузив глаза, ответил незнакомец, будто все здесь в лесу принадлежит ему лично.— Надо бы маленько собрать. Во, как надо! — он чиркнул по горлу ладонью.— Приехали мы точно, вчера. Снега, конечно, не ждали. В городе было тепло. А тут погодка...— Он натянул поглубже краснополосатую «буратиновую» шапочку на голову, шумя рукавами синтетической курточки.— На машине я, с семьей,— показал он вниз за деревья, откуда тянулся ленивый белесый дымок. Среди стволов Саватей увидел зеленую «Ниву» и угол яркой палатки. На снегу, в кедровом сумраке автомашина смотрелась свежо и чисто, по-летнему зеленея.

— Хожу, отец, под кедров заглядываю. Думаю после непогоды на снегу самый раз шишку собирать. А ничего не вижу.

— Тут шишку давно обобрали — народу тьма-тьмушая перебивалась. Выше надо,— кивнул лесник в сторону хребта, искрящегося от снега в

утреннем солнечном небе.— Там есть, да и то не везде. Вообще-то шишки ночью много было, а народу еще больше, как на свадьбе какой,— усмехнулся Саватей.

Разговор их как-то внезапно оборвался. Они оба то осматривали верхушки кедров, то смотрели друг на друга и испытывали неловкость первого знакомства. Приезжий нашелся первым:

— А чего мы здесь стоим, отец? Если не торопишься, к нашему шалашу, как говорится. У меня здесь жена, сын. Завтрак уже готов. Подмерзли ночью малость, так и чуток согреться можно, а?! — хлопнул он уже по-свойски по плечу лесника и мелко затрясся в тихом смехе, совершенно утопив в мягких веках глаза.

— Спасибо, только что из-за стола,— уклончиво ответил лесник.

— Ну хотя бы покурим,— щурясь, приглашал он Саватея. Подошли к месту стоянки. Под кедром между «Нивой» и оранжевой палаткой, на расстеленный брезент накрывала завтрак красивая темноволосая, с холеным лицом, женщина. Гордая осанка усматривалась в движениях, в наклоне головы. Она резала тонкими ломтиками сыр. Ее карие, широко расставленные глаза, над которыми красовались тонкие подщипанные брови, смотрели ровно и спокойно. На ней была ярко-синяя нейлоновая куртка, новые такого же цвета бриджи. Новенькую «Ниву», присыпанную снегом, оклеили с боков желтые и бордовые листья осин. Снизу она была забрызгана уже подмерзшей вчерашней грязью.

— Утро доброе! — приветствовал женщину, чуть кивнув головой, Саватей. Она неторопливо повернулась к леснику, молча продолжая накрывать импровизированный стол.

— Здравствуйте,— холодно ответила она и теперь уже с нескрываемым любопытством рассматривала лесника, будто перед ней стоял человек, которого она уже знала или о котором не раз слышала, а теперь сверяла такой ли он?

— Это, Тоня, здешний лесник.— Прости, отец,— обратился он к Саватею,— мы не познакомились. Как тебя? — протянул он снова руку для знакомства и представился сам:

— Меня Игорь Николаевич, жену — Антонина Павловна.

— Саватей Пантелеевич! — испытывая вновь прилив неловкости от столь официального представления, ответил лесник. Он переступил с ноги на ногу,— а знакомые просто Пантелеевичем кличут. У нас тут, как понимаете сами, не очень расшаркиваются и раскланиваются. Люди мы простые и считаем, чем проще, тем лучше, честнее вроде бы как...

Вскинув слегка выщипанные тонкие брови, с выражением благосклонности, Антонина Павловна взглянула на лесника.— Ну что же: очень приятно,— сорвалось с ее ярко накрашенных губ. И, мгновенно утратив интерес к леснику, она стала заниматься столом, красиво склонив голову.

— Олешка! Иди сюда, брось книжку! — крикнул в сторону палатки Игорь Николаевич.— Сам лесник к нам пожаловал! Живой! Иди скорей!

В палатке послышалась возня и сопенье. Выполз такой же как мать — темноглазый подросток лет четырнадцати, с пухлыми губами, над которыми темнел пушок. В руках у него была раскрытая книжка. Он смачно жевал резинку, сплевывал и смело, не переставая жевать, смотрел на лесника.

— Сын мой, Олежка,— похлопав мальчишку по плечу, привлек к себе Игорь Николаевич.— Семиклассник. Хорошист!

Не переставая жевать и сплевывать, подросток откровенно, молча оглядывал лесника.

Про себя Саватей отметил, что семья хорошо обеспечена. «Холеные, слишком смелы с людьми, что ли, видно, время такое?, к тому же люди они городские». Яркая импортная куртка, джинсы. И опять такие же, как у отца мягкие сапоги с крупными протекторами. Невольно Саватей вспомнил себя, сверстников, которые и подумать не могли в те далекие годы, в пору его молодости, о такой роскоши. Все, что носили они, было со взрослого плеча. «Вот они, перемены времени,— разные поколения, и мы тоже разные!» — он незаметно для себя вздохнул.

— Смотрю на вас — экипировка высшего класса! В поле-то, видно, редко бываете? — присаживаясь на сухой, поваленный у костра ствол, заметил лесник.

— Как сказать, отец? Мало, конечно. Сам понимаешь, дела разные. Бежим и бежим куда-то. Оглянуться некогда... Время такое. Какое уж поле? В другой раз так и хочется все бросить к чертовой матери! Честное слово! — говорил Игорь Николаевич,— смотрю вот на тебя, отец, и по-доброму завидую. Ушел бы в лесники. Но сам видишь, семья. Сын растет.

Саватей стал рыться в кармане пустоватых галифе, вытянув для удобства большую ногу.

— Бежать оно, конечно, надо,— шаря в кармане, поддержал лесник,— да только куда бежать, к какому берегу? Жизнь,— оно, конечно, штука быстротечная — пролетит глухарем. Глазом не моргнешь, а ее — птицу времени — уже Митькой звали. Лишь бы от себя не убежать. Не заблудиться. Оно ведь везде хорошо, как говорят...

Он достал мятую пачку сигарет, мундштук самодельный. Постукал им по толстому, пожелтевшему от дыма ногтю, раз-другой дунул в него, втокнул в горлышко сигарету.

— Плохо оно,— говорил, прикуривая, он,— когда некогда оглянуться. Надо бывает, ох, как надо! Подумать обязательно надо, обмозговать все, посмотреть, что из этого всего выходит. Обязательно остановиться надо, дух, как говорят, перевести, а то и не только себя, других загнать можно. Лошади, и те от гонки сдыхают. У человека самое страшное, так это то, что душа выгорает, пустеет он. Это уже беда.— Саватей протянул сигареты Игорю Николаевичу,— закуривайте!

— Спасибо, отец! Я тебя своими лучше угощу! Олежка,— обратился он к сыну, читавшему у костра,— в палатке, в боковом кармане сигареты, принеси их.

Неохотно, с откровенной ленью подросток полез в палатку. Вскоре выполз и молча отдал пачку отцу.

— Вот, отец! Такие ты не курил. Итальянские! Фирменные! — щелкнул он ногтем по блестящей прозрачной обертке пачки, исписанной причудливыми сплетениями незнакомых Саватею букв.

— Возьми! Сам я так, можно сказать, не курю.

Саватей так и эдак вертел пачку, разглядывал, понюхал и все пытался прочесть чужие буквы. Затем сдернул тесемку. Открыл и извлек с темно-коричневым фильтром длинную сигарету. Закурил, с наслаждением вдыхая голубоватый дым, насыщенный пряным ароматом.

— Хороши, ничего не скажешь! — похвалил он, все еще поглядывая на изящную сигарету, отодвигая от дальнозорких глаз.

— Прощу, мужчины, стол готов! — игриво и ласково с некоторым кокетством, улыбнувшись глазами, пригласила их Антонина Павловна.

— Ну что ж, считаю, что по такому поводу можно в честь нашего знакомого маленькую и того... — Сверкнув ровным рядом плотных зубов, подмигнул доверчиво Игорь Николаевич. Сузив до предела светящиеся глаза, он пружинисто шелкнул себя пальцем по мягкой розовой шее. Запустил руку в лежащий около рюкзак. Коричнево сверкнула бутылка с наклейкой, перепоясанная звездным коньячным ожерельем.

— Ну дак как? Пантелеевич? — обратился он.

— Нет, спасибо. Что мне положено было, я уже того... Норму свою давно выполнил. Сейчас, тем более, на работе, не могу, не положено...

— Жаль, конечно, жаль. Понимаю, служба есть служба, но чуток горло промочить. Кто здесь тебя видит? — настаивал Игорь Николаевич.

— Нет, дорогой, нельзя, — наотрез отказался Саватей.

Игорь Николаевич извлек из кармана рюкзака какую-то пластмассовую прозрачную безделушку, резко тряхнув ее, как фокусник, обратился в стопочку и, одним движением распечатав бутылку, налил в нее коньяк.

— Ну, будем здоровы, отец! — подмигнул он снова леснику и, опрокинув, осушил ее. Крякнул, потирая довольно руки, побагровел шеей. Подцепил вилкой кусок колбасы.

— Папк, коньяк же конфетами закусывают, а ты? — заметил сильным басом сын.

— Твоему папке лишь бы было чего, — осуждающим тоном в голосе поддержала Олега Антонина Павловна.

— Тоня, дорогая! — пристально, но как-то зло посмотрел на нее Игорь Николаевич, — в голосе зазвучали властные нотки — ты же знаешь, тебе, дорогая, страшно повезло. Не пьюга же я какой-нибудь. Сама же знаешь, — перешел он на ласковый тон, — достался тебе очень даже приличный современный мужчина. Может быть, тебе где-нибудь лучше поискать? — уже приветливо улыбаясь, поглядывал он на Саватея.

— Пейте, как вас там, Саватей Пантелеевич, — пододвинула она, не глядя на лесника, кружку с дымящимся чаем в морозистом воздухе.

— Берите, что есть на столе, не стесняйтесь... — показала глазами на импровизированный стол.

Саватей подсел ближе к расстеленному брезенту. Обнял руками дымящуюся кружку и, грея об нее жесткие ладони, помаленьку отхлебывал душистый чай.

— Ну что, отец, расскажи нам, как вот ты — лесник, живешь здесь среди этих кедров, гор и вот этой красоты? Нам страшно интересно! Хорошо плохо? Сам знаешь, городским людям работа лесника так, по мальчишески представлениям, знакома, а как вот она в действительности?

— Как сказать вам, — отпивая чай, нехотя начал лесник, — не хорошо и не плохо. Вот и сказ весь. Живем, как все.

— Нет, ты, отец, — наливая еще стопочку под тяжелым взглядом жены, он настаивал, — скажи, как и почему ты лесником стал? По-моему это все надо любить, — развел он руками, будто хотел обнять горы и тайгу.

— А как можно не любить?! — Если не любить, то и делать здесь

нечего. Свое дело, насколько я понимаю, в каждой работе любить надо. Иначе соваться в него нечего. А то вот у нас за правило взяли. Как пошел человек на пенсию, а хуже того проворовался, так его директором в охотинспекцию или скажем в заповедник. Тут знающие специалисты нужны и при том честные очень, а их туда толкают. Вот и плохи дела в работе по охране нашей природы.

— Я вот тоже,— перебил его Игорь Николаевич,— мальчишкой еще был, лесником мечтал стать. Лес, избушка, речка, охота и все такое, словом, чистая романтика в работе лесника казалась. Теперь,— продолжал он, подхватывая вилкой кремовые ломтики сыра и колбасы,— смешно даже. Я и вдруг бы лесник.

Он энергично жевал, набив до отказа рот, отчего щеки его округлились и мясисто ходили вверх-вниз. На какое-то время взгляд его потускнел. Дрогнули и чуть сошлись широкие плоские брови. Но, словно спохватившись, Игорь Николаевич вновь широко улыбнулся и почти выдохнул: — Мечты есть мечты. Жизнь — совсем другое, отец.

— А вы, позвольте спросить, кем будете по профессии? — обратился Саватей.

— Да знаешь, отец, и говорить не хочется. Должность у меня руководящая. Производство. Сам понимаешь: работа с людьми, планы, неустойки разные. Честно говоря, устал. Дома почти не бываю. Сына, и того, редко вижу. Такое вот,— он показал на лес, на стол,— редко бывает,— он снова набил рот и аппетитно жевал, отпивая короткими глотками поостывший чай.

Молча сидевшая Антонина Павловна переводила взгляд с мужа на лесника. На некоторое время установилась затянувшаяся пауза. Антонина Павловна с сосредоточенным видом разглядывала плавающие чайники. Олег, сопя и шмыгая простуженно носом, тоже исподтишка поглядывал на отца и лесника.

— Ты вот что, отец, если так долго работаешь, скажи тогда — не надоел ли тебе этот зеленый мир, тишина, покой, одиночество? Тишина и одиночество, бывает, больше угнетают, чем шум городской.— Саватей отставил кружку, снял фуражку, поправил выбившиеся волосы.

— Спасибо за чай, Антонина Павловна,— кивнул он в знак благодарности головой.— А нам чего со старухой? Живем здесь давно. Привыкли. Скучать некогда. Дел всяких полно. В лесу живем, а не без людей: все кто-нибудь пожалует. Люди разные: хорошие и плохие. А все больше хорошие. Бывает здесь их столько, что в городе столько не узнал бы. Так что, Игорь Николаевич, правильно вас называю? — переспросил Саватей. Поглощенный завтраком, с полным ртом, Игорь Николаевич только согласно кивнул.

— Так вот, Игорь Николаевич, скучать некогда. Работы по дому под завязку. Хватает. А главное — люблю лес! Знаю еще, что работа моя нужная. Если говорить громко — государственная. А также я необходим всем жителям леса. Это хорошо сознаю и думать об этом приятно. Больно много сегодня развелось таких, которые приезжают побезобразничать. Беда от них,— вздохнул Саватей.

— А ты вот знаешь, отец, откуда слово браконьер пошло? — изменив ход разговора, оживился Игорь Николаевич. Не дожидаясь ответа, сам же

пояснил: — браконьер — слово французское. Означает всего лишь — человек, нарушающий закон охоты.

— Меня, Игорь Николаевич, занимает не само слово, что оно французское или еще какое, а сущность возмущает! Человек я простой, но скажу — культуры у этих хапуг образованных никакой! С совестью у них не в порядке! Каждому нормальному человеку творить подлость стало бы не по душе. Я так понимаю.

Лесник встал. Еще раз поблагодарил за угощение.

— Вот и думы разные со старухой. Уходить не уходить с работы? Возраст у меня уже. Жалко все это бросать. Устроится на мое место проходимец, и все труды мои коту под хвост. Все пропало!

— Дети у вас, Саватей Пантелеевич, есть? — спросила Антонина Павловна.

— А как же? Сын с дочкой. Внуков четверо. Завтра вот такой же, как ваш, в гости приедет. Вовка всегда по воскресеньям — ко мне. По лесу ходим. Душевный мальчишка. Горжусь им.

Тем временем Олег расстегнул складешок, висевший на ремешке у пояса, и, высунув чуть язык, увлеченно отстругивал кору с ветки кедра, под которым они сидели.

— Вовка у меня вся надежда, — улыбаясь, тепло говорил Саватей. Говорит мне — «деда, вот, мол, вырасту, стану на твоём месте работать». Дожить бы только!

— Отец! А как у тебя тут с охотой? Сам-то помаленьку поди того, постреливаешь, по правилам, понимать надо!

— Нет, дорогой Игорь Николаевич. Сразу скажу — нет! Не охотник я. А было время — заядлым был. Любовь к охоте привела к жизни в лесу. Теперь все... — Он помолчал и добавил: — не по мне теперь эта забава.

— Как это понимать? — заинтересованно спросил Игорь Николаевич.

— Как вам сказать, — Саватей обвел всех взглядом. Олег перестал строгать ветку и, нажевывая резинку, упрямо глядел на лесника.

— Скажу проще, — опустив взгляд глубоких серых глаз, сказал лесник, — жалко стало убивать. На что это? От голода, что ли? — вопросительно глянул в глаза внимательно слушающего Игоря Николаевича. — Жизнь, как я понимаю, всем дорога. Так же дорога, как и нам. Всякая козявка ей дорожит. А кто понимает, что есть смертельная опасность, так и вовсе жалость вызывает. Убивать ради забавы противно! Не голодные, слава богу. Одеты, обуты, чего еще? Охота любительская, считаю, с руки только бездельникам, либо кто с жиру бесится. Пора о природе всерьез подумать, а не только о том, как убивать время да развлекаться.

— Ну-ну, отец! Ты уж слишком! Подзагибаешь малость! Категорично слишком, — недовольно глянул на лесника и снова, широко улыбаясь, выражая довольство собой, Игорь Николаевич стал подливать в портативную рюмку.

— Мне ли тебе говорить, отец, что если не охотиться, дичи столько разведется, гибнуть станет от всяких стрессовых ситуаций, болезни душить их станут. Пропадут сами по себе, словом, без пользы для человека гибнуть станут. — С этими словами он привычно опрокинул рюмку, нарочито опять крикнул, чуть покраснев, и закусил слоистым

ломтиком лука. Потом, откинувшись, продолжал.— Так что охота, отец, дело нужное, даже для самих же птиц и зверей.

— Папк, ты снова чем попало,— заметил ему сын...

— Ты помолчи! — махнул на него рукой Игорь Николаевич. Он упруго, в упор глянул на лесника, убежденный в правоте своих слов.

— А я вот что скажу вам, Игорь Николаевич: болезней разных зверей и птиц не знаю, но знаю другое: больно шустро за природу взялись мы. Так взялись, что дальше уже некуда. Позабыли, что она, матушка, восстанавливается, как и прежде, в былые бабушкины времена. А мы с машинами, ружьями, карабинами, капканами, силками, петлями, собаками, да что и говорить. Пустуют леса, будто в них невидимый огонь бушевал. А кому боль за родимую природушку не пришла в душу, они научились ловко и умно рассуждать. Вот их лозунги и слышны, что если убивать не будем, то видите ли, обязательно передохнут, и даже получается скорее, чем если их добывать денно и ночью. Много слишком ловкачей, дипломатов разных, суесловов нынче развелось. Чуть что, так только о пользе и разговор. В ее кубометры, тонны или рубли верят, этим и прикрываются. Будто бы ничего другого за душой у человека и не бывает, кроме как только за пользой гоняться. А для кого польза, спрашивается,— запальчиво уже наступал на Игоря Николаевича лесник,— для кого? Для тех, кому это как-нибудь выгодно, да еще хапуг, браконьеров и прочих. Вот так скажу вам я, Игорь Николаевич.

Саватей поправил фуражку, одернул куртку и только теперь заметил, с каким вниманием его слушают.

— Вы извините, увлекся немного,— тихо сказал Саватей,— разговор наболевший. Не могу спокойно об этом. Все на глазах моих было: лес, и зверь, и птица, рыба в реках. Теперь охотники одни шастают и сладу с ними никакого. Бывает, другой раз и хотел бы с кем-нибудь словом переброситься, соображениями,— он развел руками,— не с кем. Старуха своими делами занимается. Ей тоже некогда рассуждать. Вот разве внук Вовка, с ним мы все-е по душам. Любит он все живое. Жалостливый, понятливый! Завтра придет, мы с ним и пройдем глухариную тропой. Время сейчас в тайге особенное: внизу осень еще не отошла, а зима сверху по хребтам стелется. Смешались краски зимы и осени. Красотища! Никакими словами не опишешь. Разве что нарисовать можно.

Саватей замолчал, подергал губами затухшую сигарету, фырча мундштуком. Подсел к чадающему синеватым слоистым дымом костру, взял уголек огрубевшими, не чувствующими жара пальцами, прикурил, снова встал, хрустнув коленом.

Солнце поднялось над хребтом. Горячими красками необлетевших листьев завораживали редкие у ключа осины. Обштопанные мишурой изморози, светились тонкими огнями перепутанные травы. Густые тени, словно синие куски льда, завалили примолкшие пихтач и кедровник.

Игорь Николаевич перестал есть и тоже оглядел окружавший их лагерь, лес в его первом зимнем убранстве. Молчали. Антонина Павловна, все так же вскинув брови над опущенными глазами, собрав в кружок свои яркие губы, убирала со стола, Олег жевал резинку и ковырял палкой осевший костер.

— Отец, ты лучше расскажи нам про глухаря. Признаться, первый раз слышу о глухариной тропе. Расскажи, а то ведь мы истории эти самые

только в книжках да журналах читаем. Только с одним условием: давай по грамулке, а? — вопросительно глядя, улыбался он.

— Нет, извинения прошу, Игорь Николаевич, по этому поводу я сказал. Благодарю.

— Расскажите, Саватей Пантелеевич, Олегу тоже интересно будет послушать, — уважительно попросила Антонина Павловна, обратив бархатистые глаза на лесника.

— Ничего особенного в том не было, — словно оправдываясь, начал Саватей. — Ну, если интересно, могу, конечно. — Он снова опустился на лесину, сел, поудобнее вытянув больную ногу. — Осенью это было. Под это самое время, эдак пять или шесть годов назад. Время под вечер. Свет в избе уже зажгли. За стол было сели, ужинать. И на тебе — окошко вдребезги, дзыньк! Стекло брызгами по избе. Ничего понять не можем, что такое? А на кровати глухарь трепыхается. Ушибся, видно, шибко. Вот такой здоровенный, — показал лесник, будто взвешивая его в руках. — Кувыркается, простынь на себя клубком. Схватили мы его с зятем. Дочки муж. Они у меня в тот раз гостили. Придавили глухаря чуток к постели. Сильный и всю лупит крыльями, перья — как из подушки! Здоровенный черт! Держу за грудь, а сердце в руке стучит, того и гляди выскочит.

Саватей, увлекшись воспоминанием, приободрился, взгляд его потерял строгость. Он подкрутил усы, привычно потер ноющее колено.

— У них под это время обычно пролеты, к кормным местам подаются. Поэтому случился залет в окна. Надо сказать, это не редкость: в селах и в городе такое бывает иногда. Глухарь был здоровый. Крыло малость того — повредил. Старуха моя — Ульяна ругается. Шутка ли: под зиму, а у нас окно вдребезги. Занавесили его одеялом.

— А что с глухарем? — спросила вроде бы и не слушавшая лесника Антонина Павловна.

— Зять тогда и говорит, мол, давай его того, — Саватей чиркнул ребром ладони по горлу, — жирный. Крыло, мол, повреждено, все равно погибнет. — Мы ведь всегда скоро такие решения принимаем, если зверя или птицы это касается. Я согласился уже было. И вот поверите или нет, — обратился Саватей уже к Антонине Павловне, приложив к сердцу руку, — глаза его увидел. А в них страх! Ужас! — перешел рассказчик на шепот, — и странно как-то вышло — в нем вдруг себя вспомнил. Случай был один на войне... Вот и вспомнил его. Глухарь смотрит тревожно, понимающе как-то и этот человеческий страх в глазах. Подумалось тогда: можно разве, извините, ради брюха губить красоту такую. — Саватей обвел взглядом слушающих. Все молчали, даже Олег отвлекся от костра и затих, словно проглотил свою жвачку. По глазам их видно было, что ждали, что же дальше.

— Потом силком зерно, орешки кедровые в клюв напихивал. Хорошо, сытый был. Однако исхудал за неделю сильно. Но крыло выздоровело. Висело сначала, потом подтянул. Свыкся глухарь. Вовка, внук мой, вскоре приехал. С ним пошли и выпустили во-он там, — Саватей повернулся к хребту и показал на кедровую впадину под скалистым гребнем на другом берегу Светлого ключа.

— Ну и что дальше? — не вытерпел Игорь Николаевич.

— А что? Глухарь так и остался здесь. Поглянулось, видно. Думали,

уйдет куда, а он с раненым крылом, видно, не решился. Так и привык. Не знаю: так или не так, но остался. Сегодня след его встретил.— Саватей замолчал. Поплевал аккуратно, даже как-то заученно на сигарету. Бросил и затоптал носком сапога.— На исходе зимы, в марте, кажется,— продолжал он, лицо его снова обрело какое-то внутреннее раскрепощение: расправилось и посветлело,— выхожу на рассвете и ушам не верю: в мрачном, сугробном лесу слышу глухарь точит! Сердце как у мальчишки: от радости заколотилось! Ниче поделать не могу с собой. Пошел туда, где он токовал. Нашел. Снег весь под кедрами крыльями исчерканный. Сам копной темной ходит. Важный! Хвост как у индюка породистого. Пузырится, крылья колесом и чиркает ими снег. Я уже близко подошел, а он как не видит. Шею тянет и скеркает. Бойтся вроде бы, а не улетает. Признал, похоже. Стою, люблюсь на таежного монаха. Радость одна на душе от встречи. Это не то вовсе, что глухарина похлебка. Радовался и мой Вовка: прижался к руке, давит ее от волнения и глаза только сверкают, как у сурчонка, выбравшегося из норы.— Саватей о чем-то подумал, растирая колено.

— Если о звере говорить, то и говорить не хочется. Одно расстройство. Опустела совсем тайга. Рябчика ведь сколько было,— не стало. А его стреляют и стреляют. Никому и дела нет. Дятлов — и тех кончили,— выпалил он.— Охотник сегодня не зря любителем именуется, любит стрелять, словом, лишь бы выстрелить. Еще договорники и промысловики. На приманку в капканы на цветного зверя черного дятла бросают. Мол, на них хорошо соболь идет. Соек перестреляли. А где им бедным взяться, если с ними так из года в год обращаются. Веками тайга копила живое богатство. А мы словно из колодца — черпай не перечерпашь! Эх, Игорь Николаевич! — вздохнул лесник.

Сощурил глаза, он куда-то поверх лесника пристально глядел, будто все, что говорил Саватей, он там видел. А Саватей продолжал: — Сколько глухаря в этой тайге было. В нашей алтайской! Где он? Охоту вроде бы и закрыли, браконьеры последних добивают. Тут еще соболя ему на беду выпустили. Понятно, зверь ценный, но и о глухаре подумать надо. Нельзя тайге без глухаря. Для нее эта птица как и медведь из зверей. Нельзя тайге без них. Не стань их — тайга не тайга, а так себе — декорация театральная. Ведь по всем местам здешним после войны глухарь водился. Скажу вам, телегами возили с охоты. Думали, конца ему не будет. И как о нем не беспокоиться, если в республике он только у нас на Алтае живет. Не хочешь, да подумаешь как спасти? А как, если его стреляют? И на бабах ворожить не надо: не столько добудут, сколько поранят. Браконьеров полно. А промысловики что делают? Сидит он зиму на своем участке, консервы надоедают, и все это время рябчика да глухаря бьет. И так из года в год. Кто его там в таежной глухомани проверит? Понятно, и ему питаться свежатиной надо, трудно соболевать. Вот такие горы,— лесник поднял руку до пояса,— костей рябчиков да глухарей у избушек видел. С другой стороны вовсе ничего понять не могу. Я уже о другом,— говорил Саватей Игорю Николаевичу, задумчиво глянув на Антонину Павловну, смотрящую куда-то тоже поверх деревьев, словно она уже ничего не слышала.— Вот возьмите сегодняшний день,— разговорился Саватей,— обстановку в мире подразумеваю. Хуже не придумаешь! Тут не только животным и растениям, которых мы стараемся сохранить через

разные Красные книги, и самому человечеству опасность грозит. Вспоминаю родителей своих: совсем темные были, но бабка, помню, начитавшись Библии, поговаривала: «Время такое настанет, когда из тьмы мужей только один, из тысячи жен — одна в живых останутся. Но живые будут завидовать мертвым». Я человек пожилой, можно сказать, таежный, войну прошел, понюхал почем фунт лиха. Удивляет, вот вы человек грамотный, Игорь Николаевич, и скажите — почему нет мудрости у людей. Почему добра не помнят?

— Оказанная услуга ничего не стоит, — вставил свое слово Игорь Николаевич, криво улыбувшись, — отец, ты все правильно говоришь. Слушать тебя можно, но в жизни все иначе. Не от нас зависит, хотим мы этого или нет. Мир сложный, задумаешься, непостижимый, и все из-за того, что сами все мы невероятно сложны. Миром управлять, отец, особенно в наше время, очень сложно. Жизнь каждого из нас скоротечна, что и вправду, как ты говорил — оглянуться не успеешь — пролетела. Люди стремятся чего-то постичь в жизни, и постигаем другой раз, как говорится, не мытьем так катаньем. Много сложностей, — отрешенно потупив взгляд, говорил Игорь Николаевич. — Мир клокочет оттого, что каждый в нем, хоть и маленьким, но себя хозяином считает или хочет этого. Одни по своему убеждению созидают, другие, напротив, зло сеют в большом и малом, — он смотрел себе под ноги, говорил вяло, общими словами. — Есть еще, отец, и середина — третьи. Их много, третьих. Они сами не подозревают, что творят и чего хотят. А ну их дальше, — он снова налил коньяку и резко опрокинул свою стопку и как-то искусственно разомкнул губы, натянуто улыбнулся, — ты лучше про глухаря расскажи, отец. Пожалуй, это куда интереснее, особенно для нас, городских.

— А что рассказывать-то о нем, — уже без запала душевного ответил Саватей. — След его встретил. Здесь недалеко, на дороге. Тропу свою в гору проложил. В черничнике, значит, и кормится. В это время они ходят больше, чем летают.

— Почему не летают? — спросил Игорь Николаевич.

— Непонятно, что летать могут, а любят пешком ходить.

— Олег, слышишь, что Саватей Пантелеевич говорит, — повернулся он к сыну. Олег читал книжку. — Глухари пешком по снегу до перевала ходят.

— Слышу, — не изменив позы, буркнул подросток.

— И так всю зиму пешком? — спросил Игорь Николаевич у лесника.

— Потом, — пожал плечами Саватей, — потом улетают к местам, где кормов больше, где их беспокоят меньше. Но этот зимует здесь. Километры по его следам проходил. Интересно, — оживился лесник, — когда следом идешь. Словно и не глухариный след, а самой тайны. Вот Вовка придет, обязательно сходим. — Саватей всгал, поправил фуражку, оглядел своих собеседников. — Ну да ладно: время больно затянуло, — настроился уходить Саватей. — А насчет шишек, лучше вверх по ключу. Там плотный кедровник. Шишка сейчас на снегу.

— Нам, отец, много и не надо, — как бы оправдываясь, ответил Игорь Николаевич.

— Это папиному начальнику, — вмешался Олег. Он продолжал отчаянно жевать резинку и уже строгал складешком прут рябины.

Игорь Николаевич колко взглянул на сына, на Антонину Павловну.

— Олег! В разговоры старших не вмешивайся,— одернула она сына.

— Ты, сынок, зря рябину срезал. Смотри,— показал лесник на обрезанное деревце.— Дерево целое погубил. Построгаешь и выбросишь, оно уже третью зиму встретило.

— Олег! — раздраженно прикрикнул Игорь Николаевич,— я тебе уже сколько раз делал подобные замечания. Ох и детки пошли! — как бы вызывая к сочувствию, обратился он к леснику. Он подтянул на полные тугие икры, обтянутые темно-синей джинсовой тканью, голенища своих легких сапог.— Что с ним поделаешь. В школе их не учат быть чуткими. А вот так — что толку? Сколько ему внушал всякое такое. Акселераты...

— Ну ладно, а то мы уж слишком,— смягчив голос, уже не столь строго глядел на виноватого мальчишку Саватей.— С кем не бывает.— Он взял обрезанную рябинку. Поднял ее к глазам.— Чай пили с рябиновой корой? — спросил он у Антонины Павловны.— Нет, и не слышала, что с корой можно чай пить,— заинтересованно ответила она.

— А вот попробуйте.

Содрав с рябины кору, он потер толстыми, разбитыми работой пальцами. Понюхал, шумно втягивая терпкий запах, и подал кору Антонине Павловне. Она наигранно-удивленно вновь вскинула свои прелестные брови. Взяла кору, как пинцетом, двумя пальчиками.

— Ну, до свидания. Всего доброго вам,— привычно кивнул Саватей Антонине Павловне, держащей серебристо-серую кору рябины тонкими пальцами с ярко окрашенными ногтями.

Саватей напоследок глянул на Олега, который строгал сломанную ветку кедра, развесившего шатер над палаткой, и, снова хлопая голенищами резиновых сапог, широко зашагал, пока не скрылся за деревьями.

Глухариная ночь

В прошлую ненастную ночь, перед первым снегом, как только перестал дождь и улегся глухой шум тайги, воздух резко похолодал. Тишина мягким соболиным брюхом наваливалась на спящую тайгу. Пошел первый сухой и легкий, как пепел, снег. Старый глухарь открыл глаза, пуще нахохлился, еще поплотнее прижался к стволу, снова чутко задремал.

Снегопад становился гуще. На кедровых лапах белел уже лохмотьями снег. Небо дышало холодом, пробиралось сквозь густые перья. И снова он открыл глаза: кругом было темно и мутно. Тихо-тихо шелестел падающий снег. Пуще еще подняв, словно взбив свои перья, стращивал с них снежинки, тряс головой, отмахиваясь как от комаров, от липших к глазам холодных кружевных звезд. С первым снегом в спящую тайгу бесшумно, как тени, вошли гнетущая тишина и тревога. Вместе с ними чувство опасности влилось и в его чуткое пугливое сердце. Глухарь дремал и все слышал. Каждый миг мог стать роковым, и это лишало беспечного сна. Он вновь сомкнул веки, но сон не приходил, и он долго, безучастно смотрел в мутное от снега небо, в сумрачный мир тайги. Переступив с ноги на ногу, еще сильнее хохлился. Под его светлым горбатым клювом встала «борода». Ему вдруг являлись мутные, как небо, невыразительные шорохи, и он тянул напряженно шею, собравшись одиноким черным

комом, вслушиваясь, сидел в гуще ветвей знакомого до каждого сучка кедра. Все было до мелочей привычно здесь. Это успокаивало, и он снова, втянув голову, чутко дремал.

Под утро, когда снегопад утих и очистилось небо, тонко засветились окрашенные лунным светом редкие облака, глухарь успокоился. В стылом небе таяли последние лоскуты снеговых туч. Золотистой долькой одиноко сочнела луна. Серп ее ледяным светлячком всплыл в темном омуте неспящего глаза птицы. По зубу стекал лаково-синий свет. Где-то рядом нежно и печально засвистел сыч. Его грудной свист, налитый, как и все в это утро, пустынной грустью предвзвья, разлился в молчаливом запо-рошенном лесу. От его свиста холодный ужас близкой опасности прострелил беспокойное сердечко лесной мыши. Замер в густом лапнике крошечный королек. Глухарь тряхнул головой, словно хотел сбросить наваждение, вытянулся и напряг слух. Но вокруг все по-прежнему настороженно молчало и таилось. Тайга обратилась в большую напуганную птицу.

Глухарь уселся поудобнее, напыжился, втянул голову и, не мигая, долго сидел в неподвижности. Он не знал, почему не спится. То ли тревожили птичьи сны и не давали покоя, то ли ныло раненное когда-то крыло. Он вздрагивал, перекладывая, подтягивая их бесшумно, прятал в перья клюв и старался дремать. И опять в который раз он пугливо вскидывал голову, ему вдруг казалось, что где-то рядом таится опасность, он ощущал ее дыхание, потому готов был сорваться и улететь. Испуганно дышал от привидевшейся опасности, пережив мимолетный страх сна, в котором набрасывался на него ястреб. Ему, познавшему лишения шести зим и прелести таежных весен, помнилась его первая весна, когда синим мартовским утром чертил он тугими крыльями плотный ноздреватый снег, поджидая на первое свидание подругу. Виделся символический бой с первым соперником. Грезы и сны его, подаренные памятью, вдруг легкими снежинками упархивали, и он вновь настороженно вслушивался, погружаясь в дрему.

Что тревожило старого глухаря? Может, приснившийся ужас, свя-занный с мгновением, когда он влетел в солнечное окно лесной избушки и оказался в крепких человеческих руках. Глухарю непонятно было, что человек может жить под низким маленьким солнцем, светившим ему одному по ночам. Еще молодой и неопытный, он посчитал его за настоящее и оказался в плену. То вдруг он видел себя маленького и беспомощного в то давнее первое утро, когда, спотыкаясь и путаясь в мокрых от росы травах, со своими пестрыми братьями и сестрами он следовал за большой, доброй и теплой матерью. В то ясное утро он шагнул в прекрасный и страшный мир. Мать их, расставив крылья, подала тревожный низкий голос. Что случилось, он так и не знает, но сердце само сжалось от навалившегося страха, тело отяжелело, ножки ослабли. Властная, необоримая сила придавила к земле. Широко раскрытые от страха глаза остановились и жили — ужасом сердца, каменно смотрели на большое солнце, в бескрайнее небо, сквозь шатер кедровых лап ловили неподвижно парящего в небе хищника. От его ленивого движения становилось еще страшнее, хотелось уйти в землю, зарыться под брюхо матери, но мать-глухарка, угадав его желание, еще раз предостерегающе кокнула. Все обошлось. И много, много раз они таились, отсиживались,

отлеживались, переживая внезапные опасности. Помнил он и то, что к тому времени, когда стал летать, их у матери-глухарки осталось мало.

Спит и не спит глухарь. Слышит, как ссорятся под корнями в полегшей траве мыши, и тяжелую поступь, и шумящие ноздри лося, который черной горой бредет среди обмерзших стволов. Слух его ловит сухой пустоватый шорох слетающих с ветвей снежных струй. Сердце его вдруг дернулось, зачастило. Он весь обратился в слух: напряг зрение, шея в струну, крылья крепко обняли тело. Они готовы ударить и унести его в предрассветную тьму за вершины кедров. Лаково светятся темные неподвижные глаза. Старый, он уже знал хорошо: качнулась ветка, осыпался снег — опасность и может обернуться бедой. На ветках могут таиться легкой тенью рыскающий в ночи соболь. Матерый напрягся. Тишину ему мешало слушать его испуганное сердце, будто в нем самом поселился и громко стучит маленький дятел. Тянулись тихие, напряженные, томящие минуты. Долго еще озирался старый глухарь: не дрогнет ли ветка, не взметнется ли тень звездоглазого, летучего соболя. Постепенно расслабился, натопорщил серебристо-темную бороду. Теперь он чистил перья, скусывал смолку с жесткой бахромы пальцев на темно-серых «чулках».

Половодье рассвета медленно разливалось у горных вершин. Голубел сумрак, прятавшийся в подолах елей. Совсем черными на снегу казались деревья, словно они были вырублены из кусков мрака отступающей ночи. Глыбами чернота еще лежала в распадах. По склонам одетые в сыпучую белизну снега зависли в торжественной печали кедры.

Глухарь склонил тяжелую голову, запустил клюв под крыло и словно листы продолжал сухо перебирать шуршащие перья. Потом раздулся, напыжился, будто с избытком хлебнул студеного воздуха, несколько мгновений сидел разбухшей кочкой, вслушивался все и только потом шумно встряхнулся, сбив снежную пыль с ветвей.

Где-то рядом чирикнула синица. Искристой нитью сверкнул голосок ее в сером рассветном воздухе. Вспыхнул и потерялся вместе с упорхнувшей синицей в рассветных тенях, среди спящих деревьев. Тонкий побледневший месяц одиноко плыл в холодном небе к гребню и с вековой грустью смотрел на притихшую, укрытую снегом тайгу. Будто он один ведал о земной печали, связанной с утратой чего-то, о чем теперь все на земле грустит под его задумчивым взглядом. Тихо и безмолвно заглянул он в налитые чернотой глаза птицы и застрял в них золотым зернышком.

Как только из-за гор взошло солнце, первыми приветствовали спящий кедровник синицы. «Фыркающая» крылышками, они суетились, перепархивали и тихо переговаривались о первом снеге, о прошедшей ночи. «Так-так-так» — словно соглашаясь с ними, «говорил» проснувшийся дятел. Повернувшись к розовеющему на восходе, на вершинах гор снегам, на кедре сидел малиновогрудый шур. Тихо и печально, словно оплакивал он ушедшее лето, звучала его короткая песенка. У него гнутый и крепкий, как у глухаря, клюв и такие же печальные влажные глаза.

Тени под кафтанами плотных деревьев засветились тонкой синевой. В морозистом воздухе догорала золотистая слюдяная изморозь. Из костяных ноздрей глухаря, прикрытых упругими тонкими перышками, родничками выбивался парок. Белые, как погоны, углы крыльев взялись

снежной розоватостью, их тоже достало солнце. Глухарь шумно встряхнулся и, поддерживая равновесие, пошел по стылým ветвям, помогая себе крыльями. Лапы его скользили по обледеневшей коре. Выбравшись к вершине кедровой лапы, некоторое время он оглядывал тайгу. На шее то и дело вспыхивали и гасли огни блестящих перьев. Оценив все шорохи и голоса проснувшегося леса, он толкнулся и, навалившись грудью на недвижную застойность воздуха, гремя упругими сильными крыльями, пролетел и опустился на лесовозную колею. Лапы его в мохнатых «чулках» с робким шорохом тонули в белом покрывале, застелившем дорогу. Некоторое время он стоял, высоко подняв голову, выслушивая утро.

В зимнем убранстве, с восходом, тайга стояла обновленная, торжественная, чуткая, словно боящаяся утратить сказочную красоту. Осмелев, черным бароном, облаченный в пышное одеяние, глухарь шел вверх по дороге, оставляя крупные кресты следов. Шел медленно, но легко и привычно забирая вверх к заснеженному перевалу. Он знал, что там по округлым вершинам последних деревьев густели ягоды черничника.

Глухариной тропой

На восходе следующего дня Саватей с Вовкой оставили кордон. Часто останавливаясь, они молча поглядывали на схваченные лучами вершины, сверкающие ртутным светом снегов, из которых дыбились оскалившиеся клыкастые скалы.

Лесник и его внук шли к лесовозной дороге, к Светлому ключу, чтобы пройти следом глухаря, который держится в черничнике.

Серые в белесых ресницах Вовкины глаза счастливо шурились. Рукavicшкой он тер покрывающийся испариной в мелких веснушках нос, усердно шмыгая носом и постоянно поправляя сползающую на глаза шапку. Шел Вовка размашисто, широко размахивая руками, впереди деда, то и дело оглядываясь на него.

— Смотрю, я, деда,— торопливо заговорил он,— и думаю: лес — самая правдашная на земле сказка. Посмотри, вот не трава, а огни сплошные. Видишь — синие-пресиние, желтые, фиолетовые какие-то, красные, голубые и еще всякие.— Вовка остановился и показал деду травы в огнях инея.— Сегодня, деда, люди стали открывать все интересное в природе уже не только где-нибудь, как раньше в дальних путешествиях, а около себя. Ты смотри, разве огни на траве не чудеса? — поглядывал он на Саватея, морща не то от света, не то от счастья нос и еще сильнее щуя глаза.

— Мне, деда, иногда кажется, что я знаю, о чем молчит тайга или о чем думают горы. И кажется, знаю, почему грустит вот эта,— показал он,— облетевшая лиственница или березка, на которой есть еще листочки. Понимаю, слов только у меня не хватает.

— Ишь ты куда хватил! Откуда ты такой?! Вундеркинд прямо какой-то! — хитровато поглядывая на Вовку, восторгался в душе Саватей.— То-то тарактишь, поди, думаешь дед твой не знает лесной красоты? Тебя еще и в помине не было, а я уже в лесу жил. Как свои пять пальцев, казалось, все знал. Следы любые распутывал. Кто-кто, а дед твой знает

лес. Поэтому считаю,— говорил серьезно Саватей,— жизнь леса, внучок, не таинственная, как привыкли теперь говорить. Тайны эти в человеке скрыты — вот что главное. Если человеку этому ничего не интересно, спит на ходу, то не только лес, но и вся жизнь проходит для него потемками. Такой ничего не познает. Слово и не жил на нашей красивой земле. Если ум у него живой, кумекает че-нибудь, тайны ему сами навстречу, что волны к берегу! Тогда таинственный, непонятный и, как некоторые считают, враждебный лес становится для него самым щедрым, даже гостеприимным другом. Все тайны у него на ладони. Не прячется, как дитя, и сам идет навстречу. Но природа, я тебе скажу, требует от каждого смекалки, любит труд. Тогда ты свой. Скатерти-самобранки здесь не стелят. Тайга учит молчанием или голосами. Опасности свои у нее. Если ты свой — она к тебе лицом. Она не то что мы — не лицемерит. Не умеет хитрить и недостатки скрывать, нечем ей прикрываться, и не умеет она выдавать себя за другое. Правильно ты сказал, лес — мудрая и красивая сказка.— Лесник опустил голову, остановился, натужно дыша, ждал, когда успокоится сердце. И, глубоко вздохнув, набрался сил и продолжал: — А вот если честно, то искорки на траве нас раньше не занимали. Я все следы, скалы, общую красоту зрел и чувствовал. А ты вот их увидел. Молодец! Мы с тобой, брат, чего-то громко сегодня того... то о себе, то о лесе говорим. На всю тайгу. Орем, так и чего-нибудь интересное пропустим. Давай-ка постоим, послушаем,— Саватей вытянул шею, глотнул холодный воздух, дернув суховатым острым кадыком.

Влюбленный в деда, Вовка смотрел то на него, то на торжественный, присыпанный снегом утренний лес. В глубоких и вдумчивых глазах Саватея он заметил огонек тихого, спрятанного счастья. И раньше он видел его, особенно когда дед смотрел на него — Вовку. Заметил и то, что на скуластом лице добавилось морщинок. Глаза стали суше, взгляд по-прежнему прозительным. Вспомнил Вовка день, когда они первый раз ходили тоже по глухаринной тропе, тогда дед был свежее. Они не останавливались отдыхать. И Вовке от этого почему-то стало грустно, тревожно и он отвел глаза.

— Будет тебе более смотреть-то на меня,— разгадав мысли его, заговорил Саватей.— Забыл, куда идем, че ли? — Он повернулся, ссутулившись чуть, шагал, трогая ладонями, словно здороваясь, холодные стволы деревьев.

Вскоре они миновали пихтовник, кедровую впадину, где Саватей встретился с семьей Игоря Николаевича. Впереди засветлела пустошь вырубки. Отсюда дорога уходила крутым косогором прямо под навес кедровника, одетого по-зимнему в горностаевые меха. Вышли к дороге. Овражек разделил ее надвое. В глубокой узкой промоине, извиваясь и прыгая по оголившимся валунам, утробно бормотал еще не замерзший, но совсем обмелевший ручеек. Углубления, чашинки затянул белый мутный ледок. Под ним серебрилась молочнисто пустота. Вода, падая в нее, громко и пустобрюхо урчала.

— Бережки, дед, у ручейка золотые, видишь,— остановился Вовка. Саватей видел тоже сбитые непогодой кремевые листья берез и осин, рыжие илы лиственниц, перемешанные с ржавой хвоей кедров и пихты, которые сейчас светились и сплошь покрывали бронзой и медью промоину.

— Как в сказке золотой ручеек, правда, деда?

— Молодец, Вовка,— тепло и просто сказал Саватей,— уже только потому, как ты обрел зоркость и чистоту, рад я и наверное скажу, браток, не зря прошли мои годы здесь.

В глазах его Вовка увидел огонек спрятанного тепла и ласки.

— А вот, глянь-ка,— показал Саватей на след глухаря. Они остановились и смотрели на врезанный в снег след. Отпечатки широких когтистых лап на широкой дороге, казалось, жили сами по себе неподдающейся определению неторопливой жизнью, исполненные особой логикой таежного обитателя, какой-то неодолимой новизной. Они звали к горной вершине, к перевалу, через чертолом и пади в неизвестное.

— Грамоту его читать будем? — спросил внука Саватей, украдкой глянув в его глаза. А они, Вовкины глаза от синевы неба поглубели. Ярче еще светились его частые и мелкие веснушки, золотившие по-осеннему маленький нос и окрайки щек. Казалось, на лицо Вовки села прозрачная бабочка, раскинув яркие пестрые крылышки, которыми ловила солнце.

Хорошо было сейчас Вовке. Радость, полнившая сердце, передалась Саватею: кожа на его иссеченных складками скулах разгладилась, проступили алые паутинки «жилок», порозовела. Вовка радовался за своего деда, который молодел на глазах. «А вдруг глухарь где-нибудь здесь! — заглядывая в кусты, на чистый снег меж стволов, разжигал себя Вовка: «След-то свежий».

Они шли за глухарем. След упорно вел вверх, охотно огибая стволы и кустарник. Дед и внук тоже петляли не спеша глухарьиной тропой. Им хотелось основательно узнать: как он шел и что делал. Нет больше ни у какой птицы таежной таких длинных троп, как у глухаря. Почему он ходит, а не летает? Изредка вполголоса перекидывались словами. На бугре пернатый ходок останавливался, топтался на месте, и снег был густо испостан.

— Вишь, чего-то озирался. Стоял. Может, испугался чего? А ну-ка глянь вон туда,— показал Саватей под кряжистый кедр, росший на краю ложка, в котором звенел еще не замерзший ключ. Вовка подошел к кедру. Ствол был изуродован горбатыми наплывами, морщинистыми наростами. Из трещин коры желтели смоляные наплывы. Под ним, словно вмержшие в снег птицы, лежали полуразгрызенные шишки. Снег около них пестрел пальчатыми вмятинами следов белки, истыкан и изрисован точками и черточками мышиных лап и хвостов.

— Белка, похоже, и напугала его,— пояснил Саватей, потому как след глухаря потянулся в овраг, в стороне от дороги. Теперь он плавно огибал обштопаные инеем кусты жимолости, не уронившей своей ягоды, похожей на сизые виноградины, тоже будто обсыпанные порошком белым, как пудра.

— Ягоды, видишь, не трогал. Не голодный. Хвою щиплет, черникой пробивается. Туда и тропа, в черничник,— уверенно пояснял Саватей, оглядывая вязь крестатых следов.

— А почему он не летает, а все пешком да пешком, деда?

— Я же говорил, глухари с первыми снегами пешком к перевалам уходят. Почему, сам не знаю. Есть, видно, что-то в этом, а что — мне не ведомо. Думаю только, оттуда легче вниз или на другой перевал лететь. Тяжелеет глухарь под осень.

Вдруг послышалось гнусавое цоканье. Вовка поднял глаза. На дереве дергалась белка, возмущенная их появлением. Она, словно от нетерпения, чтобы ушли поскорее, крутила хвостом и, сбивая кухту, совершала резкие первые прыжки.

— Деда, а почему у нас белки черные, грудь только белая? А рисуют везде рыжих, красных почти?

— У нас алтайская, темная. Боровая другое дело — рыжая, крупнее, зовется телеутка,— со знанием дела пояснил Саватей.

— Знай хитрость маленькую, что и тетерев, и куропатка, и глухарь тоже взлететь норовят сверху вниз по склону. Охотники, брат мой, знают это хорошо. Идешь к ним бывало снизу, а он взлетит вверх, развернется там, да и летит мимо тебя вниз. Вот и лови на мушку. Да отохотился я. На душе оттого, что перестал убивать, светлее и чище стало.— Некоторое время, о чем-то думая, Саватей помолчал.— Ходок глухарь вроде бы и неважный, а уходит, как видишь, далеко. На три-пять километров иногда утянется. Просто удивляет: имеет сильные крылья, а километры, да еще по снегу, веками пешком меряет. Смотри-ка, здесь он шишку требушил. Орехи целиком глотал,— показал Саватей, склонившись над расщепленной отсыревшей шишкой, вокруг которой были рассыпаны чешуи.

Вовка тоже склонился к расклеванной сбоку шишке, чуть уже подопревшей. Осмотрел истоптанный глухарем снег, заметил полосы от бахромчатых полосок, покрывающих его пальцы с боков.

— Деда, а что глухарь наш один здесь живет или копылуха у него есть?

— Зачем один. Двух глухарок видел, тут же держались. Нынче их обеих на гнезда посадил. Выводки сам встречал. Глядишь, и разведем здесь с тобой глухарей,— весело глянул Саватей на Вовку.— Вот только охотники постоянно шарятся. Беда прямо.

Они шли, и глухариная тропка огибала полуразвалившуюся валежину. Строчкой от нее убегал мышинный след. Он пересек тропу птицы и тонким бисером следов густо обштопал лежащую на снегу шишку и струной уходил к старому с папахой из снега пню. Около в траве, обеленной изморозью, висели голубые синичьи перышки, ставшие добычей ястреба или сычика.

— Смотри, Вовка, в оба! Вокруг нас маленькие лесные тайны. Сами к нам идут,— улыбнулся глазами, чуть подмигнув, Саватей.

— Деда, ты уж, наверное, точно знаешь,— обратился Вовка к деду, который имел для него самый большой авторитет, и он гордился им перед своими сверстниками,— почему глухаря называют глухарем? Правда, плохо или вообще он не слышит?

— Слышит он получше нас с тобой, но когда токует, как у охотников принято говорить, или точит первые колена этой песни. А когда одуреет от азарта, то запрокинет голову и начинает стрекотать.— Саватей растопырил вместо крыльев руки, поднял голову и забулькал горлом, изображая глухаря. В это время,— пояснил Вовке дед,— он и глохнет. Ты хоть что ему, а он не слышит. Кричи — не слышит, стреляй — не слышит! Чудо горькое с ним случается!

Вовка, затаив дыхание, слушал, и вместо деда он уже видел дикого и чудного таежного глухаря.

А Саватей, увлеченный своим рассказом, воспоминаниями первых охот, уже вытянул вперед руки, будто и вправду в них было ружье и, прищуриив один глаз, целился, приподнявшись на носки. Целился он куда-то в крону кедра.— Тут, охотник, не зевай! — говорил он, тихонько, полусогнувшись. Потом опустил руки и повернулся к внуку.— Стрельнешь, бывало, а он хоть бы что! Глухомень глухоменем! Но чуть запоздай, все! Поминай как звали,— опустил он устало на лежащую колодину.

— Глухарь — сторожкий, брат ты мой, чуткий. Не каждому по зубам. Охота на него сноровки требует.

Вовка подсел рядом и с неослабеваемым вниманием слушал. Саватей расслабился и тепло похлопал по плечу своего Вовку. Привлек его к себе и, потирая ладонями холодное оттопыренное ухо, поднял голову, šťastливо шурясь от чистого снега близких вершин, он смотрел куда-то выше их, что-то вспоминая. Потом глядел так, будто видел все это впервые. Вздыхнул шумно, заглянув в серые щелки глаз мальчишки.

— Ты вот спросил, а я вспомнил одну сказку про то, как глухарь глухим стал. Давно слышал, когда совсем маленьким был. В ней про то, почему гложет он от своей же песни...

Вовка не выдержал, подскочил и навалился.— Расскажи, деда! Интересно! Деда! — дернул его от нетерпения за рукав.

— Заикнулся тебе потому — знал, что просить станешь,— хитровато поглядел на Вовку Саватей.

Он достал папиросы, закурил. Вовка молча наблюдал за дедом и снова поудобнее подсел к нему. От нетерпения услышать сказку, он шмыгал носом, вопросительно и ожидающе молча поглядывал на деда.

— Давно это было,— откашлявшись от затяжки, начал Саватей.— Тайга была сплошная, черная и совсем дикая. Вот тогда впервые в тайге появился глухарь. Пищи ему сколько хочешь. Одна беда — ястребов, рысей да соболей полно тогда в тайге было. Днем и ночью рыщут. Того и гляди, глухарь в когти или в пасть кому-нибудь угодит! Однако глухарь мало-помалу освоился. Так прожил он в одиночестве зиму. Хорошо, сытно было ему. А к весне, он, брат ты мой, заскучал. Чем свет, тайга еще сумеречная, спят ястребы, а он петь начинает по-своему, чтобы не скучно было. Распоеется тот глухарь, на землю с дерева спорхнет, надуется весь, хвост трубой сделает, крылья колесом. Ходит и чертит ими по крепкому чарыму. Ходит, ходит, кренделя выделявая, в азарте забудется и запоет. Но страх свое брал. Запоет, а потом возьмет да и оборвет песню. Сторожкий он был: вслушивается, не скрипит ли снег под лапами зверя, не кроется ли он где-нибудь рядом? Выслушает, высмотрит все — порядок вроде бы, ветка не колыхнется. Так велик страх его был. Выходило и так, что сколько петь не начинал, а ни разу до конца не спел. Все боялся! Все обрывал свою песню. Голос у него в те времена, как дед мой сказывал, что у твоего соловья. Сильный, красивый! Засвистит — за десять верст слышно! Но из-за страха до конца так ни разу и не спел тот глухарь. Наверное, поэтому и жил один, никем не услышанный. Жил, жил одинешенек и от тоски тяжелой однажды долго плакал — от того и брови, дед сказывал, у него красными стали.

Вздумал он взлететь на дерево. Вспорхнул. Сидит, сверху на землю глядит, не так страшно. Осмелел совсем. Потэкал-потэкал — не страшно,

а потом как засвистит во всю мочь! Сильный и красивый свист его полетел по всей дикой тайге. Тогда и услышала его копылуха. Услыхала и пришла на свидание. А глухарь от радости-то совсем и осмелел. Да так старался, обрадовавшись, что перестарался и от собственного свиста не только оглох, но еще и голос сорвал. С тех пор и пошло: не песня у него, а так себе, тканье, скерканье, точенье. Сидит оглохший глухарь на дереве, поет, а сам себя не слышит. Но до сих пор кажется ему, что все еще поет он сильно и красиво. Копылухи слышат его только с близкого расстояния, но они читать письма у самцов своих научились. Грамотные у них самки, так можно сказать.

— Как читать? Какие письма? — выпалил Вовка.

— «Как, как»? — передразнил на мальчишеский лад Саватей. — Разве не говорил тебе, когда он бродит на токовище, ждет когда копылуху, весь снег лапами да крыльями испишет, исчирает, таких ли китайских вензелей нарисует, ни один в мире не прочтет. А вот придет она, посмотрит на его почеркушки, да и прочтет их. Поймет все, узнает. Узнает сильный или так себе глухаришко писал, молодой или старый шибко. С тех пор так и повелось: ходит копылуха вокруг токовика, молчит, приглядывается, не сразу решается выйти к нему. Не показывается, пока не разберется, что он за птица. Не говорит она ему и то, что левец-то он не ахти какой. Понимает, должно быть, что он, как и встарь, старается, а сам себя не слышит. Вот за эту странность глухарь на весь белый свет и прославился. Называть стали его глухарем. И на самом деле, так оно и есть: поет на деревьях, на снегу, знай, пишет. — Саватей закончил свою полузабытую сказку, глядя по-прежнему на вершины, на Вовку. Папироса погасла, бросил ее в ноздреватый снег.

— Ну что? — спросил он, освободившись от воспоминаний, — понравилась?

Не дожидаясь ответа, добавил: — Хватит нам с тобой сказки разводить, здесь своя сказка, свои чудеса. Пошли-ка искать лучше нашего.

Они встали. Сорвавшаяся с кедр шишка, словно подстреленная птица уткнулась в мелкий снег. «Тук-тук-тук», — резво застучал на соседнем дереве дятел. От этих стуков у Вовки душа замирает и ликует. Он суетливо озирается, глядит в сумрачный кедровник, пытается кого-либо увидеть в пухло-снежных накидках.

Саватей снова не спеша идет впереди по следу глухаря, который все так же настойчиво уходит вверх к последним редким листьям, в черничники.

Лесная грамота

Глухарь обходил среди выпирающих из снега темных оголенных камней, сторонился можжевельных заломов. След теперь пересекала совершенно не похожая на прежние следы мышей строчка из точек и тире. «Алтайская мышовка, похоже, прошла», — Саватей ткнул пальцем. Вовка впервые видел такой и удивился, что след ее походил на след крошечного кенгуру. «Кто это такой?» — спросил он. — «Редкий у нас зверек. Сам не знал бы, если один ученый не показал, он жил у меня,

приезжал из Алма-Аты. А мышовка так себе — мышка и мышка, и следки вон какие оставляет».

Встретился узкий след дрозда, след широких заячьих лап, похожий на сплошные восклицательные знаки. И вдруг кресты глухаря сплелись, перепутались, ничего не разобрать. По краям их ряд целый борозд и вовсе исчез куда-то.

— Так-так! — присел, кряхтя, около натопов Саватей, — отсюда он улетел. Поднялся почему-то. Внезапно... — говорил он, а сам смотрел на соседний склон.

Вовка, не дожидаясь, когда дед скажет: «А ну-ка, Вовка, посмотри вот там!» — сам ищет глазами, что могло спугнуть глухаря? От усердия пуше еще шмыгает носом. Шапку столкнул на затылок, запарился.

— Все ясно, дед! Лисьи лапы видишь? — показал он на собранные в кучу круглые отпечатки. — Метрах в семи таилась от него.

— А вот тут, — расшифровывал Вовка след, показывая на то место, где лиса поджидала глухаря, — собрав лапы в горсть, она прыгнула и шла прыжками.

— Догнать хотела, варнавка эдакая! — качая головой, говорил Саватей. — Видишь, какая жизнь у птицы. Опасность кругом! Три часа, не более идем следом. А у него уже со смертельной опасностью встреча была.

— Не удалось сцапать нашего глухаря! Молодец! Вовремя заметил! — ликовал, разгадав значение следов, Вовка. Он видел, что дед доволен им. Сам вроде бы все молчит, а глаза выдают: шурит он их улыбочиво, и оттого молодо они светятся. И Вовке еще веселее и радостнее...

«Бедовый мальчишка! Все на лету ловит, знает, что люблю его. Знает, что во всем как с равным. Он тоже любит своего деда, — размышлял Саватей, — во всем старается быть похожим. Может быть, поэтому и решил стать, как я, лесником». — Саватей доволен. Чтобы не спугнуть кого-нибудь и глухаря, который уже близко где-то, он тихо кашляет в кулак.

— Видишь, на шише черничники? — показал Саватей. — Там и должен быть глухарь.

Одолев уклон, они вскоре снова наткнулись на знакомый след. Переглянулись: Саватей поднес к губам палец, что означало — должен быть близко, разговаривать нельзя, разговоры напугают только. Шли по-охотничьи, осторожно, чтобы первыми заметить. Вовка отступал от следа, срывал попутно заледевшие, голубые от налета ягоды жимолости. Пихал их в рот. Ягоды стучали, как ледяные, на зубах. Саватей, глядя на внука, глотал обильную слюну, представляя кислую горечь еще не совсем убитых морозом плодов. Сам тоже изредка нагибался, брал почти из снега щепоть-другую похожих на глухаринные глаза ягод черники. Подмороженные, они сладковато таяли во рту, побуждая желание еще и еще брать.

Поднявшееся над горами солнце подбедало снег на камнях, на коре лиственников. Отяжелев, снежные комья клубками падали с их серых ветвей, с темных лап кедра. Нет-нет, и тукнут сорвавшиеся шишки, гулко ударившись о подмерзшую землю.

— Белка! — поднимая голову, остановился Саватей.

— Откуда ты узнал? — обегая глазами кедр, спросил Вовка.

— Разве не видишь? Шишка объединенная упала.— Саватей поднял и подал ее Вовке.

— Видишь,— показал он,— белка первым делом чешуйки срезает. Из шишки получается «свечка» и вся в дырочках, как в сотах. Если кедровка шелушит, шишка как попало растребушенная. Кедровка орешки только выбирает, чешую не сдирает. Другой раз, кажется, шишка целая, а вся до зернышка обобрана. Щур с клестом орехи из-под ее чешуй выбирают. Те ли еще хитрюги, тонко работают! А если медведь нашел, тот целиком жует. Но тоже умудряется орехи жевать, а все лишнее старается отплевывать. Зато если где поднавалит орехами, колючая пирамида получается. Не спутаешь. И смех и грех с этим медведем,— смеется глазами Саватей.— А вот глухарь, как ты уже сам видел, выдергивает орешки, шишка остается целехонькой с виду. Если собрать шишки, поеденные, поклеванные зверьками и птицами, интересная штука получается. Каждый лесной человек знать это должен. Иначе как в лесу? Особенно таежному леснику.— Вовка с чувством неловкости за то, что не обратил на это внимание, наморщил лоб и шел молча, искал шишки, чтобы теперь самому, как надо, раскусить дедовскую лесную грамоту.

Конец тропы

Шли медленно, воздух потеплел. Расстегнув куртки и сдвинув к затылку шапки со взмокших лбов, они то и дело останавливались, чтобы осмотреться. Лес у вершин заметно поредел. Кедровые группы росли только по солнечным склонам, в низинах и среди скалистых взлобков. Вокруг старых лиственниц с обломанными вершинами, стоящих поодиночке. На свежем снегу золотилась опавшая хвоя, словно осень сама постригла их, бросив к основанию стволов. У их шершавых стволов сплошняком топорщился ворс полузасыпанных снегом кустов черники.

— Ну вот и пришли. Глядеть будем,— сбиваясь в дыхании и давясь словами, выговорил Саватей. Он оперся на серый потрепанный ветром ствол лиственницы, снял фуражку. Вовка молча топтался около деда, наслаждавшегося свежестью горного воздуха, и между тем жадно обегал глазами видневшиеся черничные прогалины. Глухаря нигде не было.

Здесь был свой особый мир. В поржавевших от холодов лишайниках, мхах темными углами торчали камни. Среди них обрывками толстенных змей, крученые, витые, темнели полуистлевшие стволы кедров и лиственниц. Некоторые причудливо вылизаны верховыми ветрами. Тут же, омытый вековыми дождями сухостой, отбеленный солнцем до костяной белизны. И всюду на трухлявых валежниках около камней густыми шапками и лентами густел черничник. Выше последних деревьев по россыпям, припорошенным снегом, играли жаркими красно-бордовыми красками округлые листья бадана. И только у самого гребня, ровно и холодно покрывая склоны и кручи, бежали ослепительные снега. Лишь кое-где мрачно чернели отвесные бока диких, неприступных и вечно молчаливых скал. Встав, они закрывали полнеба.

— Красс-таа! — подражая голосом своему деду, нараспев сказал Вовка.

Широким фиолетовым морем тайга разлилась по всем горам. Кто-кто, а старый лесник знал, сколько в ней всего такого, о чем многие люди и не подозревали.

— Во-он те,— показывал Вовка на одиночные лиственнички и кедрки,— на уставших путников ходят. Стоят и отдыхают, как и мы с тобой, деда. А вон те, что согнулись, на зверей, готовых к прыжку, ходят.— Вовка покрутился на месте, радуясь открывшимся далям. Он улыбался глазами, шмыгал довольно носом и ерошил путаные на макушке волосы.

— Хочешь тайну тебе скажу, деда? Только тебе! Ты пока никому из наших не говори.

— Ну что у тебя там, выкладывай,— доверчиво глянул Саватей на Вовку.

— Я, деда, давно решил, как только закончу школу, обязательно поступлю в техникум лесной. Потом лесником, как ты, буду. Также стану беречь лес и зверей, птиц разных от браконьеров. А еще я хочу изучать жизнь всего леса, тайны его раскрывать научно.

Саватей поднял козырьки бровей. Серые с лихорадочным блеском глаза перевел на внука. А у Вовки горели щеки не то от подъема, не то от восторга, а может, от волнения, которое охватило его от короткого, но важного разговора.

— Правильно, Вовка! Все правильно, внучок.— Саватей похлопал ласково его по щеке.— Охранять, брат ты мой, лес должен тот, кто любит и понимает его.— Лесник снова восторженно, с удовлетворением глядел на внука и счастливо молчал, лишь переминался с ноги на ногу. Потом, что-то прикинув, свел к переносице брови. Взгляд его налился пронизательностью, которой Вовка боялся всегда, и вместе с тем уважал его за такой взгляд. Доверялся ему всегда.

— Рад буду очень, если станешь на мое место. Некоторые выгоду усматривают в нашем деле,— он огляделся, словно приценивая, стоит ли того эта самая природа, чтобы посвятить себя службе за сохранение ее красоты и чистоты. Взгляд его вдруг остановился.

— Э-э! Брат ты мой, мы здесь не одни! Смотри! — показал он на снег, исполосованный распластанными синеватыми тенями одиночных деревьев. На снегу отчетливо печатались вмятины, словно обметанные по краям валиками взрыхленного снега, уходили тоже к черничникам.

— Медведи, что ли, деда?

У Саватея внутри что-то похолодело, отхлынуло, чувство неловкости и расслабляющего гнева коснулось его нутра. Такие же следы большие и поменьше были у его вчерашних знакомых — Игоря Николаевича и сына его, Олега. Предчувствуя явно неладное, Саватей, не говоря ни слова, пошел следами. Вовка приумолк, догадываясь, что дед озадачен, значит, что-то случилось и поэтому сейчас деду не до него. Он тоже молча шел рядом. Это были рубчатые отпечатки сапог, которые прямым веди к торчащей на бугре срезанной сверху скале, заросшей почерневшим можжевельником. Снег у камня обтопан. И тут же серые с черными отметинами у вершин перья. Они, как крупные насекомые, шевелили своими лапами — пуховыми закрайками, и, как казалось, скорбно бились и сидились слететь с холодных колючих ветвей кустарника. Но не смогли

и теперь молча просили о помощи. Тут же синела брошенная упаковка патронов мелкокалиберной винтовки.

— Что это, деда? — тревожно спросил Вовка, глядя в сухие глаза Саватея.

— Неужели они? — белея лицом, раздув ноздри, тихо говорил лесник, — так по-предательски, тихо и подло...

— А ну, пойдем! — бросил он Вовке, и не оборачиваясь, широко зашагал вниз, к Светлому ключу.

Молча, скорым шагом, спускались они напрямик к месту стоянки, не теряя следов с крупными рубчатыми протекторами, на которые смотрели с неохотой и ненавистью. Следы, как и ожидал Саватей, привели к вчерашней стоянке. Вокруг осевшего пепелища валялись небрежно искореженные открытые консервные банки, несколько кусков хлеба, надкушенных ломтиков колбасы. У валежины, где вчера сидел лесник, поблескивала коньячная бутылка.

Глядя на место стоянки, Саватей до мелочей вспомнил лицо Игоря Николаевича, с шиком трянувшего стопку, видел и слышал голос его и губы, с которых срывалось слово «отец». Вспомнил, как улыбочиво приглашал составить ему компанию. И до отвращения перед ним вставало лицо с виду добродушное с пухлыми веками смеющихся глаз. Все, что было связано с ним, этим человеком. Следы их пребывания казались теперь и омерзительными, и бездушными, и непримиримо чужими.

— Дед, смотри! — вскрикнул почти Вовка: на тонком, остро заструганном суку кедровой ветки, над которым вчера сопел, усердствуя от безделья, жующий резинку Олег, была насажена голова глухаря. В светлом, чуть горбатым клюве, припачканном свежим черничным соком, белел окурок фирменной сигареты. В распахнутых, блеклых уже глазах светлел первый снег, прикрывший землю и лес. В них тускло лучился свет далеких вершин, к которым глухарь ходил своею тропкою каждый год.

— Вот и все! — тяжело вздохнул Саватей. Он украдкой глянул в покрасневшие глаза Вовки. — А какое с виду благородство, воспитанность, понимание. Негодяи! Вот тебе и почитаемые люди! Интеллигенты! Сам я, Вовка, во всем виноват. Сам разболтал. Никто меня за язык не тянул. Я же сказал, где глухарь наш кормится.

На его сухой, ставшей землистой коже лица заходили тугие комки желваков. Саватей и сам не замечал, как в грубой ладони безжалостно мят хрустящую пачку фирменных сигарет, подаренных Игорем Николаевичем. Раскрыв машинально ладонь, словно обнаружив ядовитого паука, швырнул блестящий комок в серую золу угасшего кострища.

— Нет, внучок, не пойду на отдых! Сколько смогу, столько и буду работать, чтобы таким вот хапугам «отдых» портить.

Слово «отдых» он произнес с особой интонацией, выражающей крайнее презрение.

— Я тоже, деда, с тобой, — сквозь слезы выдавил из себя Вовка, обняв за локоть растерянного, крайне расстроенного деда, и, взяв в свою маленькую руку его жесткую мозолистую ладонь, крепко как мог сжал.

РАССКАЗЫ

В ВАГОНЕ

Перед отъездом из Ялты мне принесли прелестного оперенного птенца маленькой совки-сплюшки. Сгорбленный и перепуганный, он глуповато озирался и покачивался, умильно моргал ярко-желтыми выразительными глазами. Они выражали удивление и неподдельное недоумение. Поэтому казалось, что чудесное создание только и могло, что удивляться всему вокруг. Откровенно говоря, если это было действительно так, то ему можно было искренне позавидовать — удивляться всему вокруг дано, к сожалению, очень немногим из нас. Мы так равнодушны к прекрасному в жизни, что утратили способность зрения воспринимать каждое чудо по достоинству. Совенок сам по себе был великим чудом природы. Он не только забавлял своими ужимками, но и подкупал особым умением видеть по-своему. Естественно я обрадовался столь необычному подарку и решил увезти его с собой в Казахстан.

Ехал я поездом. У меня был чемоданчик, в котором натолканы личные вещи, и еще небольшая обвязанная марлей коробка из-под обуви, в которой сидел совенок. Поезд следовал на Москву, поэтому вагон был набит людьми, возвращающимися с курортов Крыма. Отдыхающие были самых разных национальностей и возраста.

В купе было тихо, и все мы первое время после посадки сидели молча, поглядывая друг на друга. В разговор никто не вступал: то ли от усталости дорожной и впечатлений, то ли от того, что было душновато, так как в окно бросалось знойное июльское солнце. Мимо проплывали разморенные перелески, картинные дубравы, ухоженные поля, чистенькие поселки, хутора... знакомая всем щедрая земля Украины.

Напротив, у прохода, положив сухие жилистые руки на темный суконный бешмет, сидел пожилой кавказец. Несмотря на зной и духоту, он не снимал каракулевой шапки. Прикрыв глаза, он безучастно смотрел за окно, дергая седым острым усом. Иногда он нагибался вперед и что-то говорил, видимо, приятелю — старику казаху. Коричневое от загара лицо с жидкой прозрачной бородкой, клином покоящейся на коричневой вельветовой куртке, делали его похожим на божественного ламу, сосредоточенного в себе. Напротив меня, за столиком, уткнувшись в расстрепанную книжку, сидел лет сорока мужчина. Жгучие черные глаза, широкие дуги бровей и сочные красноватые губы делали лицо его запоминающимся. Читая, он шевелил губами, доставал платок и, расстегнув ворот кремовой рубашки, тер шею. За окном плыли поля, разделенные лесополосами, мелкие хутора. Все это отражалось в водянистых глазах рыжего, как подсолнух, тощего, совсем обгоревшего от южного солнца пассажира. Он то и дело обращался к проходящим: «Извините, нет ли

у вас картишек? В подкидного бы перекинуться». Рядом, подпирая его потным круглым плечом, вывалив на колени рыхлый раздвоенный ошкученный истертых джинсов живот, сидел другой. Он шумел газетой, смачно сморкался в платок и стирал с лица бесконечно струящийся пот, пыхтел, раздувая гладко выбритые свекольные щеки. Маленькие, спрятанные глубоко в наплывшие веки глаза говорили о покладистости и скрытой решительности. На полках над нами спали женщины. Обе в ярких платьях, разморенные, пышнотелые.

Вагонная духота, беспрестанное мельканье столбов, связанных пучками проводов, покачивание и потрясывание утомляло, и оттого глаза моих соседей по купе, кроме читающих, светились тускло и пусто.

Я вспомнил вдруг, что мой соенок с утра голоден. «Самый раз покормить»,— решил я. Извлек свежий еще кусочек мяса, купленный для него специально в вагоне-ресторане. Вспомнилось лицо и растерянный взгляд буфетчицы, когда обратился к ней со странной просьбой отпустить кусочек мяса. «Курицу пожалуйста, кусочек не могу»,— ответила она. Но когда я показал ей совенка, она восхищенно охнула, исчезла за дверью и вскоре принесла курятины и напрочь отказалась от денег.— «Чего уж с него взять. Только за глазенки его, чтобы смотреть, платить надо».— Птенца из коробки я достал и посадил перед собой на краешек столика. Оказавшись за обжитой и привычной для него коробкой, соенок сощурил глаза, прижал к телу перья и тотчас обратился в тоненький столбик. Через оставшуюся прорезь век он пристально смотрел на людей, как сонный медленно крутил головой, на которой торчали острые, как вбитые колышки, «рожки».

— Это вы такое што везете? — оторвав от книжки глаза, спросил меня пухлогубый сосед. Но не успел я еще представить своего питомца, как он компетентно, подняв высоко широкие брови, воскликнул:

— О! Это же софка. Вы знаете — и он направил на меня удивленный взгляд, будто только что увидел меня, внезапно появившегося, да еще с птицей,— это же, я скажу абсолютно точно, наша софка!

Не скрывая удивления, он продолжал смотреть то на меня, то на совенка, желая разобраться, как же так получилось — его птица вдруг у меня — постороннего — оказалась.

— Почему вы решили, что соенок именно ваш? — спросил я.

— Очень просто даже. Понимаете ли, она у нас дома жила, и мы, что характерно, спасли ее от смерти. Но...

— Но, похоже, мы в разных городах живем,— не соглашаюсь с ним.

— Ну и что же! — полностью убежденный в своей правоте парировал он.— Для такой редкой и чудесной птички расстояние не помеха. Она же, представляете, может недурно летать. Главное,— не унимался он,— я узнал ее сразу, вот что характерно! — и он опять вскинул брови, убежденный в правоте своих слов.

— Из Ялты везу. А вы где живете? — пытаюсь поставить перед фактом истины.

— Ну и что, что под Харьковом,— не сдавался он.

Он окинул взглядом лица соседей, нуждаясь в поддержке. Но, не увидев ничего такого, он вдруг встал и отчаянно стал трясти спящую над нами женщину:

— Софа, проснись! Посмотри только: этот молодой товарищ везет нашу с тобой софку.

Разморенная духотой и сном, расплывшая слегка жена его повернулась, открыла припухшие от усталости глаза, бархатно-темные и чуть печальные, восхитив их красотой пассажиров. Она помолчала и недовольно пробормотала:

— Чего ты трясешь меня, как сумасшедший? Фима? Думала, землетрясение случилось или поезд сошел с рельс, а ты мне про какую-то софку. Какую софку? — повысив чуть голос, возмутилась она, — чего ты вечно выдумываешь?

— Ты посмотри, дорогая! — Фима навис над столиком, глядя в изумленное и испуганное «личико» совенка, шумно дыша, говорил, вытирая пот с шеи под воротником, грудь:

— Что характерно, так это то, что я сразу узнал ее. Такие же ушки, глазки. Все! Да, это она — наша софка!

Не прислушиваясь к возражениям с моей стороны, а я говорил, что это действительно совка, но не та, что у них сосед мой с мальчишеским жаром напирал.

— Понимаете ли, этим летом, — обращался он уже ко всем соседям по купе, — Софа! — обратился он к жене, — скажи, как мы тот раз маму, то есть нашу тещу, — повернулся он ко мне и, подмигнув, показал на другую полку, — перепугали серьезно. А это случилось две или три недели назад. Так вот, — говорил он мне. — Слушайте сюда. Так вот, если вы меня слушаете, — при этих словах дернул меня за локоть. — Так вот приезжаем с женой моей, вот она — Софа, с дачи. — Он трясет ее руку снова, — ну что ты молчишь, Софа? Как воды в рот набрала. Скажи же человеку, как все это было. Ну ладно, — остановил он ее, — я сам: так вот приезжаем с дачи, а мы, что характерно, вдвоем с Софой живем. Дети у нас взрослые. Один в институте медицинском учится, дочь — в торговом, тоже учится. Ну а мы в тот раз поздно домой вернулись.

Он вдруг встал и с такой же пристрастностью уже тряс, толкая в спину тещу:

— Мария Николаевна! Вам сейчас покажу виновицу того беспокойного вечера! Софку смотреть покажу!

— Фима! Разве так можно: пожилой человек отдыхает. А ты? Ну прямо сумасшедший какой-то! — Жена его с упреком посмотрела на возбужденного мужа, подняв тонкие брови и недовольно уставив на него прелестные глаза.

— Нет, ты странная какая, я же не просто так... — оправдывался он.

— Ну, что тебе? — спросила повернувшаяся Мария Николаевна.

— Вот она, смотрите. — Софка. Эта — та самая, из-за которой мы огорчение большое причинили вам.

Теща его приоткрыла лениво глаза, безразлично глянула на совенка, из-за которого столько шума издала зять, сверкнув густым рядом золотых зубов, зевая, обвела всех отсутствующим взглядом, отвернулась досыпать.

— Так вот, — обратился он ко мне, — слушайте сюда: приехали мы в тот вечер домой, а эта самая софка так же точно сидит, понимаете ли, на нашем шкафу.

— Нет же, Фима,— перебила его жена,— я же крикнула тебя, чтобы ты шел и удивился со мной, когда я ее первая увидела.

— И что характерно,— продолжал он, трогая мой рукав,— представляете, когда я подошел к этой самой софке и увидел ее так странно прикрытые глаза — раньше я никогда такого не видел — и эти рожки. Вы смотрите! Видите же сами. Она и есть, именно. Правда, Софа?

— Фима, ну что ты говоришь без умолку, помолчи и успокойся. Мама спит, и человека, наверное, утомил.

Она сделала недовольную гримасу:

— Вы понимаете,— мягким голосом начала она,— я Фиме и говорю: «Фима, иди и посмотри немедленно, что у нас такое сидит». А птичка смотрит на меня умно, как человек. Сама как не живая. «Фима,— говорю тогда мужу,— это же маленькая ещче и какая-то странная очень кошечка. Послушай,— говорю,— как она зубами клацает. Наверное, продрогла?» А муж: «Что ты, Софа? — Спорит он со мной,— разве у кошечки бывает нос такой да ещчо крылышки? Это же маленькая сова — детеныш. Видно, подкидыш для нас. Давай,— говорит он мне,— немедленно позвоним нашему общему другу». Он, понимаете ли,— продолжает она, обмахиваясь от духоты пышной ручкой,— есть большой любитель разных животных. У него дома кенары, попугайчики. Общчем странный, но очень приятный, скажу вам, Фимин товарищ.

— Да, да. Это прекрасный человек! А вот жена от него ушла, понимаете ли.

— Фима! Зачем ты об этом. Ушла и ушла, обязательно говорить. Он ведь сам ее выгнал.

— Подожди, Софа,— не выдержал Фима,— я сам.— Он ласково коснулся ее плеча.— Я все по порядку: звоню, понимаете, ли, приятелю, и, что характерно, мы вместе с мамочкой объясняем в трубку. Но он почему-то долго не хотел понять, чего мы хотим от него в столь поздний час. Потом, наконец, в трубку говорит нам, что это у нас никто другой, а сова. Он сказал, если она маленькая, а конкретнее — с чайный стакан, то это никто иной, а софка. Я кричу Софе, чтобы она немедленно принесла с кухни стакан. И что характерно, мы смогли затолкать в него птичку. Снова я звоню и сообщаю, что да, сумел ее затолкать в чайный стакан. Приятель почему-то рассмеялся и говорит, что уверен — у нас софка. Естественно,— Фима вытирает платком разгоряченное лицо,— мы успокоились, когда узнали — кто она такая. Когда имя ее узнали.

Софа говорит тогда: «Фима, посмотри, она же больная: сидит на одном месте, не кушает, не летает». Это нас очень забеспокоило.

В разговор тут же включается Софа:

— Я мужу говорю: а вдруг она возьмет и умрет у нас? Надо что-то немедленно делать. Чего ты стоишь как ненормальный? И, понимаете, в это время позвонила мама,— Софа показала глазами на спящую Марию Николаевну.— А мы от нее с дачи приехали. Муж уже это сказал вам, причем сразу... Фима тогда забирает у меня трубку и как сумасшедший кричит: — Мария Николаевна! У нас, оказывается, очень болеет Софка! — Лицо Софы делается ласковым. Она смеется, щуря красивые глаза: «Фима,— продолжает она,— ненормальный мужчина опять: мол, что-то делать надо». — И можете себе представить, нет, это совершенно невоз-

можно вообразить: мама, естественно, все бросает, берет такси и в полночь к нам. Мамочка бедная испугалась и поняла, что больная я и могу умереть даже.

Фима влюбленно наблюдает за женой и, улыбаясь, в такт ее словам кивает головой, продолжая вытирать вспотевшую шею.

— И, понимаете, мамочка приехала. В полночь, она же пожилой человек. И с порога кричит: — «Боже мой! Софочка! Что такое ешче за беда случилась?» — Вы знаете, — лицо Софы становится серьезным, — мы потом кое-как успокоили нашу мамочку. Мы с Фимой ей сказали, что к нам залетела такая чудная софка. И, представляете, мамочке сразу же не понравилось, что она в наш дом залетела. — «Это, — говорит, — не к добру — сова в дом. Давайте-ка, — говорит, — сама посмотрю. Ее надо немедленно изловить и на улицу». С этими разговорами мамочка прошла скóрее в комнату. И что вы думаете? Даже в самую светлую голову не придет такое: эта негодная птица улетела, — и Софа тычет в сторону съжившегося несчастного совенка пальцем, украшенным дутым золотым кольцом с крупным рубином, — эта негодная птица исчезла!

— Совершенно верно все, что рассказала Софа, — тербит меня за плечо Фима. — Она, что характерно, исчезла, как испарилась. В форточку, наверное. И понимаете, так все и вышло, как сказала моя теща: на работе у меня неприятность за неприятностью.

— Э-э, дорогой! — скрипуче говорил появившийся в купе старец в совершенно новом сером костюме. В глаза бросалась необычно яркая кофейно-коричневая от загара кожа лица и рук. На голове — тоже новенькая в шелковистых вензелях тубетейка. — Я слышал вас, пришел мал мало сказать: у нас в Узбекистане, в Иране тоже, всегда говорят, когда голос такой «баюла» слышат, — покачал он сухой ладонью над совенком — «Хуш хабар даханотом ба кант». Это значит, будет хороший новость, если голос птишка показался хороший. По-русски так: у тебя во рту сахар. Если голос плохой показался, значит, плохо будет. Совсем плохо. Полшается так — как сам хотел, так и будет. — Старец подтянул брюки на костлявых коленях и сел около кавказца. Появились еще скучающие соседи. В купе стало тесно.

— Такой баюла, — пальцем ткнул узбек в совенка, — у нас полный сады есть. О! — причмокнул он, — какой сады у нас! Шептала! Груша! Гранат! Виноград! Дыня! Все есть у нас! Все пожалста! Прекрасно очень! Если арык, вода есть — все есть! А этот маленький птишка каждый нош плашит, как балашка: пу-пу-пу. Што этот птишка? Узбекистон! Вах — красивый! — он воздел перед нами коричневый большой палец и прищелкнул языком. — Кто не веришь, приезжай. Тогда сам шибко скажешь: прав или нет старый Хаким из Намангана.

— Тыфу, ты! Да это же всего-навсего совенки! Не сразу и узнал, — словно спохватился крупнотелый со свекольными щеками сосед, отложив газету.

— Зачем вин тебе? — брезгливо переспросил он.

— Домой везу.

— А ты кто?

— Орнитолог!

— Врач, что ли?

— Да не-ет, это в экспедициях которые. Они еще в передаче «В мире животных» часто выступают,— пояснил за меня Фима, все это время усиленно вытирающий с покрасневшей шеи обильный пот. Духота его явно изводила.

— У нас на Енисее, под Красноярском живу,— говорил рыжий сосед, который искал партнера «в картишки перекинуться», подсев к столу — ближе к испуганному совенку,— там у нас их навалом. Мешок собирать можно. У нас их филинами называют. Этот видно совсем маленький — совенок еще.

Я было хотел возразить, но столь же самоуверенно он выражал свое презрение к совенку:

— Разве это птица? Так себе,— махнул вяло рукой.— Вот, глухарь, тетерев, рябчик — другое, значит, дело. У нас их в тайге тоже навалом. А охота! — покачал он головой, делая вид, что удивляется искренне.— Из вас,— обвел глазами сидящих,— никто глухаря не скрадывал? Даже никто и в глаза-то настоящего не видел. Уверен!

— А что, есть настоящие и есть ненастоящие? — спросил подавленно и виновато Фима.

— Ты вот говоришь, значит, а сам-то видел? — навалился на него картежник.

— Нет, конечно, но мне, видит бог, незачем это. Я же не охотник.

— Ну, так то-то! — сибиряк самодовольно, широко расставил локти и, оперевшись на острые колени, продолжал:

— Зимой у нас соболь. Соболуюем, значит. Медведя в берлоге берем. Вот это настоящая охота! А это что? — пренебрежительно глянул он на совенка, потом таким же взглядом окинул меня.— У нас они во! — он энергично вздернул костлявую рыжую руку выше головы.— А на таких, как этот, внимания не обращают. Кому он нужен? Толку с него? Может, вашим этим самым-ларнигологам он интересен,— уставился он на меня.— И то только потому, что деньги за них вам платят.— А так,— махнул он рукой,— они никому не нужны.

Рыжий было еще что-то хотел сказать об охотничьих доблестях, как в это время полнотелый сосед его, забывший про газету, положил ему руку на плечо и вкрадчивым голосом почти зашел:

— Не-ет! Друг мой любезный. Та это ж ни хфилин.— Он ласково теперь посмотрел на оцепеневшего виновника разгоревшихся споров, разговоров и, не соглашаясь с самоуверенным сибиряком, снова зашел:

— В наз, пид Харквивим во це самую птыцю зиренькой кликают. Така ж вина махонька! В наз их усегда литом гарно. По ночам они усе свищуть и свищуть... Склыкаются воны як только каштаны у цвете стоять, вишни цветуть. О! Вы б бачили тилько, як в наз каштаны цветуть,— развел он полные руки,— яка ж это красота! А они — зирьки усе попрлет нички знай сибє пэрэкликаються. У хуторов доже их много. А помните Тараса Шевченко? — и, дергая подбородком, он вполголоса пропел:

— Сичи в гаю пэрэкликались,
та ясьень раз у раз скрипив.

Потом снова заговорил своим мягким грудным голосом о садах, о земле Украины, настроив нас на лирический лад. Мне же ярко представились майские каштаны, дубовые рощи, тихие реки, таящиеся в густых дубравах. И виделись хутора с тихими голубеющими по опушкам хатами, широкие поля, окруженные пышными яблоневыми садами.

— Но я, граждане пассажиры,— продолжал он, будто собираясь сделать официальное сообщение,— по сердцу доложу: мы усегда их слушаем, а самих птыц, вот что поразительно, редко кто очами своими бачив. Когда я бул мальчонкой ще, так находив их гнездо. Тогда и бачив. С детства их кохаю. Красота ж яка!

— Ну, мы как на собрании, что характерно,— оживился вновь муж Софы.— Почти все у нас высказались об этом замечательном существе, только вы,— обратился он неожиданно к сидевшему у окна престарелому казаку.— У вас там в Казахстане тоже ведь знают их? Вы, товарищичи, извините, что я такой разговор завел. Но поймите правильно, стало мне, что очень характерно, занимательно. Сколько людей, столько и мнений,— говорил Фима и вопросительно смотрел на жителя Казахстана.

— Признаться, я тоже думал, сказать надо. Мы этот птишка тоже мал-мал знаем. Скажу Нургазы завут.— Он поправил свою шляпу коричневого вельвета, провел ладонью по иссохшему от солнца лицу.— Нургазы Иманович. Он правильно сказал,— показал он глазами на Фиму,— из Казахстана я. Как узнал? — Нургазы Иманович улыбается, теребит привычно жидкие, как струи дыма, усы и бороду.

— Я бывал, и не раз. Правда, Софа? — несколько возгордившись, отвечал Фима.

— Оку! По-нашему эта птишка звать. Маленький когда был я, отец мой, он тоже шабан был, рассказал один старинный история.

— Охотно послушаем! — выразил наше общее мнение Фима и шумно сел, достав платок, чтобы обтереть запотевшее лицо.

Нургазы Иманович привычно, словно в степной юрте у круглого низкого стола, подтянул под себя одну ногу, придерживая ее рукой, откашлялся и снова ладонью как бы ощупал лицо, словно освежая память, отмечая ненужное и лишнее.

— Отец тогда давно рассказывал: в дикой степь казахский жили два дос. Друг по-нашему. Вместе баран пасли. Один дос все дома дошери был. Шесть штук их был. Другой только джигиты. Шесть тоже. Один дос, который все дош был, родил последний маленький балашка. Малшик. Тогда другой — кызымка маленький родил. Потом полушился когда балашка этот вырос, он стал крепко любить друг дружку. Однажды, когда самый темный нош был, они оба убежал из свой аул. По наш обышай, отец калым за свой дош полушит должен. А кызымка сбежал. Сам он шибко бедный был. Борода давно белый — аксакал он. Шибко горевал он.— Нургазы Иманович обтер уголки губ, сильнее подтянул ногу. Качнулся, усаживаясь поудобнее, и продолжал: — Шибко рассердился аксакал на свой дошка. Проклинал, ругал шибко. Поехали тогда джигиты догонять их. Вернуть надо!

— Погоня! — не вытерпел Фима.

— Да! — кивнул рассказчик.— Этот самый бежал долго, однако догнать не мог. Этот кызымка и джигит хитрый, они в оку, вот такой тошно сова обратились. В лес зашел, сел на карагаш, спрятался. Глаз не видно

его, и сам не видит нишего. Погоня искал. Нет, не нашел, уехал в аул свой. Ношь когда темный пришел, оку видят тогда хорошо совсем. Стал летать. Лето, потом зима прошел. Сиова лето. Они тогда только родной аул прилетел. Стал кришать. Страшно! Люди шибко боялся их. Все казахи их не любят. Гнать стали. «Они — дети шайтана!» — говорят. Они знал этот проклятый птишка. Так говорил отец мой — шабан, я тоже — шабан. Это старый казахский легенда сам рассказывал.

Он помолчал, собираясь с мыслями. Я же смотрел на своего совенка и соглашался с тем, что птица эта странная, как вообще совы, и что в легенде подмечены основные поведенческие и внешние черты этих оригинальных птиц. И правда, они прячут днем свои глаза, чтобы их не замечали другие птицы, чтобы не слепил яркий свет.

— Да-а! — покачиваясь, продолжал рассказчик, — наш шабанский степь шибко широкий. Самый быстрый тулпар скакать будет, совсем устанет. Беркут, если лететь будет, устанет тоже. Сайгак у нас много. Беркутчи есть, охота тоже хороший есть. Приезжай кто хошет — кунак будешь. Кмыз пьем, бесбармак кушайт будем...

— Э! Дорогой! — вытянув руку в сторону степняка, чтобы остановить его как рассказчика. — Я тоже сказать буду, — оживился вдруг сидящий кавказец. — Сам все понимаете: на Кауказ живу! — он демонстративно провел большим пальцем по жестким остроконечным усам, давно тронутым инеем седины.

— Мой приятель — Нургазы, — дружелюбно сослался он на пожилого казаха, — правильно говорил — хорошо быть кунак. У нас на Кауказ самый сердешный чэловэк. Мы тоже к сэбэ на Кауказ зовем. Какие горы! Красивый, гордый народ! Приезжай хочэт кто, самый хороший кунак будэт. Вино есть! Барашка есть! Надо будэт сердцэ подарить подарым! А этот малэнький самый э сплушкэ-э, она природный. Она очень хороший! Сам малэнький, а гордый, недоступный, как твердый кауказский скала. Мы когда говорим красивый недоступный — очень это лубым. За эти слова стоит как это-э? Непостижимый! — Он поднял тощий палец, придавая этим жестом особое значение сказанному слову «Непостижимый». — Это — э сплушкэ-э, как дикий горянка! Душа его, как наша царица Тамарь! Толко-э за этэ мы очэнь лубим этот самый э, сплушкэ-э! — Он сдвинул к затылку каракулеву ю папаху, вытер платком вспотевший бритый лоб и, аккуратно сложив платок вчетверо, затолкал в карман бешмета.

— Нэ об этом я хотэль говорит. Я говорит хотэль о главный, как я на это смотрэль. Всэ вот, — он обвел рукой нас и показал на себя — совсем разныэ чэловэки. Всэ живем один страна, хороший государства. Мы всэ сэль когда на вагон, то дольго мольчаль. Теперь из-за этот малэнький-э сплушкэ-э всэ мы сталь знакомый мал-мал. Знаэм кто гидэ живэт, какой его ей родинэ. Это э корошо! Как это на русский язык сказать: — «Горэ-э с горэ не сходэтся, чэловек с чэловэк сходэтся». Так? Правильно? — обратился он ко всем.

— Голимая правда! — искренне подхватил сибиряк.

— Усе гарно! — встрепенулся автор цветущих каштанов.

— Друзья-э! Слушай мой слова, — этак сказаль мой сэрцэ-э. Надо писать наш адрес дома. В жизни все есть мэсто. Я нэ приеду, если, мой

сын, внук придет. Это корошо, когда ест гордость у человек, когда ест дружба у этот человек.

Он достал снова платок, вытер бритую голову. В купе засуетились, доставая ручки, записные книжки, чтобы обменяться адресами...

— Пиши мой адрес, — тыкнул пальцем кавказец.

— Мой пиши! — поддержал старый аксакал.

— Мой, мой... — слышались слова, над листком бумаги склонились сосредоточенные лица, исполненные открытой доброты.

ВЕТРЫ НАД УЯЛЫ

Рыжая тощая лошаденка, медленно переставляя ноги, тянула по разбитому пыльному проселку телегу, в которой мы с Нурахметом едем с самого утра. Сейчас уже солнце убавило зной. Мы лежим на свежей разморенной пахучей траве, которую возница накопил у мостика через небольшую речку Кандысу, протекающую мимо небольшого районного центра Акжар, расположенного в холмистой местности между горами небольшого хребта Монрак и мощным Тарбагатаем. Дорога тянется иссушенной равниной Зайсанской котловины — удивительной древней земли, где она, плавно поднимаясь, подступает к своим южным границам — каменистым округлым сопкам тарбагатайских гор.

Степной ветерок взметывал из-под копыт и шатких колес белесую, почти невесомую, пыль. Скудная однообразная дорога утомила: Нурахмет привалился к решетчатому боку телеги и, прикрыв глаза, тянул понятную ему только мелодию. Ему за семьдесят, но на его худом лице ни единой морщинки, и это, естественно, придавало моему старому знакомому определенную молодость. И только сухая, как застаревший пергамент, кожа, словно поддымленная степным солнцем, обтягивающая туго скулы, да старчески тревожный взгляд, выдавали его истинный возраст. У Нурахмета жидкий клинышек бороды: сквозь нее хорошо просматривается покрытый загаром подбородок. Поэтому борода его выглядела приклеенной, а сам Нурахмет будто собирался играть молодого старика.

Я тоже привалился на свежее сено и, испытывая надоевшую тряску, смотрел на расстелившуюся ширь, залитую солнцем, без уголка тени. Июньский зной высушил землю местами до красноты. Земля казалась омертвевшей, уставшей от света и тишины.

И если бы не тягучая мелодия, которую тянул Нурахмет, я бы подумал, что он дремлет, спрятав в набрякших веках угли задумчивых глаз. И лишь время от времени в прорезях век внезапно вспыхивал затаенный, сторожкий огонь. И опять лилась бесконечная мелодия. Я слушал, и виделась мне эти просторы в ином измерении, в прошлом, когда здесь кочевали его древние предки. На лице аксакала внимание мое привлекала тонкая голубая жилка на впалом желтом виске. Она ритмично билась, оживляя его недвижимое лицо. Нурахмет в сером пиджаке, таких же брюках, заправленных в мягкие голенища сапог, всунутых в остроносые калоши. По их краям краснела байковая полоска подкладки.

Из-под темной кепки с мятым козырьком выбивались короткие серебристые волосы, как заиндевшая осенняя стерня.

Лет двадцать знакомы мы с ним. И все это время Нурахмет пасет овец. И круглый год живет он со своей старой Айшой и внуками в юрте. Живет бессменно — зимой и летом, присматривая за совхозным скотом. Степь — его извечный дом. Другой земли Нурахмет не знает — и я знаю, что он никогда не променяет своей степи на лесные и приморские края. Степь одарила его, как и всякого степняка, широкой и свободной натурой, привыкшей к высокому небу и обильному солнцу. Годы жизни он провел без суеты, и поэтому никогда и никуда не спешил, словно ему отпущено жить и пасти скот по крайней мере полтыщи лет. И наш утомительный путь он принимает терпеливо, как должное. Я же искал что-либо, чтобы отвлечься от однообразия: иногда соскакивал с телеги, шел обочиной проселка, но, не встретив чего-либо примечательного, снова вскакивал и валился на пахучую траву. Казалось, время здесь остановилось и ничто не может нарушить его равномерного вечного течения. И мы вовсе не едем, а стоим на месте уже больше половины дня. И только солнце свидетель, что день на изломе.

И снова лицо Нурахмета, жилка, бьющаяся в провале виска, и его тягучая, безразмерная мелодия. У него много внуков и правнуков. Он много о них рассказывал, ласково называя «верблюжатами». В эти минуты глаза его теплели, лицо обретало счастливое выражение. Но дорога сморила и его, и, теперь не открывая глаз, он поет. Плавна и ленива его мелодия, как полет степного луны — без резких взмахов, без темперамента и оттого кажется бесконечной. Я пристально в который раз вникаю и время от времени улавливаю в ней что-то такое, что связывает ее с этой однообразной, но не лишеной смысла ширью. В ней живет аромат полынного ветра, в ней видна даль и слышна горечь и одинокость уставшего путника. Мне чудились в ней и скрытая страсть, способная в мгновение, птицей, вырваться и лететь над мертвящим простором или скакать необъезженным тулпаром, тревожа веками спящую землю.

Нурахмет едет к родственникам на джайляу. Там тоже у него внуки и правнуки, и каждому, так уж ведется в казахских обычаях, везет он сладости, книжки и разные другие недорогие подарки. Все это в сундучке деревянном, покрашенном зеленой краской с нехитрым казахским орнаментом из копьевидных кружев и узоров. Сундучок он подпирает локтем, чтобы не трясло.

Ни кустика, ни постройки, ни единой птицы, только отупляющий зной. Даже лошаденка, кажется, дремлет и во сне убийственно медленно переставляет худые ноги, опустив низко голову. Из сонного состояния выводят ее время от времени подлетающие слепни и оводы. Она вдруг взбрыкивает, поднимая под брюхо заднее копыто, и отчаянно хлещется хвостом. И опять, как вечность, сухая чуть ветреная степь. Иногда вдруг воздух свежеет и вместо полынного запаха слышится сырой озерный дух. Это с Зайсана пробиваются волны свежести пленительной сейчас воды. Хочется еще и еще дохнуть чудодейственной прохлады, но снова устойчивый ветерок, пресыщенный полыннями, тянет с Тарбагатая. Горы его от нас на юге. Они отсекают горизонт, рисуя беспокойный профиль вершин и седловин. За Тарбагатаем чужая земля — горячая центрально-

азиатская пустыня китайского Синьцзяна. В нагретом воздухе хребет казался лиловым, вершины его мелко дрожали.

Некоторое разнообразие в сухую перегоревшую предавгустовскую степь вносили почти незаметные для глаза впадинки, словно залитые беспокойной на ветру водой, от сизых и серебристых полыней. И опять бескрайние разливы бледности раннего увядания чахлого травостоя.

Неожиданно из-под лошадиной морды взлетел черный, как уголь, жаворонок. Легкий, острокрылый, он походил на заблудившегося скворца, и поэтому никак не вписывался в краски опаленной земли. Птица набрала высоту и косо, низом, полетела над полынями и внезапно опустилась, потерявшись из виду. Я извлек из рюкзака бинокль. Смотреть мешает тряска. Прыгаю с телеги: жаворонок сидит у дороги, повернувшись к нам грудью, словно поджидает, чтобы опять взлететь и умчаться вперед и наблюдать, как мы так медленно перемещаемся по безмерным просторам. Нурахмет тоже заметил птицу: он блеснул глазами, тут же погасил их и снова, как заколдованный, безмятежный и спокойный, продолжал тянуть свою песню. С этого момента в ней слышались еще более печальные нотки и прозвучало знакомое мне с детства «каратургай». Аксакал, не размыкая сдвинутых век, чуть поднял лицо к небу, словно хотел убедиться, высоко ли солнце, долго ли ехать, но песня его обрела другое — не услышанные мной с самого утра нотки затаенного восторга. Я ощутил прилив энергии и ожидания каких-то перемен. А Нурахмет пел, наслаждаясь пространством, привычным с детства. И вот уже слышу в его голосе тоже знакомое название птицы — «каршига». Потом опять каратургай. Теперь я знал, что песня о его степи, о черном жаворонке-каратургае, о степном соколе-каршиге.

— О чем песня твоя? — спросил я, когда услышал незнакомое слово «уялы».

— Все пою,— ответил он, не размыкая век. Затем вяло вскинул камчу, чукнул на почти остановившуюся лошаденку.— Смотри,— показал он вдаль, где белел одинокий могильник.— Там каратургай много. Вон,— он поднял к небу глаза,— каршига ходит. Он на каратургай смотрит, кушать хочет.— С этими заключениями Нурахмет снова прикрыл глаза и прикрикнул «Чху-э!», подстегнув кобылу камчой.

— Как он сумел увидеть первым сокола? — удивлялся я, выискивая в сизом от зноя поднебесье сокола-каршигу. После некоторого усилия заметил: разметав серпы длинных крыльев, хищник летел большими кругами, выискивая добычу. И вдруг, сложив крылья, стремительно пикирует в сторону могильника и плавно опускается на одну из его башенок.

Примерно через час и мы подъехали к отбеленным солнцем глиняным стенам сооружения, напоминающего усеченную четырехугольную пирамиду. Размытые, полуразвалившиеся стены его покрыты извивами трещин и щелей. На венце четыре острых рожка, похожих на миниатюрные церковные конуса. Все они были точно ориентированы на основные части света. Квадратной бойницей чернело залитое густой тенью окно. Рожки и стены до сметанной белизны политы птичьим пометом. На одном из них маячила фигура сокола, только что спустившегося с высоты.

Аксакал оборвал нить мелодии. Повернулся на другой бок. Остановил

Хзгляд на птице. «Старый шибко!» — сказал Нурахмет.

— Почему?

— Белый перья много на спине,— коротко ответил он.

И правда: на затылке, спине, плечах рыжей птицы светились обгоревшие до соломенного цвета перья. Сокол сидел в молитвенной позе, повернувшись в сторону гор, откуда тянул ветерок.

— Нурахмет! Скажи, почему у одних четыре, у других шесть вот таких башенок,— я показал ему на могильник.

— Так надо,— без интереса ответил Нурахмет.

— Может, это не казахские могилы, поэтому и число их разное.

— Не-е! Не так! Это ушки есть свой значение.— Он приподнялся, сел, подобрав под себя ноги.— По-нашему, этот четыре ушка, торткагм — называется. Один на юг; другой на север, все есть. Когда ушки шесть — алтыкагм — они для беркут, карагущ, каршига, ительга, редко сункар сидеть будет.— Нурахмет со знанием дела назвал по-казахски пернатых хищников своей степи.— Они сидят, как этот,— показал он на сокола,— сидят и молятся за тот, который этот муллушка похоронен. Этот ушки для них надо. Это давно так, когда у мусульман еще полумесяц на могилка не был.— Не без труда объяснял старый чабан значение башенок, которые не только украшают, указывают на части света, но и имеют прямое отношение к ритуалу захоронений.

Мы смотрели на одинокого сокола, отдыхающего на «ушке» могильника. Я вспомнил, что часто очень наблюдал на них сидящих беркутов, степных орлов, курганников и изящных соколов-сапсана и балобана. Сидели они, как и свойственно этим птицам, прямо, выставив будто нарочно вперед грудь. Часами находились в неподвижности, без криков и суеты, подобные застывшим в молитвенном экстазе самим имамам.

— Не правда ли, Нурахмет: люди, похороненные здесь, теперь совсем забыты? Ведь прошли столетия и никаких записей, кто нашел здесь последний приют, неизвестно. Столько разных перемен за это время произошло. Не до могильников людям было. А как бы интересно было узнать, кто они. Чем занимались, как одевались и что думали? Что главное было в их жизни? Теперь единственные их почитатели — я показал на желтые, сухие заросли чия, густо поднявшиеся вокруг — эти облупленные стены, хищные птицы и еще жаворонки в небе. Ночью рыскающий зверь забежит. А люди так же, как и мы — взглядом окинут и все. У каждого от своих забот голова болит. Все основательно забыто. В лучшем случае могут легенды остаться.— Я наблюдал неподвижного сокола, словно творящего молитву. И тогда подумалось, что те, чей прах покоится в могильниках, за бытность свою, возможно, и истребили их — пернатых хищников, пуская в них свои стрелы, дабы утвердиться в лице соперничающих мергенов. А теперь они — птицы — поют над ними в голубом поднебесье, словно в глубокой скорби часами сидят, храня не известную человеку тайну птичьего сердца, и только они разделяют вечное могильное молчание. Словно подслушав мои мысли, Нурахмет вдруг запротестовал:

— Нет, нет! — блеснув недобро глазами, он продолжал: — Наши потомки всегда помнят свои предков. Только голод большой, война могут рвать аркан человеческой памяти. Только большой беда народный дают

зарасти кураем маленький тропка в прошлый история, к наш славный предки.

— Хорошо, Нурахмет,— перебил я,— тогда, пожалуйста, расскажи, что знаешь хотя бы об этом могильнике.

— Все помним мы.— Он вскинул вяло камчу, чукнул на было заснувшую лошаденку.— Мы помним Уялы. Я когда маленький был, мой отец, он, как я, тоже шабан был, он возил меня на Уялы.

— Что означает Уялы? — спрашиваю.

— Уялы, это когда природа богатый, когда очень птичий гнезд много. Это есть по-казахски, Уялы. Там тогда шибко много был тюек, трна, жорга. Елик много был.— Аксакал свел брови, огладил бородку и, положив на сено кепку, непроизвольно тер ладонью голову, словно это помогало сосредоточиться.— Да-а,— устало выдавил он,— сам смотри, все ушел. Вода ушел, жорга совсем нет. Только солнце много. Пыль много...

Нурахмет устало обвел глазами полынную ширь, в желтых заплатах чиевников. Под легким ветерком волновались, играя серебром, низкие полыни, гнулись и свистели стебли чия. Вслушиваясь словно в унылые напевы трав, подняв свои «ушки», одиноко желтел могильник. Лицо аксакала обрело напряженность. Убыстренно забила на виске жилка. Нурахмет собирался с мыслями. Глаза, казалось, видели то, что не дано мне. И как никогда мне захотелось посмотреть на мир степи и неба его взглядом. Захотелось также знать и ощущать время и постигнуть житейскую мудрость, которая связывает его память с далекими предками. Мне тоже захотелось стать степняком, чтобы в душе загнездилося желание петь с той же болью и чувством об Уялы, Каратургае и Каршиге. И вот так же, как он, никуда не спешить, но все успевать и наслаждаться безотрадными просторами.

Сильнее еще Нурахмет щурил глаза, спрятав пронизательный взгляд. Словно отгородился не только от света, но и всего, что его окружало, погрузившись в другое временное измерение. Расслабившись, он перевалялся на другой бок, подпер спиной сундучок и опять затянул тоскливую мелодию, медленную, но гибкую. И хотя в ней теперь не было ни единого слова, подсознательно уже мне представлялась земля эта дикой, не обремененной многолюдностью наших дней, и виделись заболоченные пространства, с кочкарником, окнами воды и обилием птиц, которое называется Уялы. Нурахмет пел, и, казалось, вовсе забыл обо мне. Он был один со своими мыслями и своей тоскливой мелодией. Но вдруг он оборвал голос. Чуть приподнялся на локте и тихо чукнул на лошаденку. Пристально посмотрел щелками в мою сторону и сказал:

— Ладно. Нурахмет расскажет о свой предки, расскажет о славный батыр, о хороший и подлый люди, которых нет давно. Но память наш есть. Есть еще Уялы. И пока над ним гуляет ветер, наши люди никогда не умрет память о свой славный предки...

Говорил он медленно, с не свойственной ему редкословностью. Каждое слово как поступь нашей старой и усталой лошаденки, бредущей избитой дорогой памяти. И вот о чем был рассказ старого белобородого степняка.

— В первые годы минувшего столетия, на этих землях поселились джунгарские племена. Во-он там,— показал он в сторону районного центра Акжара,— находилось их укрепление и здесь же стояла крепость

Тандыарал. Джунгары — народ злой был, бешеные как звери. Они никого, никогда не жалели. И не было слов таких, чтобы их в чем-то убедить, чтобы остановить их кровожадность. Волки! Казахи их звали тогда калмаками. Они всегда нападали на кочевья казахов. Тогда в очень трудные для нас годы и родилась легенда о хребте Монрак. — Видишь эти каменные горы, — снова показал он низкий угластый хребет, уходящий на восток почти от самого Акжара. — Слыхал? — спросил меня Нурахмет. — Нет. — Так вот, — он обежал ладонями лицо, словно снимая с него усталость от долгой дороги. Слегка пощипал блескучую бороду, пропуская ее сквозь темные от солнца пальцы. — Тогда налетели на казахское кочевье всадники-разведчики. Они увидели, где прятались в горной щели люди и их скот. Но и наши люди тоже заметили чужих. Все поняли, что ждет их. Тогда быстро-быстро стали собираться и угонять скот в самые глухие щели гор. Торопились все — старики и дети. Бежали ночью. Они знали, что Монрак — маленькие горы, но там есть хорошие пастбищаджайляу. Зимой там почти нет снега, тепло. Уходя, казахи старались как можно меньше оставлять следов, чтобы калмаки не смогли найти их. Но, как говорят: если быть беде, то не миновать. Так и случилось с ними. По дороге от матери-овцы отстал маленький ягненок. Ножка у него болела. Не заметили пастухи. Торопились очень. Потерял он мать и стал громко кричать. Волков много в этих горах. Но ни один не услышал. Не съел его. А вот калмаки, когда приехали вооруженным отрядом и увидели, что стойбище исчезло, заметались в поисках. Куда ушли? Кто скажет? И вдруг услышали, как вдали ягненок плачет. Тогда и узнали калмаки, куда бежали люди и куда скот угнали. Всех они и все перерезали. Угнали скот. Тогда из-за того, что маленький барашек сыграл печальную роль в жизни кочевого племени, из-за того, что своим криком он погубил бедных людей, горы эти стали звать горами маленького барашка — Монрак. «Моньрау», значит бляеть по-ягнячьи, — пояснил мне Нурахмет.

Я слушал эту старую быль или легенду и глядел на черно-синие дикие углы вершин, плавающих в мареве раскаленного воздуха, текущего с желтых пространств Зайсанской котловины. Хребет отделяет ее от расположенной южнее Чиликтинской долины, вклинившейся желтым, как лимон, высокогорным полем.

Нурахмет продолжал свой рассказ:

— Тяжелое время было. Разграбленные, обездоленные наши люди уходили к Черному Иртышу. Здесь же калмаки убивали всех. Не щадили даже маленьких детей. Они снимали с них штанишки и смотрели: мальчик или девочка? Если мальчик — убивали. Убитых бросали в воду. Река была красная от крови. Речку за это называли Кандысу — кровавая. Дальше так казахи не могли жить. Стали объединяться в один жуз. Были и батыры. Смелые сильные воины. Они не жалели себя, чтобы отстоять свою свободу, а не жить в страхе и позоре. Из них славный батыр — Кабан-Бай. Это был настоящий, железный воин — Темир-Батыр. Другой — Жанибек, не только сильный, но и хитрый, как лиса. Боялись его калмаки. Железная рука Кабан-Бая насмерть разила шокпаром калмаков, а смекалка Жанибека не давала спокойно спать врагам. Был тогда еще один славный батыр. Звали его Бошкин из славного и большого рода Тауке Испаева. Кость батыра широкая, шея крепкая. Глаза батыра, сказывали,

были как у беркута. Любой той, козлодрание не пропускал и всегда был победителем. Но время такое пришло, что трудно и опасно жить стало. Не до праздников. Какой праздник, если земля предков опоганена грязными калмаками. Тогда и стали собираться здешние казахи вместе. Вон там, где из щелей Тарбагатай вытекает речка Ласты, жил небольшой и бедный род Караша. А ближе к Монраку, вдоль его предгорий, включая долину речки Кандысу, жил другой род — Есенгельды. И самый маленький из них — род Сайболат. Его пастбища были в горах Тарбагатай. И, наконец, самый большой, самый сильный — это род Тауке Испавеа. Вся степь, где едем мы, где самые лучшие пастбища с многочисленными кудуками, где Уялы, все это была земля богатого рода Тауке. Много было у них верблюдов, лошадей и бесчисленны отары овец. Все джигиты рода занимались охотой. И вот когда они собрались вместе и напали на калмаков, страшная битва была. Много крови текло на полях. На этот раз казахи победили иноверцев. Они бежали на свои земли. — Нурахмет махнул рукой в сторону щели Чоган-Обо, прорезавшей Тарбагатай у его восточной оконечности, где он сливался с высокими красивыми горами Саура, по которым проходит южная граница, отделяющая землю Восточного Казахстана от Китая.

Нурахмет на некоторое время замолчал, словно все это пережил сам и теперь силится вспомнить все подробнее.

— Много тот раз было убито наших батыров. Живым остался славный батыр Бошкин. Долго он жил, почти сто лет. Потом, или в 1735, или в 1740 году умер. Там его могила, — показал Нурахмет камчой на Кандысу, где она делала плавную излучину сухой степью у Акжара.

Отбеленный солнцем и омытый дождями, могильник походил на шлем воина, по плечи ушедшего в землю. Через некоторое время мы подъехали к могильнику Бошкина. Маленькая квадратная дверь словно прорублена в толстой глиняной стене. В проем густилась тень. Чахли около травы. В небе вился с песней черный жаворонок-каратургай. Он пел свою древнюю песню, в которой слышались звуки весенних ручьев и осенних ветров, рождающих унылые мелодии пересохших трав.

Теперь и сам рассказчик, плотно сжав губы, вновь затянул свой печальный мотив. Я решил, что он закончил свой рассказ, и под впечатлением прошлого этой степи слушал как сухо скрипели шаткие колеса телеги. Надвинул на глаза шляпу, чтобы спрятать их от спящего солнца, и все старался представить картины прошлого, о чем рассказал аксакал.

Неожиданно у дороги взыграл налетевший неизвестно откуда вихрь. В мгновение он поднял столбы пыли, собрал их в один светлый жгут и, закручивая, обратил его в светлый танцующий столб, который гибко перемещался вдоль дороги. Он мгновенно вытягивался, изгибался, совершая колдовской танец. Но так же внезапно сила его иссякала, и пыль светло-желтым облаком, медленно, и, казалось, неохотно, опускалась на сизую полынку и обтрепанные чиевники.

Нурахмет пристально следил за игрой природы сквозь тонкую щелку век. Мне же вспомнилось старое поверье. У нас — на Алтае, завидев подобные вихри, мальчишки во все горло оралы. «Ура-а! Черт на бабе женится!» И до смерти были готовы спорить, что это именно так и бывает, а не иначе. И чтобы убедить каждого, дружно кричали: «Попробуйте нож

бросить в вихрь, он сразу кровью окрасится! Ага-а! Бойтесь!» — окончательно сражали тех, кто сомневался. И понятно, что всегда наблюдая танцы вихрей, смотрели с некоторым страхом и следили за ним до самой последней пылинки или бумажки, которые он поднимал в своей круговерти.

— Карасай встретил Тарбагатая, и еще тут же оказался Зайсан,— глядя на оседающую пыль, пробормотал тихо Нурахмет.

Я попросил его растолковать, что означают эти названия.

— Карасай — самый теплый, дует со стороны Монрака. Зайсан — самый холодный,— северный. Он с Алтая и через Зайсан сюда приходит. Тарбагатай теплый почти такой же, как Карасай, оттуда с юга дует. Здесь они встретились и, как шайтаны, сражаются. Пыль — их след есть. Если Монрак победил. Если Карасай победил, то пыль к Зайсану уходит, если Зайсан, то на Тарбагатай. Если, как сейчас, пыль никуда не пошла, то они все, как батыры в схватке, погибли. Так всегда раньше чужие люди в степи встречались. Увидят друг друга и долго, как каскыры друг на дружку смотрят. Как бы ограбить или убить? Плохо очень было. Кругом вражда. Опасно!

Вот тогда здесь в нашей степи и случилась другая история, как только калмаков угнали. Баран стало много. Джайляу живи, скот паси сколько хочешь. Хорошо! Но люди такие, что если хорошо, то им, наверное, скучно становится. Надоело чинить юрты, в байгу играть. Воевать снова захотели. Стали друг друга оскорблять. Один род на другой говорить нехорошо стали. Мало-помалу вражда снова разделила их. Тогда друг у друга барашков карабчить стали, лошадей угонять — баранта называется. И самое, что нехорошо, много слов плохих стали говорить друг на друга. А люди из рода сайболит и тауке стали убивать друг друга. Заклятыми врагами снова стали. Тогда из есенгельды мудрые старики решили, что нельзя так дальше. Их старший «болса» сказал: «Очень плохо, когда на одной земле братья стали драться, как с калмаками». И тогда болса из рода есенгельды поехал к Кадыр-Мулде из рода сайболит. Стал уговаривать, чтобы помирились с тауке. Об этом же говорил и батыру Танау из рода тауке. Долго очень говорил и уговорил. Они помириться решили. И вот, когда наша степь готовилась принять снег,— рассказывал Нурахмет, теперь оживленный воспоминаниями о событиях, которые касались его предков,— тогда холодный ветер Зайсан набрал силу. Тогда много еликов уходили к озеру, на речку Чорга. Так называли речку еще калмаки, что означает шибко зайцев много. Уже в небе гудели журавли, по-нашему — трна, тау тюек — тысячи. Все шли вдоль гор Тарбагатая на юг. Скот тогда с джайляу согнали в низины, к своим аулам. Тогда Кадыр-Мулда назначил сам встречу батыру Танау. Кадыр-Мулда был хилый человек, злобный и хитрый. Много баранов, верблюдов и всех своих соплеменников согнал он на вершины тарбагатайских сопок. Так поставил, что казалось у него много очень людей-воинов. Костры зажгли. Танау взял с собой только полтыщи воинов-джигитов. Однако побоялся совсем близко к его стойбищу ехать. Остановился, заподозрил неладное. А когда они увидели друг друга, оставил Танау своих воинов и только с джигитами в два-три десятка поехал навстречу. Кадыр-Мулда стоял у речки на горке в окружении своих джигитов. Издали Танау закричал: «Тебя приветствует

славный и древний род земли этой — род тауке. Земли наши раскинулись от Тарбагатая до Зайсана. Я батыр Танау от имени своего рода говорить с тобой хочу, как просил мудрый болса из рода есенгельды!»

«Не о чем мне с тобой говорить! Итен-боласы,— значит, собачий сын,— пояснил Нурахмет.— Твои люди захватили самые лучшие земли Уялы! Люди твои обжираются, скоро толстые, как бабы, станут. Только бешбармачничают, воевать разучились! Мой род сайболит — бедный. Кое-как пробиваются мои люди. И ты, Танау, убирайся ко всем чертям, пока цела голова!»

— Ты оглупел от зависти, ослеп от жадности! Говорить с тобой не желаю!

С этими словами Танау повернулся и поехал назад.

— Ты и твои люди трусы! — кричал вслед Кадыр-Мулда,— это вы всегда боялись калмаков! Твой род придумал слово «Сенгир» и твой род назвал так место у Кандысу.

— Сенгир,— поясняет Нурахмет,— узкий, заросший кустами проезд между речкой Кандысу и горами Монрака. Там всегда и делали засаду калмаки. Казахи всегда опасались этого места. И всегда один другого подталкивали и говорили: «Ты первый», «Нет, ты первый». Это и есть Сенгир по-казахски.

Разгневанный Танау повернул тогда на Кадыр-Мулду, готовый с ним сразиться. Кадыр-Мулда перетрусил и кричит своему мергену, у которого была винтовка. Какой-то русский из экспедиции подарил ему как проводнику. «Стреляй,— кричит Кадыр-Мулда,— чтобы этот кровопиец навсегда запомнил нашу встречу».

— Нет,— сказал мерген Кунанбай.— Не могу. Танау безоружный.

Тогда лисомордый и злой, как каскыр, Кадыр-Мулда выхватил винтовку и почти не целясь выстрелил прямо в грудь батыру. Упал он замертво. Испугался его тулпар выстрела. Никогда раньше не слышал. Освободившись от всадника, в степь умчался. Джигиты тоже никогда прежде не слышали такого грома, когда винтовка стреляет, они тоже испугались и тоже убежать стали.

— Ай! Шакалы трусливые! — торжествуя кричал Кадыр-Мулда.— Я же говорил, что ваш род придумал трусливое слово Сенгир. Только вы смертельно боитесь калмаков! Хвастать только умеете! А где нужно драться, вы только спины показываете. Только такие, как вы — итен-боласы, способны бросить своего батыра. Желудки умеете набивать жирной бараниной да с бабами возиться. Откуда же у вас смелость возьмется?! Пусть тело его рвет на куски каскыры и собаки, пусть тешитися поганое воронье! Они обязательно спасибо скажут вам за то, что такой большой ваш Танау.— Долго еще вослед убегающим джигитам из рода Тауке кричал, срываясь, Кадыр-Мулда. А потом приказал тело батыра в речку бросить.

Сдвинул брови Нурахмет. Плотнее прикрыл глаза, нервно накрутил на палец словно шелковую бородку. Помолчал.

— Однако поступок,— продолжал он,— поступок Кадыр-Мулды не одобрили люди его же рода. Радовался только он, да еще таких же, как он, несколько лис. Они героями себя считали. Хвалились хитростью, что согнали не зря на сопки всех людей и скот. Хвалились друг перед другом.

Хлопал по плечу Кунанбая подлый Кадыр-Мулда. Но Кунанбай не разделил радости.

— Вы дурные, и башка ваша набита бараными мозгами,— ругался Кадыр-Мулда.— Из-за вас стрелял. Разве не вы жаловались на баранту, которую устраивали джигиты из их рода? Не вы ли собирались напасть ночью на их аул? Молчите?! Может, вам самим хотелось показать спину джигитам из рода тауке. Но они уже много раз видели!

Очень шибко сердился Кадыр-Мулда,— рассказывал Нурхамет.— «Это уже все было,— кричал Кадыр-Мулда,— вы жалкие трусы!»

Нурахмет замолчал, словно забыл. От напряжения только чаще на виске билась жилка. Снова пощипывал он бороду и колко поглядывал на меня.

— Совсем плохие отношения установились между казаками разных родов. Снова все ждали беды. Ожидалась месть.

Рассказчик снял кепку и тыльной стороной обтер чуть вспотевшее лицо. Провел ладонью по стриженной голове и перевалился на другой бок.

— Этого не случилось. До наших степей докатилась революция. Все бедняки тогда подняли головы. Тогда они поняли, что это дела и отношения тех, у кого скот и самые лучшие юрты. Бедняки больше не хотели служить богатым и не хотели за них платить своими головами. Их обиды и бедность объединили. Шел 1917-й год.

И снова молчит Нурахмет. Как ночная птица закрыл глаза, втянул голову, будто приготовился ко сну. Снова тихая и гибкая мелодия потекла над степью. Он продолжал ее и, казалось, ничего его не волновало, ничего такого он не знал, не рассказывал. И все это я слышал не от него, и все это я видел в каком-то забытом фильме. И теперь рассказчик воспринимался совсем посторонним, отрешенно глядевшим на весь мир, окружающий нас, будто ему неведомы боль и печаль прошлого.

Мы удалились от могильников на приличное расстояние, и теперь они казались низкими, расплывшимися, но по-прежнему заметными на значительном расстоянии. На одном из них по-прежнему сидел сокол. Казалось, он молился вечным небесам, знойным пространствам. Долго еще находился я под впечатлением рассказа Нурахмета. По-другому смотрел на эту землю. Я смотрел его — Нурахмета — глазами на сизые выпаренные солнцем небеса, как и он, пил горлом, не разжимая губ, из рек полынных ветров. Смотрел и слушал шелест и свист чивевников. Теперь самому хотелось сложить и так же, как мой спутник, петь свою, тоже степную, мелодию, в которой бы упоминался орел, кружащий вдаль, над Тарбагатаем. Ушами акакала я слышал мелодии ветров над Уялы. И впервые ощутил трагедию этой земли, потерявшей изначальное богатство — луга, болотца и богатые гнездовья птиц. Теперь даже не верится, что земля была напоена водой: только голубизна и серебро низких полыней, только восковая бледность умирающих от безводья трав. Будто самого себя, слушал я песню старого чабана. И понял еще, что эта однообразная ширь иссохшей степи, по которой едем почти целый день на скрипучей телеге, она сама создала степняка — Нурахмета. С нежностью материнской окрасила его в седину времени. И он — сын ее — такой спокойный, с песней бесконечной и печальной, рассказывает о ней, как о себе. Здесь некуда торопиться. И никуда не спешит старый Нурахмет,

и в этом своя мудрость в жизни степняка. Нет, не торопится он и поэтому так много прожил. И долог еще путь в жизни, как сама дорога.

Еще я понял, что зло и вражда человеческие не вечны. Все перемены к лучшему, если этого захотят люди. Еще я узнал, что память народная о славных батырах вечна, как эта песня, дорога, как выющийся в небе каратургай, как каршига, как ветры над Уялы.

РАСПЛАТА

В тот июльский сенокос бригадой косари выехали из небольшого села Лесной кордон. На телегах сидели бабы, подростки и обезноживший в войну старик. Остановились подле березняка на лугу, у речки. Тучный и сочный травостой цветистым покрывалом, как хорошо пригнанное платье, облегал солнечные склоны, кольцами схватывал серые гранитные плиты. Пятнами луговые травы занимали площади между островками карагайника, осинового поросли. Ниже, по речке, где по тенистым отщелкам зеленел мох с мокрых скал, стояли вековые березы с потемневшими комлями и серой корой. Словно почуяв их скорую смерть, на них поселились крупные, похожие на копыта трутовики. Места здесь дикие и холодные. Зимы жесткие, многоснежные, и короткое лето, поэтому сенокоса жители кордона ждали, как праздника. Сенька тоже знал и любил эти места. И сколько помнит себя, каждый год с отцом приезжал сюда. Работали с рассвета дотемна. По вечерам усталые и счастливые, собирались у костра, пели. Сенька гордился, что отец, как говорили взрослые, «наяривал» на гармошке и зычно пел иногда непристойные частушки, громко хохотал. Но каждый раз, когда наступал час идти отдыхать, отец Сеньки перестраивался на лирический лад и уже другим — проникновенным — голосом обязательно пел любимую песню про гармониста, который не дает девушкам спать. В песню он вкладывал столько чувств, что нетрудно было догадаться, что пел именно о себе, о своей гармошке. Теперь отец Сеньки на фронте. Воюет в пехоте. Глядя на некошенные травы, Сеньке вспомнились веселые глаза отца, широкий взмах рук и жесткий визг лезвия косы. Помнил, как отец подхватывал вилами целую копну сухого сена и легко бросал на вершину скирды. «Где он теперь?» Сенька глубоко вздохнул и пошел рубить к речке кусты для балагана.

К исходу каждой недели кого-нибудь из подростков косари «откомандировывали» в село подкупить папирос, табачку, спичек, кое-каких продуктов, да еще чего-нибудь горячительного. Но главное, ждали писем с фронта. И Сенька знал, что так отчаянно работают и веселятся сельчане от напряжения, от усталости. Все ждали победы, верили в нее. И когда подошла очередь Сеньки, он обрадовался: «Мамку с сестрами увидеть. Может, отец письмо прислал». Он позвал своего Волчка и по избитой, жирной от чернозема, бугристой от крутороин дороге припустил к селу. «Куда лучше ходить, чем косить, да волокуши за лошадьми таскать».

Волчок, смахивающий на лайку, с круто закрученным на спину хвостом, остроухий, с белой грудью и такими же пятнами над глазами,

тоже почувствовал, что идут домой, и оттого весело лаял на Сеньку и как угорелый носился по кустам, стеной подступившим к самой дороге.

Все наказы Сенька выполнил как надо. Побыл дома и глядя на вечер отправился к стану. Погода портилась. Небо закрыли тучи и, когда до места оставалось не более двух-трех верст, совсем стемнело и пошел теплый обильный дождь. Дорога раскисла. Чтобы не черпать ботинками грязь, Сенька разулся и, ускорив шаг, пробирался обочиной, сшибая плечами воду с почерневших зарослей. Под ногами чавкало, и он чувствовал, как, щекоча пальцы, между ними выдавливалась скользкая черная грязь. Рядом, шумя травой, в кустах пыхтел и фыркал не унывающий Волчок. Непонятный страх от сгустившейся темноты все больше и больше завладевал Сенькой. «Хорошо, что Волчок со мной», — думал он, прислушиваясь к его фырканию. Они обогнули небольшой осиновый мысок и вошли в густой черемушник. Вдруг Волчок остановился и глухо зарычал. Сенька знал, что пес ворчит так только тогда, когда перед ним кто-то грозный или чужой сильный пес, от которого он получал не раз взбучку, или... и Сенька услышал, как кто-то возится совсем рядом, в кустах. Сердце его вдруг застучало, так, что он кроме него ничего больше и не слышал. Гукало и клокотало оно где-то в самом горле. Жадно глотая воздух, он крутил головой, пытаясь доказать себе, что это только послышалось. Во рту стало сухо. Кое-как унял сердце Сенька. Затаил дыхание. Кругом черное небо, кусты — все черное. Только шлепали капли, падая с кустов. Волчок молчал. И снова пес шумнул носом и загудел горлом. Словно он хотел что-то сказать своему другу, но каждый раз в последний миг отступал в своем желании. Убийственно долго тянулись секунды страха и напряжения. Сеньке вдруг захотелось бежать, но что-то удерживало. И, поддаваясь чувству непроходящего страха, он сделал несколько шагов, как снова прополз сдавленный басистый рык Волчка. Стало еще страшней. Сенька набрал грудью воздуха и хотел свистнуть, но с губ сорвалось только шипение. Волчок понял — хозяин зовет. Он выбежал к его ногам и остановился.

«Кто там? Взять!» — шепотом, упавшим голосом, пробормотал Сенька. Пес не двинулся, стоял как вкопанный. Смутное предчувствие страшного усиливалось. Волчок жался к ногам, щетинился, повернувшись в мокрые кусты, где таилась непонятная угроза. И снова ползет рычание, прерываемое поскуливанием.

«Кто там? Может, заблюдившаяся корова или лошадь? — успокаивает себя мальчишка и, набрав воздуха, кричит: — А ну-ка! Взять его, Волчок!» Сенька ждал, что сейчас же Волчок бросится в кусты и прогонит того, кто там возится, но пес не сдвинулся. Более того, Сенька почувствовал, что Волчок трясется, но не то от страха, не то от напряжения. Он уже повизгивает и плотнее жметяся к его ногам. Дрожь и предательский холод страха прополз по коже: Сенька услышал, как кто-то напористо пробирается к ним сквозь заросли. И снова мысль — «бежать, только бежать». Но что-то держит. Он слушает, открыв рот, чтобы освободиться от удушья. Слушать мешает сердце. Стучит и клокочет в горле. Ему вдруг захотелось кричать и звать на помощь. Затрещали ветки, зашумели кусты. У Сеньки подкосились ноги. Обдало жаром. В охватившем отчаянии он схватил шею Волчка и крепко зажал его между коленей. Собака была тем

единственным существом, с которым он связывал свое спасение. Пса лихорадило. Дрожа всем телом, он тоже жался к Сеньке и тихо скулил. Они оба слушали хруст и шум в зарослях. Их преследователь отрезал им путь к стану. Снова все стихло. И, казалось, что зло и таинственно шепчется кто-то в кустах, кто-то тяжело сопит. Зачавкала грязь. Сенька понял, что преследователь идет по дороге, к ним. Волчок зарычал и рванулся навстречу опасности. Обезумевший от страха Сенька еще сильнее сдавил его шею и зло шлепнул его по башке. Шаги неведомого преследователя неумолимо приближались. Сеньке вдруг стало жалко себя. Он хотел закричать, хотел снова позвать кого-нибудь на помощь. С трудом удерживая панический порыв, чтобы не сорваться с места, он вцепился в ошейник. Заходило сердце. Почуввав близкую опасность, Волчок рвался. Он визжал и храпел от удушья ошейника. А Сенька раз за разом награждал его оплеухами, чтобы унялся, чтобы не дай бог вырвался.

«А вдруг медведь!» — у него застучали зубы. Он вспомнил, что есть спички. Придерживая одной рукой ошейник, другой он извлек из мешочка спички и, прижимая коленями Волчка, стал доставать и зажигать их. Но подводила предательская дрожь: спички ломались. Тогда Сенька выхватывал их из коробка пучками и чиркал и швырял в темноту. Но, к ужасу своему, он не услышал, чтобы их преследователь убежал, напротив, шаги и чавканье приближались. Сенька крикнул. Но голоса своего не услышал. Незнакомый сдавленный хрип только вырвался из пересохшего горла. И снова он чиркал и швырял спички. И каждый раз после вспышки огня все вокруг становилось чернее, как в глухой пещере. Спички кончились, остался один коробок, спрятанный в карман брюк, но сидя он не мог вытянуть его. Растерянный, он ожидал развязки. Сырая тишина давила. Она сжимала со всех сторон. Сенька задыхался. Волчка тоже трясло, и он, пятясь, старался теперь поглубже спрятаться в Сенькиных коленях. И снова шлепает под чьими-то лапами грязь.

— Волчок! Взять! — звонко крикнул Сенька. Задыхаясь от ярости, пес рвался из рук. Но Сенька держал. Держал изо всех сил. Теперь, чтобы испугать своего мучителя, он кричал одно и то же: «Взять его! Взять его!..» На черной дороге Сенька увидел плывущую прямо на него мягкую гибкую копну. Волчок рванулся. Сенька и сообразить не успел, что к чему, как увидел кинувшегося на зверя своего друга. В руках остался обрывок ошейника. Раздался одновременно рык могучего зверя и лай, и визг Волчка. Не помня себя Сенька бросился в кусты и, не щадясь, побежал сквозь заросли вниз по склону, к речке. Он не замечал, что ветки толкались, рвали на нем одежду, хлестали по лицу. Но Сенька ничего не чувствует. «Только бы успеть до стана», — мысль, которая гонит его вперед. Лай позади. Это несколько воодушевляет его. Перескочив речку, разгоряченный, задыхаясь, он бежит к ближайшим соснам. И сразу же взбирается на первое дерево. У вершины затаился. Успокоил дыхание. Волчок приступом лаял где-то за речкой. И тогда Сенька решается бежать. Соскользнув с сосны, он бежит не разбирая дороги, часто падая, расшибая колени. От напряжения вот-вот разорвется сердце. Но страх гонит. К ужасу он слышит, что лай приближается. Перед сосной он натывается на ворох рубленых сухих веток. Еще до войны лесники

чистили лес, складывая ветки в единые кучи. «Огонь. Огонь...» Тут же, привычно, у комля сосны набирает сухой хвои, подталкивает под ветки и поджигает. Взметнулся огонек, побежал по хвоинкам, озаряя бледное и заплаканное лицо. Вскоре ветки обрастают пламенем. Набрал силу, огонь встает, расталкивает густой мрак и сырой воздух.

Сенька на сосне. «Огня побоится», — надеется он, поудобнее устраиваясь в развилке. «Досижу до утра, а там наши искать будут». Вокруг тихо. Не слышно Волчка. Шипя, постреливают отсыревшие ветки. Костер плюется пучками искр. И вдруг, к ужасу своему, Сенька видит как бесшумно, кажется, плывет над землей громадная туша зверя. «Медведь! А где Волчок?» Захотелось крикнуть, позвать Волчка, но передумал Сенька. Затаился, не дышит. Медведь остановился недалеко от огня. Грозный и темный. Стоит на толстых лапах, как на столбах, косо поглядывая на огонь. И вот, задрав морду, принохивается, щурит бессмысленно и без того маленькие, спрятанные в шерсти глазки. От напряжения у него дергаются влажные губы. Ни жив, ни мертв Сенька. «А вдруг учует? Куда я?» Медведь опускает голову и, медленно представляя лапы, бредет вокруг сосны. На некоторое время уходит в сторону и появляется снова на том же месте. Снова задирает морду, переминается с лапы на лапу, шевелит ноздрями, жадно втягивая дымный воздух. Ему непонятно, что такое огонь. Видит его впервые. Понимает, что опасно. Но он чует человека, и где он — медведь не знает. А Сенька, вцепившись в ствол, не дышит, закаменел.

Костер опадает. Но пламя еще мечется над грудой краснеющих углей. Тяжелый дым стелется в сыром воздухе, обволакивая стволы деревьев. Зверь отходит дальше, фыркает и с шумом втягивает воздух. Вдруг привстал на задние лапы и, подобно человеку, топчется на месте. Сенька отчетливо видит поджарую фигуру, слышит сопение и видит, как косо и мягко он ставит внутрь «носками» широкие лапы. «Это он меня, меня ищет», — сбиваясь в дыхании, думает Сенька.

В разрыве туч проглядывает луна. Серебристый свет ее заливает сосны, мокро светятся скалы. Сенька видит, как медведь медленно бредет в гору, следом чернеет его густая тень. «Может, ушел», — успокаивает себя Сенька. Но по-прежнему боится шелохнуться, чтобы не выдать. И теперь каждый куст и каждый пенек ему кажется зверем: такой же круглый, затаившийся. «Был бы папка, искать пошел бы...» — сожалеет он, не разгибая задеревеневших рук. Ему жалко себя. Он не вытирал мокрых щек. Солоноватый вкус слез он ощущал уголками крепко сжатых губ.

Сторожкая тишина, кресты деревьев на вершинах сопок и этот зыбкий мертвящий свет давили. И Сеньке казалось, что он не в лесу, не на дереве, а на большом безлюдном кладбище. Страх сжимал сердце. Теперь подолгу внимательно вслушивался, вглядывался, но ничто не говорило о присутствии его преследователя. Убедившись, что медведь ушел, он решил слезть и добежать до стана. Оглядываясь, вслушиваясь, он опустился на землю. Сердце прыгало и стучало дятлом. Каждый миг он готов был броситься снова наверх. Но вокруг стояла тишина и все, что он видел, было исполнено безразличия и враждебности. Сенька что есть мочи припустил вниз, на тропу к речке. Он бежал, пригибаясь, чтобы не выхлестнуло ветками глаз. И когда всего ничего оставалось, вдруг услышал, как следом,

шлепая по воде, его кто-то догоняет. «Медведь!» — ударила в голову мысль. От ужаса он теряет последние силы и, едва взбежав на ближний увал, бессильно падает, сжимается в комок и закрывает руками голову. Зверь настагает. Жарко дышит в лицо, и Сенька чувствует прикосновение влажного теплого языка. Он открывает глаза и не верит: над ним Волчок. Пес радостно лижет мокрые щеки, губы и повизгивает, виляя закрученным хвостом. Сенька, не помня себя от радости, обнимает его за шею и плачет навзрыд, сотрясаясь от охватившего бессилия.

Сокрушались бабы, когда Сенька рассказывал о том, что произошло в ту жуткую ночь. «Плохо, что мужики на фронте. Зверья развелось черт-те сколько,— гневно говорила тетка Прасковья, шлепая себя по плотным бедрам.— Зимой волки, спасу от них никакого, теперь еще и медведи!» «Это че-о! Зверь, он есть зверь,— выдыхал хрипло дед Макей, выставив вперед бутылообразную деревянную ногу,— плохо, что Сенька, черт его задери, табачку не принес. Хоть помирай, как курить охота!»

В работе и заботах прошло несколько дней. И однажды, после дождя, когда полевые работы отложили, чтобы подсушило малость траву, Сенька взял одностволку и подался в лес. «Рябков, можа, подстрелю»,— говорил он. «Давай-давай, неча время-то зря терять. Пока пообсохнет, можа, и вправду кого стрелишь. Мясца бы не мешало, сидим полуголодом»,— поддержал дед Макей.

С ружьем Сенька прошел вдоль речки. Поднялся в березняк. Отсюда хорошо просматривался противоположный склон, за речкой, где начались сосны, стоящие попеременно с карагайниковыми зарослями. Постоял, послушал лес. В логах обеспокоенно стрекотали сороки. Где-то далеко куковала последняя кукушка. Сенька знал, что в пору сенокоса услышать кукушку — редкое дело. Тут время от времени, показываясь из кустов, выскакивал Волчок. Охваченный охотничьим азартом, он чего-то искал, рыл лапами землю, всхрапывал, встряхивался и опять сновал в карагайнике. Сенька присел на поваленный ствол, положил ружье на колени. «Иди сюда, Волчок!» — позвал он. Распаленный Волчок, высунув краснеющий слюнявый язык, подкатился к хозяину и устало повалился к ногам. Сенька гладил его загривок, трепал за уши и ласково хлопал по голове. И вдруг взгляд его остановился на противоположном склоне, за речкой, где на взгорок к скалам подходили одиночные сосны. Не спеша, вразвалку, переваливаясь гибко, шел черный медведь. Страх холодком прошил сердце. Взмокли ладони и сразу застучало в висках. Сенька осторожно привстал, поднялся на носки и, вытянув шею, пристально следил за зверем. Не спеша медведь шел к речке, опустив низко крупную голову. Подошел к камню, обнюхал и, зацепив лапой, легко вывернул. Некоторое время, уткнувшись носом, он что-то выгрызал, помогая одной и другой лапами. Ничего не подозревающий, он повернул назад, снова ткнулся носом и вывернул пласт земли и снова что-то выгрызал. Делал он все это не спеша, лениво. До мелочей вспомнилась черная дождливая ночь. «Это он! — решил Сенька.— Такой же черный, таких же размеров. Подлюка!» — выдавил из себя он, наблюдая безнаказанного «зверюгу». Обида и зло стали его советчиками. «А чего он мне? Ружье есть. Если чего — сразу на дерево. Да и не узнает, где я»,— настраивал он себя. «Сейчас я тебе отплачу за то, чтобы знал и боялся людей!» С этими

словами он поднял ружье, тихо переместился за ствол старой березы и стал выцеливать крупную башку. «Стрелять или не стрелять?» — терзался он. «Была бы пуля, а то дробовой заряд. Ничего, все равно расплачусь», — и он снова выцеливает морду. Мушка легко прыгает со лба, на затылок, на лопатки. Но вот зверь, что-то почуяв, вдруг резко встал на задние лапы, опустив косо узкие мохнатые бугры плеч, и неуклюже закрутился, пытаясь уловить запах. Тут же выцелив вислогубую морду, Сенька плавно нажал на спуск. Гремит выстрел. Сенька чувствует, видит, как дробь обносит морду ненавистного зверя. Еще не угасло в скалах эхо, как долину наполняет тягучий басовитый голос. На некоторое время в воздухе повисает облачко, обдав Сеньку запахом горячей серы. Ломая кусты, с треском медведь мчится в заросли. Мгновенное ликование охватило Сеньку, но неожиданно зверь круто забрасывает зад, так что мордой оказывается повернутым к нему, к Сеньке. Повернулся и стоит. Сенька не шевелится. Он рассчитывает, что медведь не заметит среди кустов. Однако зверь вздыбил шерсть, уставился, не моргнет, белками светит. И вот сгорбился, делает шаг, другой, выбросив мягко лапы, и снова смотрит. Понял Сенька, разглядел его зверь. «Еще пальнуть?» — спрашивает лихорадочно. Присел, перезарядил ружье. «Пожалуй, не надо... где же Волчок?» А медведь с ревом, кособоко приближается. Сейчас он скроется в кустах, а там жди нос к носу. И тогда не раздумывая бросается на четвереньки и тотчас приступом лаять. Не получается — хрипло и глухо голос звучит. Сам себя плохо слышит. Где уж медведя испугать. Из всех сил старается, а все на хрип переходит. Страх еще больше голос глушит. Сердце в камень сжимается. И вдруг прорезается голос, сухость во рту пропадает. И Сенька лает на чем свет стоит — звонко и отчаянно. Казалось, на голове волосы дыбом и сейчас сам бросится в атаку. Но зверь решил отомстить лающему охотнику. И Сенька слышит, как трещат кусты. «Стреляный! Злой! Кончит!» — от мысли, что медведь в один миг справится с ним, Сенька, кошке подобно, карабкается на березу. Ружье при нем. Его надежда: «Чуть что, по глазам пальну». И Сенька сидит у вершины, ствол опустил книзу. Уже не страх, злость и отчаяние. Он ждет, что сейчас сполна отомстит — в упор свалит. Медведь не заставил ждать долго. Он внезапно встал перед березой, обнял ствол, поднял голову. Из ноздрей кровь пузырится. Зверь в ярости отфыркивается. Сейчас следом за мальчишкой. А Сенька ждет: «Давай, давай, я еще не так, рожа твоя поганая!» И вдруг откуда ни возьмись Волчок. С разлета, словно из засады, вцепился в штаны. Рвет и грызет, шерстью давится. Пасть забита. Крутнулся медведь. Навалился на пса, подмял под себя. Покатились мохнатым клубком, треск, визг и рев только слышится. Все воедино слилось. Не разобрать — кто где? Вскинул Сенька ружье, выстрелил. Облапивший Волчка зверь бросил свою жертву, и прыжками, в намет пошел через кусты, в пойму, через речку, в сосняки. Сенька спустился. Руки трясутся. Глазами ищет своего друга и защитника. «Волчок! Волчок!» — зовет его. Предчувствие беды сжимает сердце. И вдруг он слышит хрип и слабый визг: вверх лапами на заломленных кустах Волчок. Из раскрытой пасти капает кровь. Сенька снимает его и только теперь видит, что голова собаки как-то противоестественно повернута, смотрит вбок. Чтобы облегчить боль, с отчаянием Сенька

повернул ее на место. Раздался протяжный визг. Осторожно на руках Сенька и принес Волчка к стану.

Поправился Волчок быстро, но голова его так и осталась чуть повернутой в сторону. Где бы он ни бегал, куда бы ни смотрел, казалось, всегда подозрительно прислушивается, не объявится ли снова их жестокий, лохматый преследователь. А у Сеньки с тех пор, как увидит Волчка, перед глазами мохнатая спина убегающего зверя.

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ

У таежной реки Убы, в узкой лесистой долине, стояла пасека. Их на Алтае много. Все они чем-то похожи. Это был небольшой рубленый домик, под двускатной крышей, с невысоким крылечком, по окну во все стороны. С одного бока домик темной расклевенной юбкой накрывала старая-престарая ель. И если бы деревья умели сесть, она давно была бы белая. От берега, несколько в стороне, ближе к лесу, окопался по самую крышу омшаник. От домика ближе к Убе — банька с тесовыми ступеньками к самой воде. На выкошенном лугу рядами пестрели разноцветные ульи. За лугом широкая просека, дорога. По ней давно уже не возили лес. Теперь дорога заросла кипреем, другим разнотравьем. Осталась лишь узенькая тропка, протоптанная ягодниками, грибниками, охотниками.

Деятнадцать лет дед Арсений со своей супругой Степанидой живут здесь. Приветливые, гостеприимные всегда, они пользовались доброй славой. Потому к ним частенько заезжал кто-нибудь из соседних сел, заимок: хариуса половить, за грибками, а то и просто в баньке попариться. Летом особенно бывали у стариков друзья их сына Ивана и дочери Анны, которые теперь жили в городе.

Раньше хозяева пасеки жили здесь только летом, теперь же почти безвыездно. Даже зимой не скучают: внуки на каникулы приезжают. Чаше всех Иван бывает. Пособляет сено косить, дровишек на зиму заготовить.

И все было б хорошо, если бы на беду медведь на пасеку не навадился. Поперву, раз-другой на неделе бедокурил, потом чуть ли не каждую ночь пакостить стал. После каждого разбоя один-два улья ломает. И стрелял по ночам дед Арсений, и всякую всячину на веревочки вокруг ульев цеплял и навешивал. Не помогало. И тогда вынужден был поехать со Степанидой в город, к Ивану с бедой своей. Рассказал, что — «Зверь здоровый — ходит, как мужик в тулупе, совсем разорил».

— В субботу, батя, будем! Возьмем разрешение в инспекции и приедем. С ребятами приеду, среди них опытные медвежатники найдутся.

С Иваном на пасеку приехала целая компания — шесть «медвежатников». Они шумно вывалились из «газика», выволокли тугие рюкзаки, захеленные ружья.

— Ну что, отец, говоришь, зорит тебя лесной хозяин, — обратился первый к Арсению, плотный, с быстрыми карими глазами, громкоголосый и улыбчивый охотник.

— Василий, — подал он руку. — А это, — показал он на невысокого

седовласого мужчину со спокойным взглядом,— наш знаменитый алтайский медвежатник. Он же — отличный мастер-бурильщик и, главное, хороший человек.

— Александр Петрович,— представился «знаменитый»,— или просто Петрович.

— А это, отец,— показал Василий рукой остальную компанию шумно идущих от машины охотников,— трепачи и хвастуны. Сами о себе говорят, мол, охотники что надо.

Приехавшие подходили и знакомились с дедом Арсением.

— Проходите, проходите. Рады вам,— приглашала в избу стоящая на крылечке баба Степанида, и по старинке слегка кланялась, словно это были не охотники, а приехали сватовья.

Весело переговариваясь, охотники вошли в избу. Сложили в углу рюкзак. Ружья оставили в сенях.

— Ну что, мужики! По-моему, сразу же к делу, как говорят, быка за рога,— начал Василий.

— Сначала чайку нам с дороги,— сказал Иван,— а потом уж за дело.

— Правильно,— вмешалась баба Степанида.— Негоже, чтобы люди с дороги и сразу же из избы.

— Вот это верно,— оживился дед Арсений и, поплевав на широкие ладони, пригладил редкие седые волосы на широком лбу.

— Оно и угоститься с дорожки надо,— подмигнул он Петровичу.— Чтобы удачливее охота получилась.

— Нет, ребята,— расставляя слова, забасил Петрович,— пока без веселого. Для него время еще будет. Чайку нам с чагыром. Есть чагыр? — спросил он у бабы Степаниды.

— А то как же, живем в лесу да без чагыра? Хворь всякую выгоняем.

— Только вот что, дорогие мои,— начал Василий,— вы пока тут чаек, то да се, а мы, пока есть свободное время, пойдем посмотрим, познакомимся, что к чему. Как говорят, тактику со стратегией продумаем.

На том и порешили.

Вся компания во главе с дедом Арсением вышла на луг к ульям. Со стороны леса, где к пасеке подходила просека, лежали собранные в кучу раскуроченные ульи. Василий обежал взглядом темные пихтачи, под которыми ютился густой сумрак. Дальше вверх по склонам тайга наваливалась чернотой. Совсем далеко она становилась почти лиловой и призрачными зубцами резала над собой небо. Кое-где из сплошного темнолесья выбивались белопенные островки цветущей черемухи. Воздух торжественно гудел. Его прошивали светлые точки стремительных, как пули, жужжавших пчел.

Охтники внимательно оглядывали разбитые ульи и место, где хозяйничал медведь.

— Здоровый? — как-то невесело, чуть упавшим голосом спросил Василий.

— Я ж говорил Ивану,— оживился дед Арсений,— как мужик здоровенный, только в большом тулупе шерстью наружу. Ой, здоровый, не медведь, а черт! Вот навязался! — сокрушаясь, качал седой головой дед Арсений.

— Ну что ж, пожалуй, вот тут, около,— обвел рукой пихтач Петрович,— и будем засидки строить.

— Ставить, надеюсь, знаете как. Жердей нарубите. Места укажу,— и Петрович стал разводить охотников, показывая, где им ставить лабазы. Приступили к делу.

Тем временем баба Степанида собрала на стол. И когда охотники вернулись, на столе пыхтел начищенный до солнечного блеска старинный, в венце медалей, самовар. На тарелках тонко нарезанное свиное сало в красноватых прослойках. Густо желтело домашнее сливочное масло, мед, грибы и целый ворох крупно нарезанного запашистого домашнего хлеба. Из чугуна легким парком дышала разваренная картошка.

— К столу, охотнички! На улице сыро, небо нонче не просыхает. В избе чаевничать будем,— оправдывалась баба Степанида.

— По такому случаю,— показывая на щедрый стол,— неплохо и выпить.— Василий лукаво прищурился, хлопнул в ладоши.— Само просится! — смеялся Василий, выкатив глаза и шумно и энергично потирая руки.

— Оно, конечно, не за куропатками приехали,— поддержал дед Арсений.

— На медведя, значит, медвежатники,— подмигнул снова Василий самому молодому, который уже рылся в рюкзаке.

— Не следовало бы, ребята, перед охотой,— строго посмотрел Петрович на молодого, стукнувшего уже о стол доньшком беленькой,— в том-то и дело, что не за куропатками приехали.

Охотники знали, что Александр Петрович словами не сорит, дело охотничье хорошо знает. К словам его прислушивались. На его опыт проверенного раньше медвежатника полагались все. Однако гостеприимный домик пасечника, обстановка располагали к свободе. Для начала пропустили по рюмочке. Выпил и дед Арсений и даже баба Степанида. В комнате стало уютнее. Гости заметно оживились, освоились. Заговорили о жизни в городе и деревне, о стариках долгожителях, обладавших недюжинной силой в прошлом.

— Кому чайку еще? Ешьте, пейте, не стесняйтесь! — подбоченившись стояла, как на вахте, раскрасневшаяся баба Степанида, с повеселевшим взглядом, и обращалась она к каждому из охотников.

— А что, дед Арсений, живешь здесь два десятка почти, сам медведей-то стрелял? — вдруг переключился с общих разговоров Василий.

— Не-е, ребята,— махнул дед,— я не охотник. Никогда не любил дело это. В жисть никого не убивал. Мне что есть дичь, нету ее что. Пущай живет. Только вот, изъязви его душу, медведь этот навязался. Застрелил бы сразу, еслив охотником был, еслив ружье было б.

— Кто? — вмешалась баба Степанида.— Курицу и ту не способен зарезать. Самой приходится все. Вот чего греха таить, до баб, бывало, был охотником! Черт старый!

Все засмеялись.

— Ладно, хватит тебе! — отмахнулся дед Арсений.— Опять на своего любимого конька села. Тебе б только язык почесать. Всю жисть одно и то же у тебя на уме и на языке.

— А что,— подхватил Василий,— я знал одну бабенку, у нас на Алтае, в Александровке, что за Убой, так она сама на медведя ходила.

Смелая, а дед попался такой же, куренка не обидит! Кроме шуток, а она с десяток медведей устукала.

— Вот так бабка! — утирая углом платка зевки, рассмеялась баба Степанида.

Довольный собой Василий откинулся на диван. Теперь все явно настроились на разговор на медвежью тему, волнующую, интересную.

— А чего, кроме шуток, ребята, — загорелся молодой, с рыжей копной волос, парень, — говорят, ободранная медведица на бабу голую походит. Честное слово, не вру. Рассказывали. Один приятель так рассказывал, что однажды с ним этакий деликатный охотник был, из города. Так вот, когда он увидел ободранную тушу медведицы, потрясен был. А у самки, как рассказывали, все при ней — и груди, и бедра, — показал он, согнув кисти. — Так вот этот самый охотник от мяса категорически отказался. «Не могу, говорит, так и стоит перед глазами женщина обнаженная. Если б не видел, говорит, другое дело. Теперь нет, не могу...» Представляете, не стал есть, — парень засмеялся, покраснев, не то от смеха, не то от разобравшего его хмеля.

— Сергей правильно говорит. Точно походит. Сам видел, — поддержал парня Петрович.

— Один товарищ мне тоже рассказывал, как он нос к носу с медведем сошелся, — подключился к разговору Алексей. Все это время молча и доверчиво он слушал, участливо улыбаясь. Рослый, широкоплечий, он положил перед собой кудачи и стал рассказывать.

— Они оба от неожиданности и замерли. Тогда, как товарищ рассказывал, почему-то перед медведем почувствовал вовсе не страх, а неловкость. И чувство такое, что что-то говорить надо, только не молчать. А что сказать? И решил хотя бы поприветствовать, как какого-нибудь начальника. А сам сообразить толком ничего не может, так испугался. И начал так вдруг, говорит, подхалимски эдак — здравствуй, Миша! Вот только руку так и не додумался подать. А медведь, как он говорит, от удивления вроде на задние лапы даже встал. Тогда товарищ мой как повернет, да как хватит напролом через кусты, только его и видел Мишка. «Как бежал, — говорит, — ничего не помню. Штаны и куртка в лохмотья. Кепку потерял... Потом, — говорил, кое-как отошел».

— Это что! Вот с нами был случай, — перебил Алексея другой тоже молодой охотник Виктор. Голубоглазый, пополневший и слегка польсевший. — Втроем с друзьями приехали мы в село Печи, это на Бухтарме у нас. Ночевали у знакомых. Утром, чуть свет, ехать решили. Бабы коров только-только прогнали. Юрий — шофер наш из госинспекции, завел свой Газ-69. Стоит, мотор прогревает. Дело под осень, и по ночам заморозки становились. Помню в то утро иней был. Ну так вот, греет стоит. И вдруг телка большая, с ревом в село, а верхом медведь. Вцепился чертяка в лопатки. Сидит копной, молодой и поделать ничего не может. Отпускать тоже ни в какую не хочет. Она и привезла его. Увидели мы, растерялись. Ни ружья под рукой, ничего! А тут откуда ни возьмись какая-то баба из-за угла выбегает, кричит что есть силы, а сама с бульжником в руках. Бежит и костерит медведя на чем свет стоит: «Ах, ты, тварь такая-сякая», — и еще кое-что, сами понимаете, — Виктор лукаво глянул на бабу Степаниду.

— Я покажу тебе, грозитя она. А вы чего? — кричит нам. — Тоже мне мужики еще называются. Задерет же Зорьку, — телку так звали. Струхнул, видно, медведь, спрыгнул, значит, а куда бежать, не знает — дома кругом! Видим тогда, в нашу сторону. Признаться, не помню: как я в кузов залетел. Юрий в кабине сидит, в дверцы вцепился, а самый толстый Николай, толще, чем я, — хлопнул себя по животу пятерней рассказчик, — как мыш, под машину только швить! Спрятался за заднее колесо и не своим голосом: «Юрка, гони, гони скорее!» — В комнате шумно и дружно рассмеялись. Больше всех смеялся, вытирая выступившие слезы на припухших веках, сам Виктор. О многих случаях на охоте говорили за столом захмелевшие охотники, хвастались, смеялись над неудачниками. На Алтае мужики любят вести разговоры разные про охоту. Особенно бесконечны они про медведей. Быль и небыль услышишь.

— Что ни говори, — подытожил разговор Петрович, — а русский мужик всегда медведем проверялся. Это хорошо все... Но как говорят, пора и честь знать, — встал из-за стола Петрович. Нехотя стали выходить из-за стола и другие. Поблагодарили хозяев.

— Запасные портки у всех есть? — улыбаясь, оглядел своих коллег Василий. — Давайте еще раз все оговорим, достроим лабазы и пора по местам усаживаться. Через час смеркаться станет.

Охотники шумно вышли из избы. От плотных свинцовых туч небо стало совсем низким. Воздух пропитался влагой, водяная пыль висела над лесом, от сырости крыши домика и омшаника почернели. Серо-сизыми стали пихтовые лапы. Где-то в горах прошел дождь, Уба вздулась. Вода в ней помутнела, временами слышалось громохание перекачивающихся по дну камней.

— Плохо, что дождь. Темно будет, — озадаченно оглядывая небо, говорил Петрович. — Ночь темная, видимость отвратительная. Если и придет медведь, стрелять надо будет только наверняка. Главное не спешить. И не как-нибудь, не куда-нибудь, а стрелять только точно. Иначе до беды недалеко. Коллективная охота, ребята, дело серьезное.

Петрович прошел с каждым вдоль кромки леса у пасеки, каждому давал необходимые наставления и указания. Наказывал, как сидеть, чтобы не спугнуть зверя, и чтобы никто не вздумал без предупреждения слезать, чтобы не стал мишенью вместо медведя. Петрович всем строго наказал ждать его сигнала на отбой.

За полчаса до захода солнца охотники заняли свои лабазы. Каждый из них втайне надеялся, что именно к нему подойдет медведь. В этом вся прелесть охоты на загон, на лабазах.

Время ожидания тянулось очень медленно. Стало совсем темно. Время от времени занимался мелкий дождь. В сырой онемевшей тайге тяжело падали с ветвей капли. В черном небе с тревожным криком летал одиночный козодой. Испугавшись чего-то, с чавканьем прятались в норы дождевые черви, вылезшие из мокрой земли. Охотники жадно вслушивались в шорохи: «А вдруг!» Иногда начинало казаться, что кто-то тихо и медленно крадется, сопит. Потом снова тишина или глухой под ровным дождем шум тайги. Молодых «медвежатников» успокаивало то, что каждый из них сидел высоко, куда и не так-то просто даже медведю добраться. Ободряло и придавало уверенность и то, что их много.

В темноте начинало казаться, что какой-нибудь улей вдруг оживал, медленно и бесшумно менял форму, даже двигался. И только полная гнетущая тишина в кромешной тьме успокаивала, что это кажется от напряженного внимания, волнения.

Наступила полночь. С той стороны, где тайга уходила к горам, где сидел Виктор, слышались легкие шорохи, потом сопение, всхрапывание. Охотники слышали «зверя», внимание все на возне, на шорохе. Стучало сердце от волнения. Затаились. С нетерпением ждали. Сопение и удушливый храп не только не прекращались, но и становились все громче. Охотникам от напряженного ожидания вдруг начинало казаться, что они уже видят зверя. Теперь в каждом темном пятне угадывался он — медведь. Крадущийся, невесомый, как призрак. И вдруг Алексей отчетливо видит, как один из ульев зашевелился, даже переместился. До боли в глазах с бьющимся от охватившего волнения сердцем молодой охотник не отрываясь смотрит в черную тень. Дыхание, кажется, уже остановилось. Руки дрожат. «Это же он храпит и сопит,— Алексей ищет на черном стволе, растворившемся в ночи, мушку. Не видно. Сердце прыгает в груди. Ствол ходуном. Алексей тихо набирает полную грудь воздуха, ищет торопливо примерно где должна быть мушка. А вдруг,— торопит себя,— уйдет? Тогда все пропало! Потом буду себя ругать». И Алексей, толком не разглядев мушки, наводит ствол на «медведя». Теперь вдруг кажется, что он отчетливо видит мушку, удивляется — как так, только что не видел и вот... Остановив дыхание, замирает и медленно нажимает на спуск. Гремит выстрел, яркое пламя слепит глаза. Наступила глубокая тишина, от которой стало еще более жутко. Но странно, ни возни, ни стопа, ни рева раненого зверя.

— Что там? Алексей? Ты стрелял? — нарушил гнетущую тишину голос Петровича.

— Кажется, наповал! Не шевелится!

— Посиди чуток, не торопись. Потом скажешь, что там!

Алексей, привыкнув глазами к темноте после ружейного огня, снова различает там же темнеющего медведя. Но почему-то ему снова кажется, что зверь шевелится, корчится, но как ни странно, остается на месте. Прошло еще несколько томительных минут. Алексей твердо уверен, медведь убит наповал.

— Петрович! Не шевелится!

— Тогда давай помаленьку спускаться будем. Ребята! Слышите? Только осторожнее,— наставлял Петрович. Алексей, то и дело оглядываясь на темнеющую тушу медведя, сполз по стволу дерева. Вскоре подошел Петрович, Василий.

— Вон,— показал стволом Алексей на медведя.

— Ружья наготове держите,— строго сказал Петрович и включил фонарик. Луч света упал туда, куда стрелял Алексей. Среди светлых ульев, темнели некрашенные. Медведя не было.

— Ушел, что ли? — робко сказал Алексей, со страхом оглядываясь. В это время послышалось чавканье. Охотники повернулись к лесу, насторожились. Но тишину никто не нарушал. Страх витал всюду. Охотники топтались на месте, вслушивались, крутили головами. И вдруг легкий храп.

— Медведь! — чей-то голос внезапно резанул тишину. Страх, как кнутом, полосанул по сердцу, и без того готовому выскочить. И теперь насильно загнанный внутрь, он пружиной толкнул их к бегству. Словно охотники только и ждали, когда прозвучит это ужасное слово. Не сумев совладать с собой, Василий первым бросился к дому пасечника. Слепленные фонариком, в сплошной черной тьме, падая и спотыкаясь, за ним бросились остальные. Натыкаясь на какие-то неровности, проваливаясь и оступаясь, мешая друг другу, бежали в избу. Началась неразбериха. Поддались все неодолимому паническому бегству. Кто-то бросил ружье. Кто-то падал и, чертыхаясь, некоторое расстояние по инерции бежал на четвереньках по скользкой грязной дороге. В суматохе они слышали, как сзади по пятам, тяжело дыша бежал он — медведь, готовый на каждого насесть. Заскочив в сени, охотники налетали на косяки, но с поразительным упорством, каким-то чудом отыскав дверь и толкнув ее, один за другим заскочили в темную избу. Оказавшись за дверью, Василий не своим голосом крикнул: «Двери! Двери закрывайте! Держите!» — те, кто первым оказался в избе, дружно навалились, подперев ее спинами и плечами. В коридоре послышалась возня и пыхтенье, и вдруг к их ужасу на двери с улицы навалилась неодолимая тяжесть. Охотники слышали, как пыхтел и царапался за дверью зверь и, пытаясь отворить, сильно толкал. Что было силы, в сумасшедшем напряжении, от которого могли лопнуть спины, скользя сапогами, охотники подпирали дверь, но зверь был настойчив, и дверь поддавалась под нажимом звериной тяжести и силы.

— Держи! — выкрикнул утробным голосом насмерть перепуганный Василий. — Раненый! Он же всех сожрет! — С удесытеренной яростью они держали и давили на дверь как могли. Но за дверью так же сильно напирала зверская сила, и дверь медленно толчками поддавалась. И снова Василий, срываясь на крик: — Держи!

— Давай ружье, батя! — кричал не своим голосом Иван... И опять дверь пошла вперед сильными толчками. В любом случае она должна была либо отвориться либо слететь с петель, так велика была сила с улицы. И силы оказались неравными: кто-то из подпирающих дверь изнутри поскользнулся, потеряв опору, выругался и тотчас же раздался треск. Василию вдруг показалось, что хрустнула громко его собственная спина. Недюжинная сила сломила упорство охотников. И к ужасу держащих звериную осаду, прямо на пол вместе с дверью рухнула куча человеческих тел. Она ахнула, крякнула, и кажется, охнула изба. Ахнул пол под тяжестью разгоряченных напряженных тел, свалившихся вместе с дверью. Раздался истошный крик в потоке пыхтения и возни.

— Идиоты! — вдруг разразился бранью выползший из-под кучи тел Василий. — Вы откуда взялись?!

— Откуда! Откуда! — зло гаркнул Алексей. — Оттуда, откуда и вы!

— А где медведь? — на крик перешел Василий. — Медведь-то где?!

— Вот он я, товарищи медвежатники, — раздался спокойный голос Петровича. Сам он стоял в проеме сорванной с петель двери, теперь лежащей посреди пола. Растерянные охотники вставали, не зажигая света, топтались на месте, потирая ушибы.

— Где медведь-то? Куда он девался? — заорал опять Василий, но ответа не последовало, все молчали.

— Ну паникеры! — разразился бранью Василий. — Позор с вами, а не охота.

Дед Арсений, изрядно тоже перетрусивший, зажигал трясущимися руками лампу. Он стоял в одних исподнях, а баба Степанида успокаивала его. Губы ее дрожали, она с трудом выговаривала одни и те же слова: «Успокойся же ты, отец, успокойся!»

В избе стало светло. Насмерть перепуганные, бледные от пережитого, охотники сердито смотрели друг на друга, переминаясь с ноги на ногу от наступившей неловкости за свое малодушие.

— Так это вы, — ха-ха-ха-ха! — разразился смехом Петрович, глядя на лежащую дверь. — Это же вы держали, как дураки с той стороны, а вы лезли и перли на нее с улицы. — Петрович, глядя на потрясенных охотников, никак не мог совладать с собой и унять навалившегося смеха. — «Медвежатники!» — он трясся, хлопая себя по бедрам, захлебываясь смехом.

— Ладно тебе, — огрызнулся Василий, — у самого, поди, в штанах полно.

Мужики сопели и со скрытым отвращением смотрели теперь на Петровича, будто он один и был виноват. Им было не до смеха, потрясение не проходило.

— Это вот эти виноваты, — возмутился Алексей. — Мы кричали же вам, откройте дверь, — показал он на Василия и Ивана. — Вы же держали дверь.

— Ты погоди, Петрович, — нахально глядя на остальных, решил разобраться Василий. — Давай по порядку. Кто из вас первым крикнул «медведь»? — Все молчали, смущенно усмехаясь, с недоверием переглядываясь.

— Ладно тебе. Чего теперь, — успокоил Василия Иван, — по-моему, не все еще тут. — Спихнулись, оказалось, что и вправду нет Виктора. Иван тут же вышел на крыльцо, крикнул в сизый предутренний мрак. Виктор не отозвался.

— Нет его, — сообщил растерянно Иван и встал в проеме, — хоть бы дверь с пола убрали, — зло заметил он.

Охотники заволновались. Всех охватило предчувствие беды.

— Бери ружья, — приказал Петрович. — Искать надо. — В полурассветной мгле все дружно вышли. Петрович включил фонарик. В просвете уходящих облаков догорали меркнущие звезды.

— Ви-и-и-ктор! — громко в сторону просеки, в плоское небо крикнул Василий.

— Ви-и-и-ктор! — закричали охотники на разные голоса. Ответа не последовало. Волнение их усиливалось. Петрович и за ним остальные направились к лабазу, где должен был сидеть Виктор.

— Здесь я сидел, — показал Василий, — здесь вот он, — кивнул головой на Ивана. — А вот здесь Виктор.

Охотники подошли к пихтам, на которых темнел лабаз пропавшего Виктора. И вдруг они услышали храп. Храпел Виктор в своем лабазе. Рука его безвольно свисала с бревенчатого трона. И только тут Алексей вспомнил, что такое же самое похрапывание и сопение он слышал, но посчитал, что это храпит медведь. «Вот он, проклятый медведь».

Охотники переглянулись: стоит ли нарушать неистребимый сон.

— Эй! «Медвежатник!» — зычно и раздраженно гаркнул Василий. Но Виктор не откликнулся, он по-прежнему безмятежно спал. Тогда от охватившей ярости Василий схватил попавшийся под руку дрын и что было сил трахнул им по стволу, на который опирались жерди охотничьего лабаза. Вслед за ударом сверху свалилась пустая поллитровка. Спящий медленно заворочался, и, когда Василий ударил по стволу второй раз, поднялась заспанная физиономия. Круглое одутловатое лицо в сером свете казалось раза в два больше обычного.

— Чего вам? — протирая глаза и не понимая, что происходит, спросил Виктор.

— Спокойной ночи, друг милый! — сказал Василий и, сплюнув, пошел к избе.

— Молодец, Виктор! Восхищены твоими подвигами! Геракл! — съезвил еще кто-то. Переговариваясь, споря, охотники направились к ульям. Осмотрели место, куда стрелял Алексей. Следов зверя не было, а только след пули, угодившей в темный улей. Зашли в избу.

— Кто же, — спросил Петрович, — первым поднял панику. — Ну что ж, молодец, Алексей, — серьезно сказал Петрович. — Если б это был медведь, уложил бы.

— Это же он первым крикнул, что медведь! — вдруг ополчился на Василия Алексей.

— Ты, ты! — передразнил невесело Василий, — сам поди, первый, а на меня не тыкай, — говорил он. Потом нагнулся, подобрал ружье. Обтер рукавом и вошел в избу.

Пока ремонтировали дверь, все еще перепирались они между собой, более доброжелательно подсмеивались друг над другом. Еще несколько часов назад они были друзьями, теперь отношения их изменились. В голосах появилась скрытая вражда, досада.

Баба Степанида растопила печь. Вскипятила чаю. И, как вчера, накрыла на стол. Словно ничего такого и не произошло.

— Давайте-ка к столу, чайку попьем, — добродушно пригласила она еще не угомонившихся, обозленных и смущенных охотников. — Попьем, тогда и все уладится, — говорила она ласково, спокойно, словно все это ей было привычно. — Хорошо еще, что друг дружку не поубивали, когда свалка меж вами происходила из-за дверей. Господи, — подперла она щеку рукой и, покачивая головой, говорила. — Как испугалась я. Хорошо что не поубивали, — крестилась она. — Лежу ни живая ни мертвая, а сама думаю, такие мужики — и друг дружку ни за что ухлопают. Так испугалась. Господи прости! Хорошо, что хорошо кончилось, — она снова перекрестилась.

— Черт с ним, медведем! Дверь выломали, пока боролись и дрались за нее, как за Измайловскую крепость, — сказал Петрович с усмешкой.

— Да ну его, подь он к черту — медведь этот! Он и так теперь не покажется. Шуму-то сколько наделали, — оправдывал охотников дед Арсений. Он сидел на кровати, сложив на коленях руки. Лицо его было спокойным.

Петрович окинул взглядом сидящих уже за столом коллег. — Ну и бойки же вы братцы брехать, а как только до дела дошло, ружья

побросали. Как, знаете, те «вятские ребята хваткие, а один на один, так и котомки отдадим». Недаром говорили: русский мужик медведем поверяется. Так и мы. Но в конце концов не в этом дело,— усмехнулся он,— с кем не бывает? Удивляет меня одно: почему вы дверь не смогли поделить. Здоровые вы однако, в этом я самолично убедился: такую дверь и с корнем выдрать, где уж медведю против. Скажи кому-нибудь — не поверят. Главное, все целы. Ружья собрали. Вот теперь после такой охоты, пожалуй, и водочки можно! — усмехнулся Петрович в усы и, окинув взглядом притихших «медвежатников», добавил,— чего-чего, а поговорить нам есть о чем.

РАССКАЗЫ ДЕДА МАРЕЯ

Уже лет десять как я наездами бываю в таежной глубинке казахстанского Алтая. Каждый раз после изматывающего бездорожья в конце концов добираюсь до заветной заимки, на которой живут давно знакомые, милые и славные старики.

Всю жизнь дед Марей с супругой, бабой Грушей, прожили в глухом кержацком углу при слиянии горных речек, пробившихся через заболоченные долины, непроходимые теснины. Тихо и мирно жили старики на заимке, окруженной всегда черной, всегда мрачноватой кедрой и пихтой. Куда ни глянешь, куда ни пойдешь — всюду горы, горы и тайга. На холодных оголенных вершинах зубцами острые скалы, серые россыпи гольцов да белые полотна снегов с изодранными закрайками.

Заимка деда Марей — аккуратненький домик из листвяжного кругляка, порыжевшего от времени, осмолившегося янтарной серой, крепкого, как лежалая кость. Крыша прохудилась от частых дождей, все лето в сырости. Подгнившие доски в накипах зелено-оранжевых лишайников. Осенью они и вовсе желтеют, крыша играет позолотой. Под окнами старая ель. На нижних сучьях развешаны — хомут, ножовка, кринки и чисто вымытые, сверкающие под солнцем стеклянные банки.

Сразу за домиком омшаник, до верхних венцов вросший в землю. За ним — поляна с рядами ульев. За калиткой, прямо у берега речки — банька.

И в этот раз, как всегда, я ехал и знал: усталость, связанная с долгим, трудным бездорожьем, окупится сполна: дед Марей обязательно затопит баньку. Принесет из сарая свежий березовый веник. Сам распарит в березовом ушате. Как всегда, шлепнет раз, другой по широкой ладони. Встряхнет. Крякнет от предвкушаемого удовольствия и хрипло скажет: — «Ну-ка, городской, давай-ка... Да пошибче. Выгоняй хворь и усталость!» Но это потом, а перед тем как затопить ее, он встанет, подойдет к бабе Груше: — «Груня, на стол там чего-нибудь. Сама понимаешь: гость же приехал... — Сам хитровато из-под белых козырькастых бровей. — Может, старуха, у нас завалившее молочко от диких пчелок осталось, давай-ка на стол».

— Ладно-те, сама, поди, знаю. Своими делами лучше б занимался, чем болтать. Ты давай-ка растопляй. Нечего языком зря. Говоришь шибко

много. Дров наколот бы, а то про «молочко» свое, — скажет баба Груша и, гремя ведрами, сутулясь, легко, почти невесомо, посеменит по дощатому настилу от баньки к реке. Пойду за ней, заберу ведра и, пока там дед Марей растапливает, воды натаскаю. Потом, за столом, после бани, он какую-нибудь историю обязательно расскажет. Интересную. Не знаешь другой раз, верить или не верить. Но слушать его всегда страшно интересно.

В оконном проеме, как в золотой картине, темнела, словно вклеенная, гряда черных гор. В печальном ровном сиянии месяца звучали голоса оголодавших совят.

Дед Марей курил, и пели на все голоса прокуренные и простуженные бронхи. Сам он казался сотканным из лунного света, невесомым, как бог, сидящий на облаке, серебристо дымилась седая голова. И весь этот таинственный свет, заливший избу, исходил, казалось, от него самого. Он распирал стены, приподнимал низкий потолок. Тускло, матовым огнем горел бок алюминиевого чайника, стоявшего на плите. Тихими светлячками перемигивались блики на чайной посуде, в шкафчике между окнами. Лунный глазок бился на ламповом пузыре у окна.

Мягко, тенью, без шума и шороха прошел к двери кот. Сел у дверного притвора и, уставившись на скобу, неподвижно сидел, давая нам знать, что ему надо на улицу и что он ждет, когда откроется дверь. Потом повернулся и горящими от лунного света сине-зелеными глазами глянул в нашу сторону, тошно и протяжно зевнул: «Урррм, рру-рру, мая-а-а!» Зеленые угли его глаз прожигали золотистый сумрак избы.

— Тьфу ты, черт! Ни раньше, ни позже тебя! — Отбросив одеяло, дед Марей встал. Кот не спускал с него горящих глаз. — Видал, глаза как у Синего карлика! — толкнул он коленом дверь и, стуча пятками, вернулся на кровать.

— Ну, что? Спать? Тебе завтра рано? — натягивая одеяло, говорил дед Марей.

— Какой еще Синий карлик? — спросил я.

— А че, не знаешь?

— Нет. Сказка какая?

— Кому сказка, а кому и нет, — буркнул в подушку дед Марей.

— А что ты думаешь, сказки — сплошные выдумки? Сказки — настоящая людская правда. Люблю их. Как и в жизни — каждому свое, так и это: кому сказка, кому и правда голимая. Из-за этой самой сказки Ефим, сосед мой, помер.

— Как помер? — не понял я.

И тут же вспомнил того самого Ефима: встречался с ним однажды на заимке же деда Марей. Тогда он подъехал верхом. Слез с коня, болезненно согнувшись в пояснице, подошел ко мне, протянул иссохшую руку: «Ефим Парамонович». Запомнился нездоровый блеск маленьких синих глаз, опутанных густо морщинками на болезненном лице. Глаза у него расположены близко к высокому тонкому носу. Отчего взгляд его казался пристальным, прожигаящим насквозь. Под серым староватым пиджаком остро выпирали лопатки. Пусто обвисли вокруг ног такие же серые штаны, заправленные в кирзовые сапоги.

— Так он уже тогда был тяжело больным. И при чем здесь какой-то Синий карлик? Сказка.

— То-то и оно, что болел. А ты, если такой грамотный, дак и спроси меня, старого, чиво он болел? В том и соль вся! — отчитывал дед Марей. — А ты мне болел — болел. Все сегодня болеют. Болезнь его совершенно особенная была. — Повысив голос, дед Марей недовольно бурчал ворочаясь. Потом сел и снова закурил. — Чах он, вот что! Это и была его болезнь. А виноват, я сказал тебе, Синий карлик.

— Болезни каждой, как и смерти, всегда есть причина, — поддерживаю, чтобы раззудить и услышать о Синем карлике.

— Да нет, в своей болезни Ефим сам себе виноват. Горемышный! Про себя разболтался, чего не следовало. Карлик ему и отомстил.

Дед Марей шумно откашлялся. Потом поднял палец, будто грозил мне за непослушание, и уверенным тоном добавил:

— Вот он какой, Синий карлик! А тебе, — с упреком продолжал он, будто я отвергал все, что он считал правдой, — все сказочки, шуточки, мол, темных, таких, как мы. Знаю, как на недоумков, смотрите — свысока. Мол, мы вот такие, грамотные, знаем все! А он, — этот самый Синий карлик, — есть. Все видит! Попадешь на примету — считай пропал... Вот он, сердешный, и помер, Ефим-то.

Дед Марей открыл тонкие, чуть скошенные губы, округлив провал рта. Нашарил под подушкой табак, газету для самокрутки. На лице его тонко серебрилась редкая борода. Недовольно взглянув на меня, с недоверием спросил:

— Правда не слыхивал че ли?

— Нет. Не слышал. Правда.

— У нас тут по тайге многие про него разное рассказывают. Где правда, где вранье — все перемешалось. Сам знаешь, как в народе: каждый от себя чего-нибудь добавит и пошла одна страшнее другой быль и небыль. А все оттого, что боятся его. Не все, конечно. Кто смеется. А я сызмальства верил. И скажу, есть Синий карлик. И не зря верил. Потому как всегда правда моя выходила.

— Дед Марей, не морочил бы голову. Не ходил бы околodками, вокруг да около, а как положено рассказал. Кто такой ваш карлик?

— Вот тебе и кто! — переговорил недовольно старик. — Тебе если про ево рассказывать, тоже ухмыляться будешь. А история эта на моих глазах, считай, случилась.

Я снова попросил, чтобы он рассказал про Синего карлика, в которого верил основательно, будто видел, словом, сам хорошо знаком.

— Кто он, Карлик, черт какой или что?

— Он справедливость любит. В чертей твоих я тоже не верю, а в Карлика...

Старик зачадил самокруткой.

— Я тебе сразу скажу, что есть на свете в горах наших Карлик. На шалопутов, жестоких, не признающих ничего и никого, он мало-помалу порчу наводит. Совесть человеческую будит. Если кто ему не угодил — враз, или помаленьку доконает. — Из пустого рта дед Марей пустил пухлый гриб. Облаком повис дым над его головой, медленно светлел, наливался золотистостью, растекался струйками, прядями и таял.

— Неужто и вправду не слышал? — еще раз, не веря мне, переспросил он. — Сколько мотаешься по тайге, а не знаешь. Тебя уже все, как сово, знают. А ты не слышал?

— Нет.

Собираясь с мыслями, дед Марей pokrutil головой, поглядывая за окно, оттуда струился свет рогатого осколка луны, всплывшей над горами, и повел свой необычный рассказ.

Синий карлик

— Давно все началось в таежной нашей деревушке. Жил у нас Ефим. В молодости слыл он как неохочий на работу. Мужики бывало все при деле каком-нибудь: сено косят, дрова рубят. На огороде, в поле, со скотом целыми днями, в деревне трудиться каждому надо, а Ефим только и знай на охоту, да на охоту. Высокий, худой, как арясина. Жилистый был, а работать его нет. Мужиков презирал, что в земле копаются. Охоту только свою и признавал. Соболя, медведя, белку зимой брал в тайге. Когда ни увидишь, где ни встретишь, а он всегда с ружьем. Главное, — не знал запрету никакого: летом и весной хлещет подряд и птицу и зверя. Сердились, бывало, мужики. Упрекали, говорили: «горбатого могила исправит». Ефима без толку увещевать. Дерзкий он был: разозлится бывало, так еще и зуботычин надаст. Здоровый да злой. И вольный шибко был он.

В тот год время уже шло под осень. Ефим и собрался на Синий белок. Далеко! Места дикие. Из нашенских редко кто там бывал. Знали все: Синий да Синий, и все на том. В горах уже сентябрило. Лист на осине желтел. Так вот и пошел Ефим как всегда один. Все ему ничем. Ходкий. Царство ему небесное, — сникшим голосом добавил дед Марей, — не к ночи, ко дню помянутый. Так вот пока шел, это он сам потом рассказывал, несколько рябков пристрелил на пропитание. К вечеру третьего дня только вышел к белкам. Синий-то там, на Большом Алтае, — махнул он неопределенно куда-то за себя. — Идти тяжело: чертолом, выворотки, коряжины. По ночам холода случались. Того и гляди снег первый падет. Вышел Ефим на белок тот самый, где, как говорили старики, посередке болотин сама Синюшка-то живет. А где Синюшка, там вроде как и богатство разнокаменное, драгоценности всякие. Зачем туда он пошел, так никому и не сказывал. На белке Ефим наткнулся на маралуху с теленочком маленьким. Матка прытко сбежала. Скрылась за горкой. Выстрелить не успел. А теленочек, маленький, заметался, потерял мать и зовет. Ефим словил его. Как я говорил уже, жестоким он был. Земля ему пухом... не к ночи, а ко дни... — шептал дед Марей. — Решил он убить маралуху, а чтобы подманить, взял и привязал за ножку теленочка-то и к вереску. На белках леса уже нет. Ерник сплошной. Веревки у него не было, так он проволокой прикрутил. Сам за кустики да камни схоронился. Гольцы вот оне, чуть выше, рядом. Там у нас красиво. Приволье сплошное. Стал караулить. Знал, что матка все равно на голос сово теленочка-то придет. А он, маленький, позовет — позовет... — нет, и снова по-своему пищит. Жалобно. Сердце материнское не терпит, слышит она, боится: там да там выглянет из-за увалов.

Стережится охотника. Долго Ефим лежал. Дело уже к ночи, а он не отступился. Месячная ночь выдалась. Видно кругом все хорошо. Лежит, сам курок под пальцем держит. Слышит ее топот. Слышит, как маленький зовет. А застрелить никак. Так и пролежал всю ночь. Время уже к утру пошло. Сморило его и не заметил, как прикорнул. Горы виноваты — вымотали, или Карлик того захотел. Не знаю. Уснул только он. Уснул и видит перед собой существо странное. Человек не человек, — говорил он, — маленький, словом Карлик! Ушастый и весь синеватый какой-то. Ефим рассказывал, — дед Марей нагнулся и показал — вот такусенький, — верхка на два от пола. Уши у него — во! — по ладони, большеротый и губастый, а череп почти голый и тоже почти синий. Глаза у него большущие, — округлив пальцы вокруг глаз своих, показал дед Марей, — по пятаку и ярко-желтые, да еще, говорил Ефим, светятся. Зипун и штанишки — коротенькие и тоже синие. Взгляд пристальный. Насквозь все видит имя — глазами-то.

Ерепенистый Ефим поначалу хотел шугнуть Карлика. Хотел да не вышло: ни рукой тебе, ни ногой пошевелить, сказывал, не может. Тело будто свинцом налилось. Оконечности все пудовыми стали. Тошно ему. А поделать ничего не может. Тогда Карлик эдак тихо вроде бы и культурно: «Вставай — говорит. — Иди за мной!» Сам повернулся и пошел. Ефим и сам не знает, как, но послушно за ним пошагал. Сначала тайгой, потом болотинами шли. Шел-шел Ефим за Карликом и надумал улизнуть. Башка даже во сне сработала — опасно же. Хотел было шмыгнуть в сторону, а Карлик, он же все знает, — рассказчик выпучил глаза, поднял многозначительно палец, — вдруг повернулся, уставился глазищами. А сам ни слова, ни полслова. Смотрит в сердце самое, сказывал Ефим, огнем будто прожигает. Тут Ефим малость сдрейфил, хотел в отчаянии тягу дать, а ноги не его, не слушаются. Крикнуть хотел — голос пропал. Карлик знай свое — сверлит взглядом, и кажется Ефиму, что он растет на глазах, раздувается, как резиновый. Сам властно колдовскими глазами смотрит и не в глаза, а в душу. Ефим чувствует — вовсе ослаб. Тогда повернулся и пошел Карлик. Ефим за ним. Хотя и маленький, а шаг легкий, только успевай. Как тень, без шума, без треска ходит. Только надумает чего-нибудь спротивничать Ефим, как в теле свинец... Долго шли они. Вдруг впереди сквозь елки да пихты огонек синеватый забрезжил, сочится, как родничок из-под земли. Подошли, а огонек тот из кучи сваленных камней. Чудскими кучками на Алтае у нас их зовут. Сказывали старики еще, что племена такие жили лет тыщу назад. Рудознатцами были. Потом исчезли. Одни говорят, что они повымерли, другие — будто бы под землю ушли. Говорили еще... «когда Чудь под землю уходит, вход камнями заваливает». Так вот, тогда встал Карлик перед завалом, руку поднял — вход и открылся. Впереди светит синее подземелье. Ладно, пошли им — ходом — в подземелье. Сколько шли, не знал Ефим, только вход вдруг расширился. Свету больше. Потом и вовсе посветлело. И как сказывал покойничек — музыка чуть-чуть играет. Вроде слышно и не слышно — такая тихая неуловимая музыка. Унылая, душу так и рвет исподтишка, мытарит. Речка перед ними появилась. Вода как слеза. Песочек чистый. Лесок около, луга зеленеют, все как на земле — цветы, бабочки порхают. Все вроде бы красиво, а на сердце у Ефима тревога

неясная все шибче. Красота райская, а душа камень камнем. Поглядел тогда Ефим по сторонам: дичи... разной там множество великое! Рябки ходят, глухари да все с выводками! Косача тьма! По кустам мелюзга разная перепархивает. Медведи, маралухи с маралятками, соболя рыскают, барсуки, белки. Ну все как в тайге нашей. Очень всего много, но почему-то все молчат и ни звука. Вроде бы бегают, летают, а тишина мертвецкая. Все как на земле и что-то не так. Глянул в глаза зверям и птицам Ефим-охотничек, а глаза у их всех, тварей божьих, печальные-печальные. Тоска у сердешных смертная. Не по себе ему. Все, как дети сиротливые, заплаканные. Глаза тоской да горечью невыразимой налиты. Карлик и Ефим идут дальше. На берегу речки медведица. Малыша своєю ласкает, лапами к себе — обнимает вроде бы как. Все прижимает, прижимает, понял Ефим — прощается с ним. И вдруг до ясного вспомнил, как он убил однажды так же на берегу медведицу и малыша. Узнал ее! Ну и вот шли, шли они то леском, то лужком, то снова к речке. Красиво, и все разные твари на пути. Все это растревожило душу Ефима. А тут музыка, сама в уши лезет. Сердце от нее, кажется, разорвется. Хотел было закричать, чтобы от всего избавиться, а голоса будто и не было. Видит тогда, как повернулся к нему Синий карлик, глазами желтыми, как сова ночная, зырит в упор. А сам раздувается пузырем, силу набирает. Хочет Ефим глаза убрать, чтобы не видеть его, а не может. Худо стало, обессилел. Покорился тогда совсем Ефим. Куда деваться. Снова идут, Карлик — впереди, Ефим — за ним. Только замечать Ефим стал, что дорожка из подземелья как бы вверх пошла. На душе немного полегчало. Музыка тише, но еще играет. Только вдруг видит у выхода на лужайке, среди увалов, кустиков вересковых, маралуха с теленочком, которого он проволокой прикрутил. Смотрит она на него пристально, как человек, а в глазах — слезы. С такой мольбой она на него, что ему первый раз в жизни от жалости не по себе стало. Повернулся тогда он к Синему карлику и говорит: «Чего ты меня терзаешь?» — А он ему спокойно опять: «Ты видел этих бедных животных?» — «Ну, видел», — отвечает Ефим. Глаза Синего карлика ядовитой желтизной от гнева густеют. — «Я, — говорит тогда Синий карлик, — красоту тебе земную показал. Землю, на которой ты родился и вырос, на которой предки твои жили. Они трудно жили и тоже добывали дичь, но только по надобности. Не как ты... Звери и птицы, которых ты видел, все тобой одним загублены». Сильнее еще желтизной забродили глазищи его. Понял вдруг Ефим: сам-то он, оказывается, хуже зверя лютого. Первый раз за всю жизнь понял. Тогда Синий карлик повернулся и пошел прочь темным коридором, где едва-едва впереди синее. Вывел он Ефима к тому месту, откуда в подземелье вошли. Остановился и сказал: — «Где был, что видел и слышал, запомни на всю оставшуюся жизнь». Свет божий по глазам Ефима ударил. А Синий карлик на глазах стал таять, уменьшаться, стал совсем маленьким. Удивиться не успел Ефим, а перед ним уже цветок такой же маленький и такой же синий. И глазок у него желтый, как у Синего карлика. Стоит он такой же ушастый. Смотрит тогда Ефим и не знает, верить или не верить: на взгорке точно такой же цветок. Не знает он, до сна был или нет? Не замечал. А тот цветок стоит и глазом желтеет. Не поймет Ефим — спал, не спал? Все как наяву было. Чув-

стует — подмерз малость. Вспомнил подробно все, что привиделось ему. Оторопь взяла. Жутковато. Глянул на теленочка, а около него матка: стоит она, милая, над прикрученным детенышем. Тянется он к ней, а встать не может, а маралуха на него, Ефима, смотрит. Решила бедняжка, видно, погибнуть, а дитю помочь. С былого азарту, по привычке Ефим за ружье. Только видит — она убежать не собирается и, как у той, в подземелье, тоска и слезы в глазах. Опустил он взгляд, смотрит, а на него строго цветок тот самый глядит. Строго — не моргнет. Как человек. И страшное дело случилось: в ушах ему вдруг снова музыка та самая. Унылая, печальная. Душу ему травит. Тряхнул головой Ефим, а она не отступает. Будто кто-то играет и играет помаленьку в нем самом. В голове. Траурная. На сердце от нее тесно. Испугался тогда не на шутку Ефим, встал и без ружья к маралухе. Не убегает, стоит и прямо глаза в глаза. У теленочка ножка опухла. Раскрутил врезавшуюся проволоку. А он встать не может. Не кричит уже. Противно стало Ефиму за свою жестокость. Взял свое ружье, оглянулся: на лужайке много таких синих желтоглазых цветков появилось. Показалось Ефиму, что один больно пристально следит своим единственным желтым глазом. А внутри музыка жалобная не унимается, не отстает. Будто и слышит-то ее не ушами, а головой. Откуда она, не узнать. Деться от нее никуда не может.

Дед Марей помолчал. Подобрал ноги, лег и повернулся на бок. Вздохнул, будто сам все это пережил.

— Ну и что потом? — спрашиваю.

— «Что потом?» — воротился домой Ефим с Синего белка. Охотиться с тех пор перестал. Ружье свое продал. И как другие мужики, на работу устроился, хозяйством домашним занялся. Сам знаешь, на селе без хозяйства нельзя. Опосля бывало, если кто из мужиков спрашивал, чего это он охоту забросил, так он отмахивался, отмалчивался или говорил: — «Хватит — свое отохотился. Хожу теперь музыку бесплатно слушаю». Сам всегда сумрачный, подавленный. С тех пор и стал чахнуть. Сох как трава у дороги. Замкнулся. Редко кому рассказывал, что видел Синего карлика, про подземелье, зверье им загубленное. Мужики нашенские не верили. Считали, что Ефим немного того — покрутил пальцем у виска дед Марей, — музыка и разъедала ему сердце. Так и помер Ефим. А если бы не ослушался карлика, не выказал намерения застрелить маралуху, так, можа, Синий карлик бы и простил его.

С тех пор мужики опасливо поговаривали об этом карлике. Побавались опосля дурака валять: без толку кого попало не губили. Страх с уважением смешался. Сказывали потом, что Синий карлик еще раньше другим виделся. Да все обошлось. И еще бывает, как говорили, ночью где-нибудь, если в горах, например, в тайге, или, скажем, у костра, то вдруг загорается желтый огонек. Это его глаз — Синего карлика — светится. Потом погаснет. Это для того, чтобы не забывали, что он есть, везде появиться может. Всех знает и всех видит.

Дед Марей снова закурил и, выпуская клочья дыма из своей серебряной головы, сказал: — «Честно говоря, я не знаю, правда это или нет. Все мы шибко умные — ни бога, ни черта не страшимся. А дело вот в чем: если человек зло на земле сеет, слишком много зла, то рано или поздно

природа отомстит ему. Синий карлик, о котором рассказал тебе — мститель за беззащитных тварей божьих. Он, как совесть наша человеческая».

Легенда продолжает жить

Прошли годы. И я почти забыл про Синего карлика, о котором рассказывал дед Марей. С тех самых пор больше и не слышал от таежников о мистическом борце и мстителе за «братьев наших меньших». Но так случилось, что однажды на одном из диких белков Алтая я тоже встретил Синего карлика, только в «образе» безобидного и красивого водосбора железистого. Его, наверное, и имел в виду дед Марей, когда говорил о цветке, которых бессчесть на альпийских лугах. Обычно водосбор бывает высотой до колена, трехцветный, за это метко называют его по старинке троецветкой. Наружные венчики у него голубые, бывают синеватые, а внутри белые. Глазок сплошь из тычинок, как подсолнушек — желтый-прежелтый. А тут попался совершенно синий. Тоже карлик своего рода. На вершок от земли. Стоял он на тонюсенькой, жесткой как проволока, ножке. Весь синий, четырехрогий, а в серединке — глазок.

Вспомнил про Синего карлика. Прилег около, смотрю в его единственный глаз и отмечаю, что и вправду обладает он такой притягательной силой. Один-единешенек стоит на вершине. Холодный, летящий со снежных гребней верховой ветер обжигает лепестки. Мы здесь вдвоем, и выше нас каменные россыпи в лишайниках, пятна снегов да небо в пушистых перламутровых облаках. Ниже, где лес — лето и не верится, что там тепло и привольно.

Не без любопытства, навеянного рассказами деда Марей, смотрел я на этот одинокий цветок — карлик: гордый, густо-синий, рогастый и такой упругий. Холод, дожди промозглые, даже снег неожиданный ему нипочем. Сижу перед ним, а он такой маленький, но смотрит гордо куда-то вдаль, будто видит сквозь меня. Куда же? Может, за синие вершины хребтов или на снежинки в лиловой дымке?

— Здравствуй, — говорю, — Синий карлик! — Похоже, он кивнул чуть заметно головкой, а может, ветерком колыхнуло. Не скрываю удивления и восхищения: такой маленький, а забрался так высоко на самые гольцы. Отсюда на все он смотрит свысока. Я-то в десятки раз больше него, а для него никто. Отчего такой гордый? — люблюсь и ломаю голову. Не потому ли возгордился, что силой магической обладает? — как сказывал дед Марей, или потому, что слава и молва про него далеко разнеслась? Может, потому, что сюда под облака забрался и видит что-то такое в дымке горных далей, чего не способен видеть я. Видение его и мое — разное. Осмотрелся по сторонам еще раз и подумал: может, его очаровали сверкающие огнем света озера с почти ультрамариновой водой, осененные кедрами и лиственницами. Ну и что, я тоже вижу, а не горжусь. Или он замер в восторге от голубого шатра небес с горящим солнцем, к которым он поднялся выше остальных. Не исключаю, что строгость его и стойкость заимствованы у диких и суровых скал, отгородивших его от простудных ветров. Может быть, эти вечные снега вселили в него хладность, бесчувственность к радостям жизни? Или знает он какую-то извечную тайну

небес и тайну гор и ветров? Так держаться может мудрец, постигший в философских измышлениях сущность земного бытия и законы полета земли и звезд. Чувствую силу его и независимый нрав, красоту, которую взял от гор, манящих собой. Передо мной не маленький цветок — карлик, а великан, взлетевший над столетними кедрами с железными стволами, с адской стойкостью к самому солнцу, ветрам, морозам, дождям и даже времени, обладатель сокрушающей силы. Встреченный синий Гомонкулос, карлик подобен залетной экзотической птице — случайной и неизвестной. Я понял, что он — порождение гор и скал, тайги и озер, дождей и снегов и, конечно, солнца. Вот кто такой Синий цветок водосбора! Мне близок он, и я говорю снова: — «Здравствуй, Синий карлик!»

Он по-прежнему равнодушен и даже высокомерен. Пробежал ветерок, и ему по-приятельски кивает он головкой, кажется, подмигнул, улыбнулся плывущему облачку, солнцу и низко склонился перед гудящим шмелем. Меня же так и не видит, словно я прозрачный, невидимка без плоти. Рассердился тогда я, сорвал гордцеа. Держу его тонюсенький холодный стебелек, разглядываю, но понял, что не покорило: он и теперь смотрит куда-то вдаль, опять сквозь меня. Не сдался, не осознал неволи и зависимости. Тогда сунул я цветок между страниц записной книжки. «Пусть на память останется Синий карлик — владыка горных вершин».

В тот день, помню, поздно к вечеру добрался я до своей полуразвалившейся охотничьей избушки со стенами, дочерна прокопченными дымом. Стояла она на краю кедровника около таежного озера. Поужинал. Наслаждаюсь покоем, на низких, сбитых из пихтовых горбылей нарах, лежал и слушал ночную тайгу, говор близкой речки, да крики ночных птиц. Слушал и не заметил, как уснул. Во сне вижу, что передо мной, как из-под земли, Синий карлик. Настоящий! Встал в низеньких дверях, стоял на тонких ножках, коленями вместе, словно ребенок. У него были такие же петлистые уши — как и рассказывал дед Марей, но лицо старческое, дряблое, с обвислыми и обмякшими щеками. Брезгливо, даже неряшливо оттянуты вниз уголки губ. И эти яркие, как у совы, пронзительно желтые глаза, сияющие хищно под голыми выпуклыми бровями высокого синеватого лба. Смотрит Синий карлик каменно, прямо в глаза: не моргнет, не шелохнется, не вздохнет. Неприятно стало. Смотрю в глаза и чувствую, что не в силах отвести взгляда. Синему карлику не нравится что-то во мне: глаза наливаются густой желтизной, накаляются до красноты, и кажется, вот-вот вспыхнут огнем. Сам он быстро растет, двери спиной заслонил. Страшно стало, словно не человек, а кобра передо мной. Его гипнотизирующий взгляд выражал и непреклонность, вопросительность, даже какую-то скрытую обреченность. И еще почувствовал в нем необыкновенную слабость: казалось, он возьмет и заплачет, о чем-то будет умолять меня. Не знаю, о чем. И оттого мне вовсе не по себе. Робя, стараюсь отвести глаза, стараюсь смотреть в сторону, но он опять передо мной и снова давит его колдовской взгляд. Понял — никуда не деться. Синий карлик решил сломить сопротивление, еще пристальнее впился глазами. Сам ширится, наливаясь колдовской силой. Чувствую, слабею, клонится голова, пропал голос. Не знаю, что было бы дальше, если бы вдруг у меня в головах не поссорились между собой мыши. Еще днем я видел на нарах одревеневшую корку хлеба, которую они, видимо, не поделили.

Сел. Сердце колотится так, что в висках гудит. Дыхание тяжелое. Жутковато. Вышел из избушки. Полуночное прозрачное небо было налито жемчужным сиянием звездной пыли. Звезд в эту ночь было столько, что, кажется, за всю жизнь я не видел таким ярким купол небес. Такое необыкновенно глубокое в этот час небо: пронзительное, налитое светом звезд и космической чернотой. Как никогда, светлый туман галактики простреливали мрак космической бездны, были хорошо видны Орион, Марс, Сатурн, Юпитер, Арктур и Венера — золотистыми, синими, красноватыми и оранжевыми льдистыми сгустками горели, истекая светом, словно они спустились в этот час, чтобы познать, о чем шумят на Земле реки, ропщет тайга, и послушать, о чем шепчутся цветы на холодных горных лугах. Одиноко стало среди гор, тайги и звезд. Перед глазами Синий карлик. — «Уж не за то ли преследует, что я сорвал и спрятал в книжке его, перевоплотившегося в цветок?» Зашел снова в избушку. Лег на нары досыпать. Сон, однако, так и не пришел. Утром я оставил одинокую таежную избушку с ее Синим карликом, что явился мне. В город уехал, где все обычное, спокойное и нет никаких чудес. А ночь, когда и мне явился Синий карлик, я нередко теперь вспоминаю. Рассказал как-то об этом я своему приятелю — медику по профессии. Про деда Марея, конечно, ни слова, неудобно средневековыми представлениями таежных жителей поражать современного медика. Суеверным считают. Да глупо же. Выслушал приятель меня и сказал: — «Видно, в ту ночь сердце у тебя барахлило. От перегрузок бывает такое. Вот и приснился тебе твой Синий карлик». Наверное, он прав. Трудно в тот день поднялся я к горной вершине. Но так хочется согласиться с дедом Мареем, что где-то в горах Алтая живет Синий карлик. К тому же сам видел, как стоя на тонком стебельке, он пристально смотрит вдаль и излишне гордо на любого пришельца. Ни с кем не здоровается кроме ветров да шмелей. Может, теперь его нет? Ведь я сорвал же синий цветок водосбора. Лежит он сухой, голубоухий в моей записной книжке. А может, где-то в таежной глухомани еще продолжает жить тот, которого видел охотник Ефим? Возможно, конечно, если еще не устарела легенда...

Хотелось бы, и очень, чтобы на самом деле был он — этот Синий карлик — как человеческая, экологическая совесть, способная будить сознание и справедливость у нас в собственных поступках, когда имеем дело с живой и хрупкой природой.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Травы памяти	5
Лесной человек	86
Глухариной тропой	121

РАССКАЗЫ

В вагоне	148
Ветры над Уялы	156
Расплата	166
Откройте дверь	172
Рассказы деда Маря	181